



ГЕНРИХ

БЁЛЛЬ

**БИЛЬЯРД
В ПОЛОВИНЕ ДЕСЯТОГО**

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

БИЛЬЯРД В ПОЛОВИНЕ ДЕСЯТОГО



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 821.112.2-31
ББК 84 (4Гем)-44
Б43

Серия «Эксклюзивная классика»

Heinrich Böll
BILLARD UM HALBZEHN

First published in the German language as
«Billard um halbzehn» by Heinrich Böll.

Перевод с немецкого *Л. Черной*
Серийное оформление *Е. Фerez*

Печатается с разрешения издательства
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG.

Бёлль, Генрих.

Б43 Бильярд в половине десятого : роман / Генрих Бёлль ;
[пер. с нем. Л. Черной]. — Москва : Издательство АСТ,
2018. — 480 с. — (Эксклюзивная классика).

ISBN 978-5-17-086778-3

Война окончена? Возможно. Но... не для тех, по чьим судьбам она прошла тяжело и беспощадно. Германия восстановилась и процветает? Возможно — для тех, кто, согласно глубокому символизму романа Бёлля, принял «причастие буйвола». Они не всегда преступники, и руки их истонченных противников — «агнцев» — зачастую тоже обагрены войной. Однако именно они, полные плотской жадности жизни, хотят забыть о прошлом. А вечно неудобные «агнцы», одержимые памятью, не дают им этого сделать! Но в день восьмидесятилетия магната Генриха Фемеля будут сброшены многие маски...

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

© Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KG,
Cologne / Germany, 1959, 1987, 2002

© Перевод. Л. Черная, 2010

ISBN 978-5-17-086778-3

© Издание на русском языке. AST Publishers, 2018

1

В то утро Фемель впервые был с ней невежлив, можно сказать, груб. Он позвонил около половины двенадцатого, и уже самый голос его предвещал беду: к таким интонациям она не привыкла, и именно потому, что слова были, как всегда, корректны, ее испугал тон: вся вежливость Фемеля свелась к голой формуле, словно он предлагал ей H_2O вместо воды.

— Пожалуйста, — сказал он, — достаньте из письменного стола красную карточку, которую я дал вам четыре года назад.

Правой рукой она выдвинула ящик своего письменного стола, отложила в сторону плитку шоколада, шерстяную тряпку, жидкость для чистки меди и вытащила красную карточку.

— Пожалуйста, прочтите вслух, что там написано.

Дрожащим голосом она прочла:

— «Я всегда рад видеть мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу, но больше я никого не принимаю».

— Пожалуйста, повторите последние слова.

Она повторила:

— «...но больше я никого не принимаю».

— Откуда вы, кстати, узнали, что телефон, который я вам дал, это телефон отеля «Принц Генрих»?

Она молчала.

— Разрешите напомнить вам, что вы обязаны выполнять мои указания, даже если они даны четыре года назад... пожалуйста.

Она молчала.

— Просто безобразие...

Неужели на этот раз он не сказал «пожалуйста»? Она услышала невнятное бормотание, потом чей-то голос прокричал «такси, такси», раздались гудки; повесив трубку и подвинув красную карточку на середину стола, она почувствовала облегчение: эта его грубость, первая за четыре года, показалась ей чуть ли не лаской.

Когда она бывала не в своей тарелке или же когда ей надоедала ее до мелочей упорядоченная работа, она выходила на улицу почистить медную дощечку на двери: «Д-р Роберт Фемель, контора по статическим расчетам. После обеда закрыто».

Паровозный дым, копоть от выхлопных газов и уличная пыль каждый день давали ей повод достать из ящика шерстяную тряпку и жидкость для чистки меди; ей нравилось коротать время за этим занятием, растягивая

удовольствие на четверть, а то и на полчаса. Напротив, в доме 8 по Модестгассе, за пыльными стеклами окон были видны типографские машины, которые неумолимо печатали что-то назидательное на белых листах бумаги; она ощущала вибрацию машин, и ей казалось, будто ее перенесли на плывущий или отчаливающий корабль. Грузовики, подмастерья, монахини... на улице кипела жизнь; перед овощной лавкой громоздились ящики с апельсинами, помидорами, капустой. А в соседнем доме, перед мясной Греца, два подмастерья вывешивали тушу кабана — темная кабанья кровь капала на асфальт. Она любила уличный шум и уличную грязь. При виде улицы в ней поднималось чувство протеста, и она подумывала, не заявить ли Фемелю об уходе, не поступить ли в какую-нибудь паршивую лавчонку на заднем дворе, где продают электрокабель, пряности или лук; где хозяин в засаленных брюках с болтающимися подтяжками, расстроенный своими просроченными векселями, того и гляди станет к тебе приставать, но его по крайней мере можно будет осадить; где надо бороться, чтобы тебе позволили просидеть часок в приемной у зубного врача; где по случаю помолвки сослуживцы собирают деньги на коврик с благочестивым изречением или на душещипательный роман; где непристойные шуточки товарок напоми-

нают тебе, что сама ты осталась чиста. То была жизнь, а не безукоризненный порядок, раз навсегда заведенный безукоризненно одетым и безукоризненно вежливым хозяином, вселявшим в нее ужас; за его вежливостью чувствовалось презрение, презрение, выпадавшее на долю всех тех, с кем он имел дело. Впрочем, с кем, кроме нее, он имел дело? На ее памяти он не говорил ни с одним человеком, не считая отца, сына и дочери. Матери его она никогда не видела: госпожа Фемель находилась в клинике для душевнобольных, а этот господин Шрелла, чье имя тоже значилось на красной карточке, ни разу не вызывал его. У Фемеля не было приемных часов, и когда клиенты звонили по телефону, она предлагала им обратиться к хозяину письменно.

Поймав ее на какой-нибудь ошибке, он ограничивался пренебрежительным жестом и словами:

— Хорошо, тогда переделайте это, пожалуйста.

Но такие случаи бывали редко, она сама находила те немногочисленные ошибки, которые допускала. И уж конечно Фемель никогда не забывал сказать «пожалуйста». Стоило ей попросить, и он отпускал ее на несколько часов, а то и на несколько дней; когда умерла ее мать, он сказал:

— Значит, закроем контору дня на четыре... или на неделю.

Но ей не нужна была неделя, четырех дней и то было много, ей хватило бы и трех; даже три дня в опустевшей квартире показались ей чересчур долгим сроком. На заупокойную мессу и на похороны он явился, разумеется, во всем черном. Пришли его отец, сын и дочь, все с огромными венками, которые они собственноручно возложили на могилу; Фемели прослушала литургию, и старик отец, самый из них симпатичный, прошептал ей:

— Семья Фемель знакома со смертью, мы с ней накоротке, дитя мое.

Он беспрекословно исполнял ее просьбы и давал ей всякие поблажки, так что ей становилось все труднее обращаться к нему за каким-нибудь одолжением; ее рабочий день все больше сокращался, и если в первый год она еще отсиживала с восьми до четырех, то вот уже два года, как работа настолько упорядочилась, что ее с успехом можно было выполнить с восьми до часу, да еще оставалось время поскучать и повозиться полчаса с дверной дощечкой. Теперь на медной дощечке не было ни пятнышка. Она со вздохом закупила бутылку с жидкостью для чистки, спрятала тряпку; типографские машины по-прежнему стучали, печатая что-то неумолимо назидательно.

тельное на белых листах бумаги; с кабаньей туши по-прежнему капала кровь. Подмастерья, грузовые машины, монахини... на улице кипела жизнь.

Письменный стол и красная карточка, исписанная его безукоризненным архитектурским почерком: «...но больше я никого не принимаю». И этот номер телефона, в часы скуки она с большим трудом установила, чей он, краснея за свое любопытство. Отель «Принц Генрих». Это название дало ее любопытству новую пищу: что он делает по утрам с половины десятого до одиннадцати в отеле «Принц Генрих»? Его ледяной голос в трубке: «Просто безобразия...» Неужели он так и не сказал «пожалуйста»? Внезапная перемена в тоне Фемеля вселила в нее надежду, примирила с работой, которую мог бы выполнять и автомат.

В ее обязанности входило составлять письма по двум образцам, не претерпевшим за четыре года ни малейших изменений. Копии этих образцов она нашла уже в папках своей предшественницы; одно письмо предназначалось для клиентов, присылавших им заказы: «Благодарим Вас за оказанное доверие, постараемся оправдать его быстрым и точным исполнением Вашего заказа. С совершенным почтением...»; второе письмо, сопроводительное, отсылалось заказчикам вместе со статическими расчетами: «При сем прилагаем необхо-

димые данные к проекту «Х». Гонорар в размере «У» просим перевести на наш текущий счет. С совершенным почтением...» Ей оставалось только выбрать нужный вариант: так, вместо «Х» она писала «вилла для издателя на опушке леса», или «жилой дом для учителя на берегу реки», или же «виадук на Холлебенштрассе». А вместо «У» — сумму вознаграждения, которую она сама должна была высчитать, пользуясь нехитрым ключом.

Кроме того, она вела переписку с тремя сотрудниками конторы — Кандерсом, Шритом и Хохбретом. Она распределяла между ними полученные заказы в порядке их поступления, чтобы, как говорил Фемель, «справедливость соблюдалась совершенно автоматически и все имели равные шансы на заработок». Когда готовые материалы поступали в контору, она посылала вычисления Кандерса на проверку Шриту, вычисления Хохбрета — Кандерсу, вычисления Шрита — Хохбрету. Ей приходилось вести картотеку, записывать накладные расходы, снимать с чертежей копии, изготавливать для личного архива Фемеля по одной копии каждого проекта размером в две почтовые открытки; но большую часть времени отнимала у нее наклейка почтовых марок: раз за разом проводила она оборотной стороной зеленого, красного или синего Хейса по маленькой губке, а потом аккуратно наклеивала марку на

правый верхний угол желтого конверта; когда же Хейс оказывался, скажем, коричневым, лиловым или желтым, она воспринимала это как приятное разнообразие в своей работе.

Фемель взял себе за правило приходить в контору не больше чем на час в день: он ставил свою подпись после слов «С совершенным почтением» и подписывал денежные переводы. Когда заказов поступало столько, что с ними нельзя было управиться за час, он их не принимал. Для таких случаев существовал бланк, отпечатанный на ротаторе: «Мы весьма польщены Вашим заказом, однако из-за перегрузки вынуждены от него отказаться. Подпись: Ф.».

Просиживая напротив патрона каждое утро с половины девятого до половины десятого, она ни разу не видела его за отправлением каких-нибудь естественных человеческих потребностей — не видела, чтобы он ел или пил, у него никогда не было насморка; краснея, она думала о еще более интимных вещах. Правда, он курил, но и это не восполняло пробела: слишком уж безупречно белой была его сигарета; утешали ее только пепел и окурки в пепельнице; этот мусор говорил хотя бы о том, что здесь присутствовал человек, а не машина. Ей приходилось работать и у более могущественных хозяев, у людей, письменные столы которых походили на капитанские

мостики, у людей, чьи физиономии внушали страх, но даже эти властелины, случалось, выпивали чашку чая или кофе и съедали бутерброд, а вид жующих и пьющих владык всегда приводил ее в волнение — хлеб крошился, на тарелке оставались колбасная кожица и обрезки сала от ветчины, владыкам приходилось мыть руки, доставать из кармана носовой платок. И тогда на гранитном челе полководца разглаживались грозные складки, а человек, чье изображение со временем будет отлито в бронзе и водружено на постамент, дабы возвестить грядущим поколениям его величие, вытирал губы.

Но когда Фемель в восемь тридцать утра выходил из жилой половины дома, никак нельзя было заметить, что он завтракал. Как положено хозяину, он не проявлял ни беспокойства, ни нарочитого спокойствия, а его подпись, даже если ему раз сорок приходилось ставить ее после слов «С совершенным почтением», была разборчивой и красивой. Он курил, подписывал бумаги, изредка бросал взгляд на какой-нибудь чертеж, ровно в половине десятого брал пальто и шляпу и, сказав «до завтра», исчезал. С половины десятого до одиннадцати его можно было застать в отеле «Принц Генрих», с одиннадцати до двенадцати — в кафе «Цонз», он был всегда рад видеть «...мать, отца, дочь, сына и господина Шрел-

лу», с двенадцати он гулял, а в час встречался с дочерью и обедал вместе с ней «У льва». Она не знала, как он проводит вторую половину дня и что делает вечерами; знала только, что по утрам, в семь часов, он ходит к мессе, с половины восьмого до восьми сидит за завтраком вместе с дочерью, а с восьми до половины девятого — один. И каждый раз ее поражало, с какой радостью он ждал в гости сына; он то и дело открывал окно и окидывал взглядом улицу до самых Модестских ворот; в дом приносили цветы, на время приезда бралась экономка; маленький шрам на переносице Фемеля багровел от волнения; уборщицы завладевали мрачной жилой половиной дома и вытаскивали на свет бутылки из-под вина. Их сносили в коридор, для старьевщика; там скапливалось очень много бутылок, сперва их ставили по пять, а потом даже по десять в ряд, иначе они не поместились бы в коридоре — темно-зеленая изгородь, застывший лес; краснея, она пересчитывала горлышки бутылок, хотя понимала, что ее любопытство неприлично: двести десять бутылок, выпитых с начала мая до начала сентября, — больше чем по бутылке в день.

Но от Фемеля никогда не пахло спиртным, его руки не дрожали. Темно-зеленый застывший лес терял свою реальность. Действительно ли она его видела, или лес существовал только в ее воображении? Ни Шрита, ни Хох-

брета, ни Кандерса она никогда не встречала. Они сидели где-то далеко друг от друга по своим углам. Всего два раза один из них нашел у другого ошибку: впервые это случилось, когда Шрит неправильно рассчитал фундамент городского плавательного бассейна и его ошибку обнаружил Хохбрет. Она была очень взволнована, но Фемель попросил только, чтобы она указала, какие пометки красным карандашом на полях чертежа сделаны Шритом и какие — Хохбретом; в первый раз ей стало ясно, что и сам Фемель, очевидно, тоже специалист в этой области; полчаса он просидел за своим письменным столом со счетной линейкой, таблицами и остро очиненными карандашами, а потом сказал:

— Хохбрет прав, бассейн развалился бы не позже чем через три месяца.

Ни слова порицания по адресу Шрита, ни слова похвалы по адресу Хохбрета, и когда он, на этот раз собственноручно, подписывал заключение, то рассмеялся, и его смех показался ей почему-то жутким, как и его вежливость.

Вторую ошибку допустил Хохбрет при расчете статических данных железнодорожного моста у Вильхельм-скуле; на этот раз ошибку обнаружил Кандерс, и она снова увидела — второй раз за четыре года — Фемеля за письменным столом погруженным в вычисления. Опять она должна была указать ему, какие по-

метки красным карандашом сделаны рукой Хохбрета и какие — Кандерса; этот инцидент навел его на мысль предложить каждому сотруднику пользоваться карандашом особого цвета: Кандерсу — красным, Хохбрету — зеленым, Шриту — желтым.

Она медленно выводила: «Загородный дом для киноактрисы», а во рту у нее таял кусочек шоколада; потом она написала: «Перестройка здания общества “Все для общего блага”», и во рту у нее растаял еще один кусочек шоколада. Хорошо еще, что заказчики отличались друг от друга именами и адресами, и когда она глядела на чертежи, ей казалось, что она принимает участие в каком-то настоящем деле: камень, пластмассовые и стеклянные плитки, железные балки и мешки с цементом — все это можно было себе представить, в отличие от Шрита, Кандерса и Хохбрета, адреса которых она ежедневно надписывала. Они никогда не заходили в контору, никогда не звонили по телефону, никогда не писали. Свои расчеты и документацию они посылали без всяких комментариев.

— К чему нам их письма? — говорил Фемель. — Ведь мы не собираемся издавать полных собраний сочинений.

Время от времени она снимала с книжной полки справочник и находила в нем на-

звания мест, которые ежедневно надписывала на конвертах: «Шильгенауэль, 87 жителей, из них 83 римско-кат. вероисповед., знаменитая приходская церковь с шильгенауэльским алтарем XII века». Там жил Кандерс, анкетные данные которого сообщала страховая карточка: «37 лет, холост, римско-кат. вероисповед. ...» Шрит жил далеко на севере, в Глудуме: «1988 жителей, из них 1812 евангел., 176 римско-кат. вероисповед., консервная промышленность, миссионерская школа». Шриту было 48 лет, «женат, евангелич. вероисповед., двое детей, один старше 18 лет». Местожителство Хохбрета ей не надо было искать в справочнике, он жил в пригороде Блессенфельд, в тридцати пяти минутах езды от города на автобусе: иногда ей приходила в голову шальная мысль — разыскать его и убедиться в том, что он действительно существует, услышать его голос, увидеть его лицо, ощутить пожатие его руки; от этого дерзкого поступка ее удерживали только сравнительная молодость Хохбрета — ему едва исполнилось тридцать два года — и тот факт, что он был холост.

И хотя местожителство Кандерса и Шрита было описано в справочнике так же подробно, как описывают в паспортах приметы их владельцев, и хотя она хорошо знала Блессенфельд, ей все же трудно было представить себе этих троих людей, а ведь она ежемесяч-

но выплачивала за них страховку, заполняла на их имя почтовые переводы, отправляла им журналы и таблицы; они казались ей такими же нереальными, как пресловутый Шрелла, чья фамилия значилась на красной карточке, Шрелла, который имел право прийти к Фемелю в любой час дня, но так и не воспользовался этим правом ни разу за четыре года.

Она оставила на столе красную карточку, из-за которой он впервые был с ней груб. Как звали господина, явившегося в контору около десяти и потребовавшего срочного, сверхсрочного, неотложного разговора с Фемелем? Он был высокого роста, седой, с чуть красноватым лицом; от него пахло дорогими ресторанными яствами, за которые платили из представительских расходов, на нем был костюм, от которого прямо-таки несло добротностью; сознание власти, чувство собственного достоинства и барственное обаяние делали этого человека неотразимым; когда он, улыбаясь, скороговоркой сообщил ей свой чин и звание, ей послышалось что-то вроде «министра» — не то советник министра, не то заместитель министра, не то начальник отдела в министерстве, а когда она отказалась назвать местопребывание Фемеля, он выпалил, доверительно положив ей руку на плечо:

— Но, милое дитя, по крайней мере подскажите, как я могу его разыскать.

И она выдала тайну, сама не зная, как это случилось; ведь тайна, так долго занимавшая ее воображение, была спрятана в ней глубоко-глубоко.

— Отель «Принц Генрих».

Тогда он забормотал что-то насчет однокашника, насчет какого-то срочного, сверхсрочного, неотложного дела, касающегося не то армии, не то вооружения; после его ухода в конторе долго держался аромат дорогой сигары, так что даже час спустя отец Фемеля уловил его и стал возбужденно нюхать воздух.

— Боже мой, боже мой, ну и табачок, вот это табачок, ну и табачок! — Старик прошелся вдоль стен, обнюхивая все вокруг, потом потянул носом над письменным столом, нахлобучил шляпу, вышел и через несколько минут вернулся вместе с хозяином табачной лавки, где вот уже пятьдесят лет покупал сигары; некоторое время они оба, принюхиваясь, стояли в дверях, а потом забегали взад и вперед по комнате, словно собаки, идущие по следу: хозяин лавки полез даже под стол, где, по-видимому, задержалось целое облако дыма, а затем встал, отряхнул руки, торжествующе улыбнулся и сказал:

— Да, господин тайный советник, это была «Партагас эминентес».

— И вы можете достать мне такую же?

— Конечно, они есть у меня на складе.

— Горе вам, если аромат у них не такой.

Хозяин лавки раз понюхал воздух и сказал:

— «Партагас эминентес», даю голову на отсечение, господин тайный советник. Четыре марки за штуку. Сколько вам?

— Одну, дорогой Кольбе, только одну. Четыре марки — это был недельный заработок моего дедушки, а я уважаю умерших и, как вы знаете, не чужд сентиментальности. О боже, этот табак уничтожил все двадцать тысяч сигарет, которые выкурил здесь мой сын.

То, что старик раскурил эту сигару в ее присутствии, она восприняла как великую честь; он сидел, развалясь в кресле сына, слишком для него просторном; а она, подложив старику под спину подушку, слушала его, занятая самым безобидным делом, какое только можно себе представить, — наклеиванием марок. Не спеша проводила она обратной стороной зеленого, красного, синего Хейса по маленькой губке и тщательно наклеивала марки в правый верхний угол конвертов, отправляемых в Шильгенауэль, Глудум и Блессенфельд. Она вся ушла в свое занятие, а старый Фемель упивался блаженством, которого, казалось, тщетно жаждал целых пятьдесят лет.

— Боже мой, — сказал он, — наконец-то я узнал, что такое настоящая сигара, милочка. Почему мне пришлось так долго ждать, до са-

мого моего восьмидесятилетия?.. Ну вот еще, чего вы так разволновались, конечно же, мне сегодня стукнуло восемьдесят... ах, так, значит, не вы послали мне цветы по поручению сына? Хорошо, спасибо, поговорим о моем рождении потом, ладно? От всего сердца приглашаю вас на мой сегодняшний праздник, приходите вечером в кафе «Кронер»... но скажите, милочка Леонора, почему за все эти пятьдесят лет или, точнее, за пятьдесят один год, что я покупаю в лавке Кольбе, он ни разу не предложил мне такой сигары? Разве я скряга? Я никогда не был скупердьяем, вы же знаете. В молодости я курил десятипфенниковые сигары, потом, когда стал зарабатывать немного больше, — двадцатипфенниковые, а затем несколько десятков лет — шестидесятипфенниковые. Скажите мне, милочка, что это за люди, которые расхаживают по улице, держа в зубах такую штуковину за четыре марки, заходят в конторы и снова уходят с таким видом, будто они сосут грошовую сигарку? Что это за люди, которые между завтраком и обедом прокуривают в три раза больше, чем мой дедушка получал в неделю, и оставляют после себя такое благоухание, что я, старик, прямо столбенею, а потом, словно пес, ползаю по конторе сына, обнюхивая все углы? Что? Однокашник Роберта? Советник министра... Заместитель министра... начальник отдела в министерстве или, может,

даже сам министр? Я ведь должен знать его. Что? Армия? Вооружение?

Внезапно в его глазах что-то блеснуло, казалось, с них спала пелена: старик погрузился в воспоминания о первом, третьем или, может быть, шестом десятилетии своей жизни — он хоронил кого-то из своих детей. Но кого? Иоганну или Генриха? На чей белый гроб сыпал он комья земли, на чьей могиле разбрасывал цветы? Слезы выступили у него на глазах, — были то слезы 1909 года, когда он похоронил Иоганну, или слезы 1917 года, когда он стоял у гроба Генриха, или слезы 1942 года, когда пришло известие о гибели Отто? А может быть, он плакал у ворот лечебницы для душевнобольных, за которыми исчезла его жена? И снова на глазах старика показались слезы, меж тем как его сигара таяла, превращаясь в легкие колечки дыма, — эти слезы были пролиты в 1894 году, он похоронил тогда свою сестру Шарлотту, ради которой откладывал золотой за золотым, чтобы вызвать к ней врача; веревки закрипели, гроб пополз вниз, хор школьников пел «Куда улетела ласточка?». Щебечущие детские голоса вторглись в эту безукоризненно обставленную контору, и через полстолетия старческий голос вторил им; то октябрьское утро 1894 года казалось теперь старику Фемелю единственной реальностью: дымка над низовьем Рейна, клочья тумана, сплетаясь в

ленты, словно приплясывая, неслись над свекловичными полями, вороны в ивняке каркали, как масленичные трещотки, — а в это время Леонора проводила красным Хейсом по мокрой губке. В тот день, за тридцать лет до ее рождения, деревенские ребятишки пели «Куда улетела ласточка?». Теперь она проводила по губке зеленым Хейсом... Внимание! Письма к Хохбрету идут по местному тарифу.

Когда на старика находило, он становился как будто слепым; Леонора с удовольствием сбегала бы в цветочный магазин, чтобы купить ему красивый букет цветов, но она боялась оставить его одного; он протянул руку, и она осторожно подвинула к нему пепельницу; тогда он взял сигару, сунул ее в рот, взглянул на Леонору и тихо сказал:

— Не думай, душенька, что я сумасшедший.

Она привязалась к старику; он постоянно заходил за ней в контору и уводил ее в «мастерскую своей юности» в доме на противоположной стороне улицы, над типографией. После обеда она должна была приводить в порядок его запущенные канцелярские книги; она разбирала документы, в которых рылись когда-то налоговые инспектора, чьи бедные могилы заросли травой еще до того, как она научилась писать, — вклады были вычислены в английских фунтах, а капиталовложения — в долларах; она просматривала акции плантаций

в Сальвадоре, раскладывала пыльные бумаги, расшифровывала выписки из текущих банковских счетов, уже давным-давно закрытых: читала завещания — в них он отказывал имущество детям, которых пережил более чем на сорок лет. «И пусть право пользования моими усадьбами «Штелингерс-Гротте» и «Гёрлингерс-Штуль» будет сохранено всецело за моим сыном Генрихом, ибо в нем я замечаю то спокойствие и ту радость при виде произрастания всего живого, которые представляются мне необходимыми для хорошего землевладельца...»

— Здесь, — закричал старик, размахивая в воздухе сигарой, — на этом самом месте я диктовал своему тестю завещание вечером, накануне того дня, когда должен был уехать в армию; я диктовал, а мой сын спал наверху; на следующее утро он еще проводил меня к поезду и поцеловал в щеку — о, губы семилетнего ребенка, — но никто, Леонора, никто не принимал моих подарков; все они неизменно возвращались ко мне: усадьбы, банковские счета, ренты и доходы от домов. Мне не дано было дарить, зато жене моей это было дано, ее подарки шли на пользу; и по ночам, лежа возле нее, я слышал, как она бормочет долго и нежно, — казалось, это журчит ручеек, — бормочет целыми часами: *зачемзачемзачем?*..

Старик опять заплакал, теперь он был в мундире, капитан запаса инженерных войск; тайный

советник Генрих Фемель приехал во внеочередной отпуск, чтобы похоронить своего семилетнего сына; белый гробик опустили в семейный склеп Кильбов — темная, сырая каменная кладка и яркие, как солнечные лучи, золотые цифры «1917», дата смерти. Роберт, в черном бархатном костюмчике, ожидал их в карете...

Леонора выронила из рук марку — на этот раз лиловую, — она помедлила, прежде чем наклеить ее на письмо к Шриту. У ворот кладбища нетерпеливо храпели лошади. Роберту Фемелю, двух лет от роду, разрешили подержать вожжи; вожжи были черные, кожаные, потрескавшиеся по краям, а свежая позолота на цифре «1917» сверкала ярче солнца...

— Чем он занимается, Леонора, что он делает, мой сын, единственный, кто у меня остался? Что он делает каждое утро с половины десятого до одиннадцати в «Принце Генрихе»? Тогда у ворот кладбища он с таким интересом смотрел, как лошадям повесили на морды мешки с овсом. Чем же он занимается там, в отеле? Скажите мне, Леонора!

Поколебавшись секунду, она подняла с пола лиловую марку и тихо ответила:

— Я не знаю, что он там делает, в самом деле не знаю.

Как ни в чем не бывало старик взял в рот сигару и, улыбнувшись, откинулся на спинку кресла.

— Что вы скажете, если я предложу вам окончательно закрепить за мною ваши послеобеденные часы? Я буду заходить за вами. Мы бы вместе обедали, а с двух до четырех или до пяти, если вас это устроит, вы помогали бы мне наводить порядок у меня в мастерской наверху. Как вы, милочка, к этому относитесь?

Леонора кивнула.

— Хорошо.

Она все еще не решалась мазнуть лиловым Хейсом по губке и наклеить его на конверт, адресованный Шриту: почтовый чиновник вынет письмо из ящика, а потом его проштемпелюют — «6 сентября 1958 года, 13 часов». Старик, сидевший перед ней, вернулся теперь в свой восьмой десяток и вступил в девятый.

— Хорошо, хорошо, — повторила она.

— Значит, будем считать, что мое предложение принято?

— Да.

Леонора взглянула на его худое лицо. Уже много лет она тщетно пыталась обнаружить в старике сходство с сыном; только подчеркнутая вежливость была общей семейной чертой Фемелей, но у старика она проявлялась в церемонной обходительности; в его учтивости старинного склада было что-то величавое, она не была просто алгеброй вежливости, как у сына, который держал себя нарочито сухо, только блеск в серых глазах порой наводил на

мысль, что и он способен на нечто большее, нежели сухая корректность. Старик — тот действительно пользовался носовым платком, жевал свою сигару, иногда говорил Леоноре комплименты, хвалил ее прическу и цвет лица; было заметно, что костюм у старика далеко не новый, галстук всегда съезжал набок, пальцы были испачканы тушью, на лацканах пиджака виднелись соринки от ластика, из жилетного кармана торчали карандаши — жесткие и мягкие, а иногда он вынимал из письменного стола сына лист бумаги и быстро набрасывал на нем что-нибудь — ангела или агнца божьего, дерево или силуэт спешащего куда-то прохожего. Иногда он давал ей денег, чтобы она сбегала за пирожными; он попросил ее завести еще одну чашку. В его присутствии Леонора чувствовала себя счастливой — наконец-то она включит электрический кофейник не только для себя, но и для кого-то другого. То была жизнь, к какой она привыкла, — варить кофе, покупать пирожные и слушать рассказы, в определенной очередности: сперва о жизни людей в задней половине дома, а потом о смертях, которыми они умирали. Несколько столетий дом принадлежал семье Кильб, здесь они, погрязая в пороках и стремясь к свету, греша и спасаясь, поставляли городу казначеев и нотариусов, бургомистров и каноников; казалось, в воздухе сумрачных покоев на задней

половине дома еще носится что-то от строгих молитв юношей, ставших прелатами, от мрачных пороков девственниц из рода Кильбов, от покаянных молитв благочестивых отроков — в тех покоях, где в тихие послеполуденные часы бледная темноволосая девушка готовила сейчас уроки и поджидала отца. А может, эти часы Фемель проводил дома? Двести десять бутылок вина были выпиты с начала мая до начала сентября. Распил ли он их один или вместе с дочерью? А может быть, с привидениями? Или с этим Шреллой, который ни разу не попытался воспользоваться своим правом? Все это казалось ей нереальным, еще менее реальным, чем пепельные волосы секретарши, занимавшей пятьдесят лет назад ее место и хранившей в те времена тайны нотариальных документов.

— Да, здесь она и сидела, милая Леонора, на том же месте, что и вы, ее звали Жозефина.

Говорил ли старик той, как и ей, комплименты, расхваливая ее прическу и цвет лица?

Старик, смеясь, указал Леоноре на изречение, висевшее над письменным столом его сына; единственное, что сохранилось здесь от прежних времен, — белые буквы на табличке из красного дерева.

«И правая их рука полна подношений». Это изречение должно было свидетельствовать о

неподкупности семьи Кильб, равно как и семьи Фемель.

— Оба моих шурина, последние отпрыски мужского пола в семействе Кильб, не питали склонности к юриспруденции — одного из них тянуло к уланам, другого к безделью, но оба они, и улан и бездельник, погибли в один и тот же день в одном и том же полку во время одной и той же атаки: под Эрби-ле-Юэтт они на рысях въехали под пулеметный обстрел, вычеркнув тем самым фамилию Кильбов из списка живых; они унесли с собой в могилу, в ничто, свои пороки, яркие как багряница, и случилось это под Эрби-ле-Юэтт.

Старик был счастлив, если у него на брюках появлялись пятна от известки и он мог попросить Леонору свести их. Часто он носил под мышкой толстые футляры для чертежей; и она не могла понять, взяты ли они из его архива или же это новые заказы.

Сейчас он прихлебывал кофе, хвалил его, придвигал к Леоноре тарелку с пирожными, посасывал свою сигару. На его лице опять появилось благоговейное выражение.

— Однокашник Роберта? Но ведь я должен знать его. А не зовут ли его Шрелла? Вы уверены? Нет, нет, тот не курил бы таких сигар, что за чепуха. И вы послали его в «Принц Генрих»? Ну и нагорит же вам, Леонора, милочка, уж поверьте. Мой сын Роберт не любит, чтобы ему

делали наперекор. Он и мальчишкой был такой же — внимательный, вежливый, разумный, корректный, но только пока не преступали известных границ, тогда он не знал пощады. Он бы не остановился перед убийством. Я всегда его побаивался. Вы тоже? Но, детка, он ведь ничего вам не сделает, не бойтесь, будьте благоразумны. Пойдемте, я хочу, чтобы мы вместе пообедали, давайте хоть скромненько отпразднуем ваше вступление в новую должность и мой юбилей. Не говорите глупостей. Если уж он обругал вас по телефону, значит, гроза миновала. Жаль, что вы не запомнили имени посетителя. А я и не знал, что он встречается со своими школьными товарищами. Ну ничего, ничего, пошли. Сегодня суббота, и он не будет в претензии, если вы закончите работу немного раньше положенного. Ответственность я беру на себя.

Часы на Святом Северине начали бить двенадцать. Леонора быстро пересчитала конверты — их было двадцать три; она сложила их и крепко зажала в руке. Неужели старик просидел у нее всего полчаса? Вот отзвучал десятый удар из положенных двенадцати.

— Нет, спасибо, — сказала она, — я не надею пальто, и, пожалуйста, только не «У льва».

Прошло всего полчаса; типографские машины больше не стучали, но из кабаньей туши все еще сочилась кровь.

Для портье это стало привычным ритуалом, почти таким же, как церковный обряд, вошло ему в плоть и кровь: каждое утро, ровно в половине десятого, он снимал с доски ключ и ощущал легкое прикосновение сухой холеной руки, бравшей у него ключ от бильярдной; портье бросал взгляд на строгое, бледное лицо с красным шрамом на переносице, а затем задумчиво, с чуть заметной улыбкой — ее могла бы обнаружить разве что только жена — смотрел вслед Фемелю, который, не обращая внимания на призывный жест лифтера, поднимался по лестнице в бильярдную, слегка постукивая ключом по медным прутьям перил — пять, шесть, семь раз звенели прутья, — казалось, он играет на ксилофоне, воспроизводящем одну-единственную ноту, а через полминуты являлся Гуго, старший из мальчиков-лифтеров, и спрашивал: «Как всегда?» — на что портье кивал головой; он знал: Гуго побежит в ресторан, возьмет двойную порцию коньяка и графин с водой, а потом исчезнет наверху в бильярдной до одиннадцати часов.

Портье чуял недоброе в этом обыкновении играть в бильярд с половины десятого до одиннадцати утра в присутствии одного и того же мальчика — недоброе или порочное: от пороков существовала защита — тайна; тайна имела свою цену и свои законы; тайна и деньги за-

висели друг от друга, как абсцисса и ордината; тот, кто брал здесь номер, покупал вместе с тем полную секретность: глаза, которые смотрели, но не видели, уши, которые слушали, но не слышали. Однако от беды не было спасения — он не мог выпроводить за дверь каждого потенциального самоубийцу, ибо все постояльцы были потенциальными самоубийцами; самоубийца мог явиться в отель с семью чемоданами, загорелый, точь-в-точь киноактер, смеясь взять ключ у портье, но как только чемоданы были сложены в номере и бой уходил, он вытаскивал из кармана пальто заряженный пистолет, заранее снятый с предохранителя, и пускал себе пулю в лоб; или это могла быть дама, казавшаяся выходцем с того света; она являлась, сверкая золотыми зубами, золотыми волосами, золотыми туфлями, скалила зубы, как скелет, дама, слонявшаяся по холлу, словно беспокойный призрак, алчущий удовлетворить свою похоть; эта дама заказывала завтрак к себе в номер на половину одиннадцатого, вешала на ручку двери трафарет «Просьба не беспокоить», а потом сооружала перед дверью баррикаду из чемоданов и глотала капсулу с ядом; задолго до того, как у перепуганных горничных падали из рук подносы с завтраком, в доме шепотом передавали друг другу: «В двенадцатом номере лежит покойница». Шептаться начинали уже ночью, когда засидевшиеся в баре гости прокрадыва-

лись к себе в комнаты — им становилось жутко от тишины, царившей за дверью номера 12; некоторые из них умели отличать тишину сна от тишины смерти.

Портье чуял недоброе, когда в тридцать одну минуту десятого Гуго поднимался в бильярдную с двойной порцией коньяка и графином воды.

В это время дня портье с трудом обходился без мальчика: на его конторке появлялось множество рук — рук, требующих счет или забирающих почту; портье ловил себя на том, что сразу после половины десятого он становился невежливым, и надо же, чтобы он как раз обрезал учительницу — восьмую или девятую по счету из тех, кто спрашивал, как пройти к древнеримским детским гробницам; судя по ее обветренному лицу, она родилась в деревне, а судя по перчаткам и пальто, не имела тех доходов, какие естественно было предположить у постояльцев отеля «Принц Генрих»; портье спрашивал себя, каким образом бедная женщина затесалась в толпу этих сумасшедших дур, из коих ни одна не нашла нужным осведомиться о цене номера; хотя, быть может, эта учительница, смущенно теребящая свои перчатки, как раз совершит чудо, за которое Йохен установил премию в десять марок: «Плачу десять марок каждому, кто назовет мне немца, спросившего о цене на что-либо»; нет, эта учительница не

принесет ему премии Йохена; портье взял себя в руки и любезно разъяснил ей дорогу к древнеримским детским гробницам.

Большинство требовало как раз этого боя, запертого на полтора часа в бильярдной; все они желали, чтобы именно он отнес их чемоданы в холл, к автобусу авиакомпании, к такси или на вокзал; брюзгливые господа, слоняющиеся по всему свету, которые ожидали сейчас в холле счет и болтали о расписании самолетов, хотели, чтобы именно Гуго подал им лед для виски и поднес спичку к незажженной сигарете, свисавшей у них изо рта, дабы они могли лишний раз убедиться в его исполнительности; Гуго, и никого другого, желали они поблагодарить небрежным жестом руки; только в присутствии Гуго их лица вздрагивали от тайных конвульсий; у них были нетерпеливые лица, у этих господ, которые с трудом могли дождаться минуты, когда они перенесут свое дурное настроение в отдаленные части света; они были всегда готовы к старту, чтобы, переселяясь в иранский или верхнебаварский отель, так же внимательно, как и здесь, изучать свое лицо в зеркале, определяя, насколько задубилась их кожа от солнца. Женщины визгливыми голосами наперебой требовали принести им забытые вещи: «Гуго, мое кольцо», «Гуго, мою сумочку», «Гуго, мою губную помаду», все они ждали, что Гуго стремглав кинется к лиф-

ту, бесшумно взлетит наверх и начнет разыскивать в номере 19, в номере 32 или в номере 46 кольцо, сумочку, губную помаду; а тут еще старухе Муш понадобилось вывести гулять свою шавку, которая к этому времени вылакала все налитое ей молоко, нажралась меду, пренебрегла глазуньей и теперь собиралась отправить собачью нужду у ближайшего киоска, у припаркованной машины или остановившегося трамвая, с тем чтобы попутно оживить свой отмирающий нюх; ведь один только Гуго мог понять сложные душевные потребности собаки; кроме того, бабушка Блезик, которая ежегодно приезжала сюда на месяц повидаться с детьми и внуками, все возраставшими в числе, бабушка Блезик, не успев переступить порог отеля, уже спросила о Гуго: «Он по-прежнему у вас, мальчуган с лицом церковного служки, худенький, бледный, рыжеватенький, у него еще всегда такой серьезный вид?» За завтраком, пока старуха ела мед, пила молоко и не пренебрегала глазуньей, Гуго должен был читать ей местную газету; Блезик закатывала глаза всякий раз, как он произносил названия улиц, знакомые ей еще с детства. «Несчастный случай на Эренфельдгюртель», «Ограбление на Фризенштрассе». «Когда я там каталась на роликах, у меня были вот такие длинные косы, вот досюда, мой мальчик». Старуха была хруп-

кой, но выносливой — уж не ради ли Гуго она перелетала через огромный океан?

— Что? — спросила она разочарованно. — Гуго освободится только после одиннадцати?

Водитель автобуса, принадлежавшего авиакомпании, уже стоял у вращающейся двери, жестами поторапливая отъезжающих, а в кассе еще только подсчитывали стоимость сложных завтраков; в холле сидел человек, который заказал глазунью из половины яйца, он с возмущением отверг счет, где ему поставили целое яйцо, с еще большим возмущением отверг предложение директора ресторана вовсе изъять из счета пол-яйца; он требовал новый счет, в котором значилась бы половина яйца.

— Я настаиваю!

Этот тип ездил по свету, как видно, только для того, чтобы предъявлять потом письменные документы, где фигурировала бы глазунья из пол-яйца.

— Да, — говорил портье, — первая улица налево, вторая направо, затем опять третья налево, а потом, сударыня, вы увидите табличку с надписью: «К древнеримским детским гробницам».

Но в конце концов водителю автобуса все же удалось собрать своих пассажиров; в конце концов все учительницы были направлены по верному пути, а все жирные шавки выведены на прогулку. Вот только господин в одиннадцатом

номере все еще спал, спал уже шестнадцать часов подряд, повесив на дверь трафарет «Просьба не беспокоить». Беда могла нагрянуть из номера 11 или из бильярдной; привычный ритуал с бильярдом совершался как раз во время идиотской суеты, когда из отеля уезжали постояльцы; портье снимал с доски ключ, на мгновение ощущая прикосновение руки гостя, бросал взгляд на его бледное лицо с красным шрамом на переносице. Гуго спрашивал: «Как всегда?» Портье кивал головой — бильярд с половины десятого до одиннадцати. Но пока еще внутренняя служба информации отеля не донесла ни о чем страшном или порочном. Фемель действительно играл с половины десятого до одиннадцати в бильярд, играл один, без партнеров, тянул маленькими глоточками коньяк, запивая его водой, курил, слушал, что Гуго рассказывал ему о своем детстве, сам рассказывал Гуго о своем детстве; Фемель не возражал даже, если кто-нибудь из горничных или уборщиц по дороге к грузовому лифту останавливался в открытых дверях и смотрел на него; он только улыбался. Нет, нет, он совершенно безобидный.

Йохен, прихрамывая и качая головой, вышел из лифта, держа в поднятой руке письмо. Йохен жил под самой голубятней, рядом со

своими пернатыми друзьями, которые приносили ему весточки из Парижа, Рима, Варшавы, Копенгагена; трудно было определить, какую роль играет в отеле Йохен, в своей причудливой ливрее, представляющей нечто среднее между мундиром кронпринца и унтер-офицера; он был отчасти фактотумом, отчасти «серым кардиналом», все ему доверяли, и он был посвящен решительно во все; при этом Йохен не был ни портье, ни официантом, ни администратором, ни слугой, хотя он и был на все руки мастер и даже в поварском искусстве кое-что смыслил; ему принадлежала крылатая фраза, которую повторяли всякий раз, как возникали сомнения в моральном облике кого-либо из постояльцев: «Если все будут нравственны, нам не к чему хранить тайны; кому нужна секретность, коли нет вещей, которые следует держать в секрете?» Йохен был отчасти духовником, отчасти секретарем по особо важным делам, отчасти сводником. Ухмыляясь, Йохен вскрыл письмо искривленными от ревматизма пальцами.

— Ты мог бы сэкономить свои десять марок, я бы рассказал тебе в тысячу раз больше, чем этот щенок, и притом бесплатно: «Справочное бюро «Аргус». При сем прилагаем запрошенную Вами справку о господине докторе Роберте Фемеле, архитекторе, проживающем по Модестгассе, 8. Д-ру Фемелю 42 года,

он вдовец, имеет двух детей. Сын 22 лет, архитектор, проживает отдельно. Дочь 19 лет — учащаяся. Д-р Ф. состоятельный человек. Со стороны матери в родстве с Кильбами. Ни в чем предосудительном не замечен».

Йохен захихикал.

— Ни в чем предосудительном не замечен! Как будто молодого Фемеля можно заметить в чем-либо предосудительном. Он один из немногих людей, за которых я, ни минуты не задумываясь, положил бы руку в огонь, слышишь, вот эту старую, продажную, изуродованную ревматизмом руку. Ты можешь спокойно доверить ему мальчика, он не того сорта человек, но, будь он даже того сорта, я не вижу, почему бы не позволить ему все, что позволяют педерастам-министрам, но он не того сорта. Уже в двадцать лет у него родился ребенок от дочери одного нашего коллеги, может, ты его помнишь, его звали Шрелла, и он когда-то проработал здесь в отеле год. Не помнишь? Ну конечно, это было еще до тебя. Так вот, оставь в покое молодого Фемеля, пусть себе играет в бильярд. Он хороших кровей. Действительно хороших. Старой закалки. Я знал его бабушку, дедушку, мать и дядю; пятьдесят лет назад они уже играли здесь в бильярд. Семья Кильб — тебе это, видно, невдомек — живет на Модестгассе уже триста лет, вернее, жила — теперь никого из них не осталось. Его мать

спятила — она потеряла двух братьев и троих детей. И не смогла этого перенести. Хорошая была женщина. Из породы тихих, понимаешь? Она не съедала ни крошки сверх того, что выдавалось по карточкам, ни крупиночки, да и детям своим ничего не давала сверх положенного. Сумасшедшая! Все, что ей присылали, она раздавала, а ей много присылали: Фемели владели тогда несколькими усадьбами; кроме того, настоятель аббатства Святого Антония в Киссатале отправлял ей масло целыми бочонками, мед кувшинами и хлеб буханками, но она ни к чему не притрагивалась сама и не давала ни крошки детям, им приходилось есть хлеб из опилок, намазывая его подкрашенным повидлом, потому что мать все раздавала, даже золотые монеты она раздаривала, я сам видел году в шестнадцатом или семнадцатом, как она вышла из дома с буханками хлеба и кувшином меда. Мед в тысяча девятьсот семнадцатом году! Можешь себе представить? Но где уж вам это помнить, вы никогда не поймете, что значил мед в тысяча девятьсот семнадцатом и зимой сорок первого — сорок второго годов! А как она бежала на товарную станцию и требовала, чтобы ей разрешили уехать вместе с евреями. Сумасшедшая! Ее засадили в сумасшедший дом, но я не верю, что она сумасшедшая. Таких женщин можно увидеть разве только в музеях на старинных картинах.

Ради ее сына я дам себя четвертовать; и если здесь, в этой лавочке, перед ним не будут ходить на задних лапках, я устрою грандиозный скандал, пускай хоть целая сотня старых баб спрашивает Гуго, — раз Фемель хочет держать его при себе, пусть держит. Справочное бюро «Аргус»! Идиоты! Не к чему было выбрасывать десять марок! Ты еще, пожалуй, скажешь, что не знаешь его отца, старика Фемеля. Да? Ну так поздравляю, ты его знаешь, но тебе и в голову не приходило, что он-то и есть отец того клиента, который играет наверху в бильярд. Ну да, старика Фемеля знает каждый ребенок. Пятьдесят лет назад он приехал сюда в перелицованном костюме своего дяди с несколькими золотыми в кармане; он уже тогда играл в бильярд здесь, в отеле «Принц Генрих», тогда, когда ты еще понятия не имел, что такое отель. Ну и портье сейчас пошли! Оставь его в покое. Он не наделает глупостей и не причинит никому вреда, разве что спятит с ума — тихо и незаметно. Он был лучшим игроком в лапту и лучшим бегуном на сто метров в нашем городе за всю его историю; ведь он упрямый, и если уж что заберет себе в голову — его не переспоришь; он не выносил несправедливости, а кто не выносит несправедливости, тот обязательно впутается в политику, вот он и впутался уже в девятнадцать лет; ему бы наверняка отрубили голову или запрятали лет на двадцать в тюрь-

му, если бы он не удрал. Да-да, не смотри на меня так, он убежал и года три-четыре пробыл за границей; не знаю точно, в чем тут было дело, — мне этого так и не удалось выяснить, знаю только, что в той истории был замешан старый Шрелла и его дочь, которая родила потом Фемелю ребенка; ну а когда он вернулся, его больше не тронули, он пошел в армию рядовым в мундире с черными кантами. Что ты вылупил глаза? Был ли он коммунистом? Не знаю, но пусть даже так, каждый порядочный человек когда-нибудь сочувствовал коммунистам. Ну а теперь ступай завтракать, с этими старыми дурами я сам управлюсь.

Беда или порок — что-то носилось в воздухе, но Йохен был слишком простодушен, он никогда не чуял самоубийства и не верил, что случилось несчастье, даже если перепуганным постояльцам удавалось отличить сквозь закрытые двери номера тишину смерти от тишины сна; он разыгрывал из себя этакую продажную шельму, тертого старикашку, но в людей все же верил.

— Как хочешь, — сказал портье, — я пойду завтракать. Только не пускай к нему никого, он придает этому большое значение. Вот. — И он положил на конторку перед Йохеном крас-

ную карточку: «Я всегда рад видеть мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу, но больше я никого не принимаю».

Шрелла? — испуганно подумал Йохен. Разве он еще жив? Ведь его тогда убили... а может, у него был сын?

Этот аромат свел на нет все остальные запахи, все, что люди выкурили здесь за последние две недели, этот аромат можно было нести перед собой наподобие знамени: вот я иду, видная персона, победитель, перед которым ничто не может устоять, рост — метр восемьдесят девять, седой, сорока с лишним лет, костюм из сукна особого, «правительственного» качества — коммерсанты, промышленники и художники такого не носят. Йохен сразу оценил сановную элегантность посетителя — то был министр или посланник, чья подпись имела почти что силу закона, этот человек беспрепятственно проникал сквозь обитые войлоком, стальные и железные двери приемных, проходил повсюду, пробивая себе дорогу плечами, словно тараном, излучая вежливость и любезность, в которой чувствовалось что-то заученное; на сей раз он пропустил вперед бабушку, только что забравшую своего отвратительного пса из рук Эриха — второго боя, помог даме-скелету, которая казалась выходцем с того света, подойти к лестнице и схватиться за перила, пробормотав: «Не стоит благодарности, сударыня».

— Неттлингер.

— Чем могу служить, господин доктор?

— Мне нужно видеть доктора Фемеля. Срочно. Немедленно. По служебным делам.

Играя красной карточкой, Йохен качнул головой и вежливо отказал. «Мать, отца, сына, дочь, Шреллу». Неттлингера он видеть не желает.

— Но мне известно, что он здесь.

Неттлингер? Когда-то я слышал это имя. Да и лицо его напоминает мне что-то, что я поклялся не забывать! Это имя я слышал много лет назад и сказал себе: «Йохен, запомни его, возьми его на заметку», — но теперь я не знаю, что хотел запомнить. Во всяком случае, будь начеку. Тебя бы наверняка стошнило, если бы ты узнал, что он успел натворить на своем веку, тебя бы рвало до самой твоей кончины, если бы ты увидел тот фильм, который покажут ему в день Страшного суда, — фильм о его жизни; он из тех молодчиков, которые приказывали выламывать у мертвецов золотые коронки и отрезать волосы у детей.

Беда или порок? Нет, в воздухе запахло убийством.

Эти люди понятия не имеют, как и когда давать чаевые, по чаевым легче всего определить человека; сейчас, пожалуй, уместно было бы предложить сигару, но, во всяком случае, не деньги, а тем более такие крупные, как зе-

леная кредитка в двадцать марок, которую этот господин, ухмыляясь, положил на конторку перед Йохеном. Что за олухи — они не знают простейших законов обхождения с людьми, не знают азбучных истин обращения с портье; как будто в «Принце Генрихе» оптом и в розницу продаются чужие секреты, как будто постояльца, который платит сорок — шестьдесят марок в сутки, можно купить за зеленую двадцатимарковую бумажку, за двадцать марок, предложенных совершенно незнакомым человеком, чье единственное удостоверение личности — дорогая сигара и костюм из добротного сукна. Подумать только, что такой тип становится министром или дипломатом, хотя не знает азов сложнейшей из всех наук — науки подкупа. Йохен огорченно покачал головой и не притронулся к зеленой бумажке. *«И правая их рука полна подношений».*

Трудно поверить, но к зеленой бумажке прибавилась синяя; предложенная сумма дошла до тридцати марок, и в лицо Йохену дохнули густым облаком дыма «Партагас эминентес».

Ну что ж, дыши на меня, дыши мне в лицо своей четырехмарковой сигарой, можешь даже прибавить еще кредитку — лиловую. Йохена нельзя купить ни за какие деньги, а тебе уж подавно; не многих любил я в своей жизни, но молодой Фемель мне по душе. Тебе не по-

везло, ты, конечно, важный господин, твоя подпись немало значит, но ты опоздал на полторы минуты. Тебе бы надо почуять, что деньги совершенно неуместны, когда дело касается меня. У меня, если хочешь знать, в кармане договор, заверенный нотариусом, и по этому договору моя каморка под крышей принадлежит мне пожизненно, к тому же я имею право держать голубей; на завтрак и на обед я могу выбрать себе чего моя душа пожелает, кроме того, я ежемесячно получаю полтораста марок чистоганом, прямо в руки; эта сумма в три раза больше той, что мне требуется на табачок; у меня есть друзья в Копенгагене и Париже, в Варшаве и Риме; если бы ты только знал, как стоят друг за друга голубятники; но ты ничего не знаешь, хотя и вообразил, будто за деньги можно добиться всего; эту философию вы внушаете самим себе и, разумеется, портье в отелях; за деньги портье готовы на все, они продадут тебе родную бабушку за лиловый полусотенный билет. Но я сам себе хозяин, друг мой, с одним-единственным ограничением — здесь внизу, когда я заменяю портье, мне запрещено курить мою трубочку; сегодня я в первый раз жалею об этом, ведь я мог бы выпустить навстречу дыму твоей «Партагас эминентес» дым из моей трубки, набитой черным табаком. Говоря ясно и недвусмысленно — можешь поцеловать меня в...

Фемеля я тебе все равно не продам. Пусть спокойно играет себе с половины десятого до одиннадцати в бильярд, хотя я лично нашел бы для него более подходящее занятие, а именно — сидеть на твоём месте в министерстве. Или же делать то, что он делал в юности: бросать бомбы, чтобы у таких мерзавцев, как ты, земля горела под ногами. Но если он хочет играть в бильярд с половины десятого до одиннадцати, пожалуйста, пусть себе играет, на то я здесь и поставлен, чтобы никто не мешал ему, это моя обязанность. А теперь можешь забрать свои деньги и идти, проваливай, а если положишь еще бумажку, пеняй на себя. Мне приходилось глотать бестактности и с терпеливым видом сносить человеческую глупость; в эту книгу я записывал нарушителей супружеской верности и эротоманов, не раз отшивал я обезумевших жен и рогоносцев, но, пожалуйста, не думай, что я был создан для такой участи. Я всегда был порядочным малым и, конечно, прислуживал во время мессы так же, как и ты, а в певческом фереине распевал песни во славу отца Колпинга и святого Алоизия. К двадцати годам я уже шесть лет прослужил в этом заведении. И если я не потерял веру в человеческий род, то лишь потому, что на свете есть несколько таких людей, как молодой Фемель и его мать. Забирай свои деньги, вынь изо рта сигару и поклонись мне повежливей, ведь я уже старый человек и

видел на своем веку столько пороков, сколько тебе и во сне не снилось; пусть бой подержит тебе вращающуюся дверь, и убирайся.

— Я не ослышался? Ты хочешь поговорить с директором?

Тут посетитель побагровел, а потом поси-
нел от злости...

— Черт побери! Неужели я опять подумал вслух и, возможно, даже обратился к тебе на «ты»: разумеется, это никуда не годится, я совершил непростительную ошибку, потому что с такими людьми, как вы, я на «ты» не бываю.

Как я смею? Что же, я старик, мне уже под семьдесят, и я, бывает, заговариваюсь, у меня небольшой склероз, я малость впал в детство и нахожусь поэтому под защитой пятьдесят первого параграфа, а здесь я живу из милости.

Армия и вооружение?.. Этого еще не хватало.

— К директору, пожалуйста, налево, за угол, вторая дверь направо; книга жалоб — в сафьяновом переплете.

А если ты закажешь себе глазунью и если твой заказ придет на кухню, когда я буду там, я сочту за особую честь лично плюнуть на сковородку. Ты получишь мое объяснение в любви, так сказать «о натюрель», смешанное с растаявшим маслом. Не стоит благодарности, милостивый государь!

— Я ведь уже сказал вам, сударь. Сюда за угол налево, потом вторая дверь направо, там

дирекция. Книга жалоб — в сафьяновом переплете. Вы хотите, чтобы о вас доложили? С удовольствием. Коммутатор. Господина директора вызывает портъе. Господин директор, здесь господин... Как ваша фамилия? Неттлингер, и прошу прощения, доктор Неттлингер хотел бы срочно поговорить с вами. По какому делу? Жалоба на меня. Да, спасибо. Господин директор ожидает вас... Да, сударыня, сегодня вечером фейерверк и парад, первая улица налево, потом вторая направо, затем опять третья налево, и вы увидите стрелку с надписью: «К древнеримским детским гробницам». Не стоит благодарности. Большое спасибо.

Не следует отказываться от марки, если получаешь ее из рук такой старой честной учительницы. Да-да, погляди, с какой милой улыбкой я беру маленькие чаевые, отказываясь от больших. Древнеримские детские гробницы — дело чистое. Лептой вдовицы здесь не пренебрегают. Ведь чаевые — душа нашей профессии.

— Да, за угол, совершенно верно.

Парочка еще не успеет выйти из такси, а я уже могу сказать, нарушают они супружескую верность или нет. Я чую такие вещи на расстоянии, различаю самые, казалось бы, невысказанные случаи. Среди любовников встречаются робкие, на их лицах все так ясно написано, что

хочется сказать им: «Ничего страшного, детки, такие вещи случались и раньше, я пятьдесят лет служу в отелях, на меня вы можете положиться. Пятьдесят девять марок восемьдесят пфеннигов за двойной номер, включая чаевые; за эти деньги вы имеете право требовать известного снисхождения, но, даже если вам не терпится, не начинайте по возможности обниматься в лифте. В «Принце Генрихе» любят за двойными дверями... Не робейте, господа, не бойтесь; если бы вы знали, кто только не удовлетворял здесь свои сексуальные потребности! В этих комнатах, освященных высокими ценами, побывали верующие и неверующие, злые и добрые. Двойной номер с ванной и бутылка шампанского в номер. Сигареты. Завтрак в половине одиннадцатого. Очень хорошо. Пожалуйста, распишитесь здесь, сударь, нет, здесь, — будем надеяться, что ты не так глуп и не назовешь свое настоящее имя. Эти записи действительно идут в полицию, там на них ставят печать, и они становятся документом, который может служить уликой. Смотри не доверяй властям, мой мальчик, они не хранят чужих тайн. Чем больше тайн они узнают, тем больше им нужно. А если ты к тому же был коммунистом, тогда остерегайся вдвойне. Я был им когда-то, и католиком тоже был. Полностью это не выветривается. До сих пор я не позволяю себе ничего в отношении не-

которых людей, и никто не смеет в моем присутствии отпустить глупую шутку насчет Девы Марии или обругать отца Колпинга: таким молодчикам не поздоровится».

— Бой, отведи господ в номер сорок два. К лифту в ту сторону, сударь!

Ага, вас-то я и ждал, голубчики, любовники из породы нахальных; эти ничего не скрывают и хотят показать всему свету, что им сам черт не брат. Но, если вам *нечего скрывать*, зачем же вы напускаете на себя такой нахальный вид и изо всех сил стараетесь показать, что вам *нечего скрывать*? Если вам действительно *нечего скрывать*, то вы и не должны ничего скрывать. Пожалуйста, распишитесь здесь, сударь, нет, здесь. С этой дурищей я лично не хотел бы иметь ничего такого, что надобно скрывать. Нет, нет. С любовью дело обстоит так же, как с чаевыми. Здесь главное интуиция. По женщине сразу видно, стоит с ней что-нибудь скрывать или нет. С этой не стоит. Можешь мне поверить, парень. Шестьдесят марок за ночевку в отеле плюс шампанское в номер плюс чаевые и завтрак, да еще деньги на подарки — нет, не стоит! От порядочной, уважающей себя шлюхи, которая знает свое ремесло, ты все же хоть кое-что получишь.

— Бой, господа взяли комнату сорок три. О боже, до чего люди глупы!

— Да, господин директор, я сейчас приду, слушаюсь, господин директор.

Конечно, такие, как ты, словно нарочно созданы быть директорами отелей; они похожи на женщин, которым удалили определенные органы; для этих женщин уже нет проблем, но любви без проблем не бывает! Все равно как если бы человек удалил себе совесть. Из него не вышло бы даже циника. Человек без огорчений — это уже не человек. Когда-то ты был не директором, а боем, и я тебя учил, четыре года я муштровал тебя, а потом ты повидал свет: посещал всякие школы, изучал языки, а затем наблюдал в офицерских казино — не союзников и союзников — варварские забавы пьяных победителей и побежденных, после чего ты незамедлительно вернулся к нам в отель, и первый вопрос, который ты задал, приехав сюда гладким, жирным и бессовестным, был: «Старик Йохен еще здесь?» Да, я еще здесь, все еще здесь, мой мальчик.

— Вы оскорбили этого господина, Кульгамме.

— Не намеренно, господин директор, собственно говоря, это нельзя считать оскорблением. Я мог бы назвать сотни людей, которые сочтут за честь быть со мной на «ты».

Верх наглости. Неслыханно!

— У меня это просто вырвалось, господин доктор Неттлингер. Я старик и нахожусь

до некоторой степени под защитой параграфа пятьдесят первого.

— Господин Неттлингер требует удовлетворения.

— И притом безотлагательно. С вашего разрешения, я не считаю за честь быть на «ты» с гостиничными портье.

— Попросите у господина доктора извинения.

— Прошу извинения у господина доктора.

— Не таким тоном.

— А каким же тоном? Прошу извинения у господина доктора. Прошу извинения у господина доктора. Прошу извинения у господина доктора. Вот вам все три тона, на какие я только способен, а вы уж, пожалуйста, выберите себе тот, какой вас больше устраивает. Я, видите ли, не боюсь унижений. Я готов встать на колени перед вами, вот на этот ковер, и бить себя в грудь кулаками; но я — старик и тоже хочу, чтобы передо мной извинились. Здесь была предпринята попытка подкупа, господин директор. На карте стояла репутация нашей старинной, всеми уважаемой фирмы. Профессиональную тайну хотели купить за тридцать паршивых марок. Я считаю, что была затронута и моя честь, и честь фирмы, которой я служу вот уже больше пятидесяти лет, точнее говоря, пятьдесят шесть лет.

— Прошу вас прекратить эту неприятную и смешную сцену.

— Сейчас же проводите этого господина в бильярдную, Кульгамме.

— Нет.

— Вы сейчас же проводите этого господина в бильярдную.

— Нет.

— Будет крайне прискорбно, Кульгамме, если стародавние отношения, связывающие вас с этой фирмой, прервутся из-за отказа выполнить простое приказание.

— В этом доме, господин директор, еще ни разу не пренебрегли желанием гостя не беспокоить его. Исключая, конечно, те случаи, когда в дело вмешивалась высшая власть, то есть тайная полиция. Тогда мы были бессильны.

— Рассматривайте мой случай как случай вмешательства высшей власти.

— Вы из гестапо?

— На такие вопросы я не отвечаю.

— А теперь проводите этого господина в бильярдную, Кульгамме.

— Вы, господин директор, первый, кто хочет запятнать репутацию нашего отеля!

— Я сам провожу вас в бильярдную, господин доктор.

— Только через мой труп, господин директор!

Надо быть таким продажным, как я, и таким старым, как я, чтобы знать: есть вещи, которые не продаются; порок перестает быть

пороком, если нет добродетели, и ты никогда не поймешь, что такое добродетель, если не будешь знать, что даже шлюхи отказывают некоторым клиентам. Но мне пора усвоить, что ты свинья. Неделями я натаскивал тебя наверху в моей комнате, учил, как незаметно брать чаевые — медью, серебром, бумажками, — это тоже искусство, незаметно принимать деньги, ибо чаевые — душа нашей профессии. Да, когда-то я тебя натаскивал (заниматься с тобой было адски трудно), но ты и тогда уже пытался меня надуть, врал, что для занятий у нас было всего три монеты по одной марке, хотя их было четыре, одну монету ты хотел утаить. Ты всегда был свиньей, никогда не понимал, что существуют вещи, которых «не делают», а теперь ты снова делаешь то, чего «не делают». За это время ты научился принимать чаевые и согласен взять даже меньше тридцати сребреников.

— Сейчас же вернитесь в холл, Кульгамме, этим господином я сам займусь. Отойдите, я вас предупреждаю.

Только через мой труп, а ведь уже без десяти одиннадцать; через десять минут он все равно спустится вниз. Если бы вы немножко соображали, этой комедии можно было бы избежать, но пусть осталось всего десять минут — только через мой труп. Вы никогда не знали, что такое честь, потому что не знали, что такое бесчестье. Вот я перед вами — Йо-

хен, здешний фактотум, продажный старик, прошедший сквозь огонь и воду, но вы попадете в бильярдную только через мой труп.

3

Он уже давно просто гонял шары; отказавшись от правил, отказавшись от счета, он толкал шар то чуть заметно, то резко, казалось, без всякого смысла и цели; каждый раз, как шар ударялся о два других шара, из зеленого небытия возникала новая геометрическая фигура; это напоминало звездное небо, на котором несколько точек находятся в движении; он прочерчивал в небе орбиты комет — белые по зеленому полю, красные по зеленому полю, следы появлялись, а потом вновь исчезали, тихие шорохи извещали о возникновении новых фигур; если шар, который он толкал, ударялся о борта или о другие шары, шорохи слышались раз пять или шесть; в этом монотонном шуме можно было различить и отдельные звуки — глухие или звонкие; ломаные линии, по которым двигались шары, зависели от величины углов, подчинялись законам геометрии и физики; энергия, которую он посредством кия сообщал шару, и незначительная энергия трения — все это поддавалось вычислению, все это было запечатлено в его мозгу и благодаря определен-

ным движениям запечатлевалось потом в геометрических фигурах, но фигуры не были застывшими и прочными, все было мимолетным и все снова исчезало, как только шар приходил в движение; иногда Фемель в течение получаса играл одним шаром; белый шар, как единственная звезда в небе, катился по зеленому полю, он катился легко и тихо, то была музыка без мелодии, живопись без образов, почти без цвета, одна только голая формула.

Бледный мальчик стоял в стороне, прислонясь к белой блестящей двери; руки он держал за спиной, ноги заложил одна за другую; он был в лиловой ливрее отеля «Принц Генрих».

— Вы мне сегодня ничего не расскажете, господин доктор?

Фемель оторвал взгляд от бильярда, отложил кий, взял сигарету, закурил, посмотрел на улицу, на которую падала тень церкви Святого Северина. Подмастерья, грузовики, монахи — улица жила своей жизнью; серый осенний свет, отражаясь от лиловых плюшевых портьер, казался почти серебристым; фигуры запоздалых гостей, завтракавших в ресторане отеля, были обрамлены портьерами; при этом освещении все выглядело порочным, даже яйца всмятку, а простодушные лица почтенных матрон казались лицами развратных женщин; кельнеры во фраках, в чьих глазах светилась готовность ко всему, напоминали

вельзевулов — личных посланцев Асмодея. А ведь они были всего-навсего безобидными членами профсоюза, усердно изучавшими после работы передовицы в своей профсоюзной газетке; казалось, они скрывали лошадиные копыта в искусно сконструированной ортопедической обуви; разве на их белых, красных и желтых лбах не росли маленькие элегантные рожки? Сахар в позолоченных сахарницах не походил на сахар; здесь случались всевозможные превращения: вино не было вином, хлеб не был хлебом; в этом свете все становилось составной частью таинственных пороков; здесь священнодействовали, но имя божества нельзя было произносить вслух.

— Что же тебе рассказать, дитя мое?

Память его никогда не удерживала слова и образы, он помнил только движения. Отец... он знал его походку, затейливую кривую, которую при каждом шаге описывала его правая штанина с такой быстротой, что, когда отец утром проходил мимо лавки Греца, направляясь в кафе «Кронер», чтобы там позавтракать, темно-синяя подшивка брюк мелькала всего лишь на секунду. Мать... он помнил замысловатый и смиренный жест, каким она складывала руки на груди, перед тем как изречь очередную избитую истину: «Сколько зла в мире» или «Как мало чистых душ на свете»; руки матери, казалось, выписывали эти слова в воз-

духе, прежде чем она произносила их вслух. Отто... он слышал его четкие шаги, когда тот проходил по коридору и спускался на улицу: «враг, враг» — башмаки Отто выстукивали это слово на каменных плитах лестницы, хотя много лет назад они выстукивали совсем другое слово: «брат, брат». Бабушка... он вспоминал движение, которое она делала целых семьдесят лет, он и теперь видел его много раз на дню, так как его повторяла Рут; это извечное движение, передавшееся по наследству, каждый раз пугало Фемеля; его дочь Рут никогда не видела своей прабабушки, откуда у нее этот жест? Ничего не подозревая, она откидывала волосы со лба так же, как ее прабабушка.

Он видел и себя самого — как он нагибался над грудой бит для игры в лапту, чтобы найти свою; вспоминал, как он перекатывал мяч в левой руке до тех пор, пока мяч наконец не ложился удобно, чтобы в решающий момент его можно было подбросить вверх на точно рассчитанную высоту; мяч падал вниз ровно столько времени, сколько надо было, чтобы и второй рукой схватить деревянную битку, размахнуться и изо всех сил ударить по мячу; тогда мяч залетал далеко за черту.

Он помнил себя на лужайке, на берегу реки, в парке, в саду, помнил, как он стоит, наклоняется, а потом, выпрямившись, ударяет по мячу. Все зависело от расчета; это дурачье и не по-

дозревало, что время падения мяча можно вычислить, что с помощью того же секундомера можно определить, сколько секунд требуется, чтобы перехватить битку обеими руками, и что все остальное — лишь вопрос координации движений и тренировки; каждый день под вечер он тренировался на лужайке, в парке, в саду; они не подозревали, что существуют формулы, которые можно применить к удару, и весы, на которых можно взвешивать мячи. Для этого требовалось всего лишь минимальное знание физики и математики, а также тренировка, но они презирали науки, от которых все зависело, презирали и тренировку; они предпочитали жульничество во всем. Они проделывали разные трюки с растяжимыми и к тому же лживыми сентенциями и читали всякую дрянь, в то время как Гёльдерлин был для них китайской грамотой; даже такое простое слово, как «лот», теряло в их устах всякий смысл, а ведь лот — это воплощение ясности: веревка и кусок свинца; его бросают в воду и, почувствовав, что свинец достиг дна, вытаскивают вверх; лотом измеряют глубину воды; но когда они говорили «измерить лотом», это только раздражало; они не умели ни играть в лапту, ни читать Гёльдерлина: «И, сострадав, сердце Всевышнего твердым останется».

Они толпились возле него, чтобы помешать ему ударить, и кричали: «Давай, Фемель, бей, давай!» — а другая группа игроков в это время

беспокойно металась на том конце поля, двое были уже далеко за чертой, где обычно падали мячи, мячи Роберта, которых все боялись; большей частью они падали на шоссе, где как раз тогда, в эту субботу, летом 1935 года, взмыленные гнедые лошади выезжали из ворот пивоварни; позади тянулась железнодорожная насыпь, маневровый паровозик выбрасывал в небо невинно-белые барашки дыма; направо у моста, ведущего к верфи, шипели газосварочные аппараты — рабочие в сверхурочные часы сваривали пароход «Сила через радость», — вспыхивали голубовато-серебристые искры, и клепальные молотки отбивали такт; на крошечных огородных участках новехонькие пугала тщетно угрожали воробьям; бледные пенсионеры с потухшими трубками томились в ожидании первого числа, когда им давали пенсию; воспоминание о движениях, которые Роберт тогда делал, — только оно одно пробудило в его памяти картины, слова и краски; и эта фраза «Давай, Фемель, давай!» всплыла в его сознании, когда он вспомнил свои движения. Вот мяч уже там, где ему полагалось лежать, Роберт только слегка удерживал его пальцами и мякотью ладони; сопротивление, которое придется преодолеть мячу, будет наименьшим, он уже держит свою битку, самую длинную из всех (ведь никого не интересовали законы рычагов), битку, обмотанную сверху лейкопласты-

рем. Фемель бросил быстрый взгляд на ручные часы; до завершающего свистка учителя гимнастики оставалось всего три минуты и тридцать секунд, а Фемель так и не решил для себя вопрос, почему команда чужой гимназии, Принца Отто, не возражала против назначения их учителя гимнастики судьей в финальной игре. Учителя звали Бернхард Вакера, но школьники прозвали его Бен Уэкс; это был довольно тучный меланхолик, говорили, что он питает к мальчикам платоническую любовь; Вакера обожал пирожные со сбитыми сливками и слащавые сентиментальные фильмы, в которых сильные белокурые юноши переплывали реки, а потом лежали на полянах, держа во рту травинку, и глядели в голубое небо, жаждая приключений; этот Бен Уэкс больше всего любил копию головы Антиноя, которая стояла у него дома среди фикусов и полок, забитых руководствами по гимнастике; он ласкал эту голову, делая вид, будто стирает с нее пыль; Бен Уэкс называл своих любимцев «мальчишечками», а остальных «сорванцами».

— Ну давай, сорванец, — сказал Бен Уэкс, пыхтя, живот у него колыхался, во рту он держал судейский свисток.

Но до конца игры все еще оставалось три минуты и три секунды — тринадцать лишних секунд. Если он бросит мяч сейчас, следующему игроку тоже удастся бросить мяч, и Шрелла,

который там у черты ждет избавления, должен будет еще раз побежать, а игроки еще раз всей силы кинут мяч ему прямо в лицо или в ноги, метя в поясницу; трижды Роберт наблюдал, как это делается: кто-нибудь из чужой команды попадал мячом в Шреллу, потом Неттлингер, игравший в одной команде с ним и со Шреллой, перехватывал мяч и бросал его в кого-нибудь из противников, то есть попросту кидал ему мяч, и тот опять попадал в Шреллу, который корчился от боли, а потом Неттлингер опять перехватывал мяч и просто-напросто перебрасывал его игроку команды противника, и тот бросал мяч в лицо Шрелле, а Бен Уэкс стоял тут же и свистел — свистел, когда они попадали в Шреллу, свистел, когда Неттлингер просто перебрасывал мяч противнику, свистел, когда Шрелла, прихрамывая, пытался отбежать подалее; все шло с головокружительной быстротой, мячи летали взад и вперед; неужели только он один видел все это? Неужели положения Шреллы не замечал никто из многочисленных зрителей с пестрыми флажками в петлицах и в пестрых шапочках, которые в лихорадочном возбуждении ждали окончания игры? За две минуты пятьдесят секунд до конца счет был 34:29 в пользу гимназии Принца Отто; может, то, что видел он один, как раз и было причиной, почему противники согласились назначить Бена Уэкса, их учителя гимнастики, своим судьей.

— Ну а теперь быстрее, малый, через две минуты я дам свисток!

— Прошу прощения, через две минуты пятьдесят секунд, — ответил Роберт, высоко подбросил мяч, молниеносно перехватил битую обеими руками и ударил; по силе удара и по отдаче дерева, отбросившего мяч, он почувствовал, что это снова был один из его легендарных ударов; прищурившись, он пытался проследить глазами за мячом, но не мог его обнаружить; потом он услышал «ах», вырвавшееся из глоток зрителей, громовое «ах», расползавшееся подобно облаку, становившееся все громче; он увидел, как Шрелла, прихрамывая, подошел ближе; Шрелла шел медленно, на лице у него выделялись желтые пятна, около носа виднелась кровавая полоска; пока помощники судьбы отсчитывали: «...семь, восемь, девять», остаток их команды издевательски медленно прошествовал мимо рассвирепевшего Бена Уэкса; игра была выиграна, выиграна с убедительным счетом, хотя Роберт забыл побежать и выиграть десятое очко; «оттонцы» все еще искали мяч — они ползали далеко за дорогой в траве вдоль стены пивоварни; в заключительном свистке Бена Уэкса явственно прозвучала досада. «Счет 38:34 в пользу гимназии Людвига», — объявил помощник судьи. «Ах» перешло в громкое «ура», прокатилось по всему полю, а в это время Роберт взял свою битую и воткнул ее

нижним концом в траву, немного приподнял, снова опустил и, найдя, как ему казалось, правильный угол, наступил ногой на самую хрупкую часть биты, туда, где у ручки она утончалась; восхищенные гимназисты окружили Фемеля, все замолкли, охваченные волнением; они чувствовали, что здесь свершается чудо — Фемель ломает свою знаменитую биту; древесина на месте перелома казалась мертвенно-белой; гимназисты уже завязали драку, они ожесточенно бились за каждую щепку, как за реликвию, вырывали друг у друга обрывки лейкопластыря; Фемель с испугом смотрел на их разгоряченные, поглупевшие лица, на горящие возбуждением и восторгом глаза; здесь в этот летний вечер 14 июля 1935 года он ощутил горечь дешевой славы — в субботу на окраине города, на вытоптанной лужайке, по которой Бен Уэкс в эту минуту гонял первоклассников гимназии Людвига, чтобы они собрали флажки, воткнутые по углам. Далеко за дорогой у стены пивоварни все еще виднелись синезелтые майки, «оттонцы» искали мяч; но вот они робкими шагами перешли шоссе, собрались посреди поля, построились в одну шеренгу в ожидании его, капитана команды гимназии Людвига, который должен был прокричать «гип-гип ура»; он медленно подошел к обеим шеренгам — Шрелла и Неттлингер стояли рядом, словно ничего не произошло, решительно

ничего, а тем временем младшие гимназисты дрались за щепки от его биты; Фемель сделал еще несколько шагов; восхищение зрителей он ощущал физически как нечто тошнотворное; он три раза прокричал «гип-гип ура»; «оттонцы», словно побитые собаки, опять побрели искать мяч; не найти мяч считалось несмыслимым позором.

— А ведь я знал, Гуго, что Неттлингеру очень хотелось победить! «Любой ценой добиться победы», — говорил он, и сам же поставил на карту нашу победу, лишь бы противники имели возможность все время бить в Шреллу, да и Бен Уэкс был с ними заодно; я понял это, единственный из всех.

Подходя к раздевалке, Роберт уже заранее боялся Шреллы и того, что он скажет. Вдруг стало заметно прохладнее, ползучий вечерний туман подымался с лугов, шел от реки, как бы обволакивая слоями ваты дом, где помещалась раздевалка. Почему, почему они так обращались со Шреллой? Подставляли ему ножку, когда на перемене он спускался по лестнице, и Шрелла ударялся головой о стальные края ступенек, а металлическая дужка очков впибалась ему в мочку уха; Уэкс тогда с большим опозданием появлялся из учительской, держа в руках аптечку, а Неттлингер с презрительной миной брал лейкопластырь, и Уэкс, туго натя-

нув, отрезал от него кусок. Они нападали на Шреллу, когда тот шел домой, затаскивали его в подъезды, избивали около мусорных ведер и поломанных детских колясок, спихивали вниз с темных лестниц, ведущих в подвалы, и однажды он долго пролежал там со сломанной рукой; он лежал на лестнице, где валялись пыльные консервные банки и пахло углем и прорастающим картофелем, до тех пор, пока мальчик, которого послали за яблоками, подняв тревогу, не переполошил жильцов. Только несколько человек не участвовали в этой травле: Эндерс, Дришка, Швойгель и Хольтен.

Когда-то давно он дружил со Шреллой; они ходили вместе в гости к Тришлеру, жившему в Нижней гавани: отец Шреллы служил кельнером в пивной у отца Тришлера; они играли на старых баржах, на заброшенных понтонах и удили с лодки рыбу.

Он остановился перед раздевалкой и услышал возбужденные голоса, все говорили разом, хрипло, охваченные миротворческим волнением, они обсуждали легендарный полет мяча; можно было подумать, что мяч исчез в надзвездных сферах.

— Я ведь видел, как он летел, словно камень, пущенный из пращи великана.

— Я видел его — мяч, который забил Роберт.

— Я слышал, как он летел — мяч, который забил Роберт.

— Им его не найти — мяч, который забил Роберт.

Когда он вошел, они замолчали; во внезапно наступившей тишине чувствовался благоговейный страх перед тем, что он совершил, перед тем, чему никто не поверит, перед тем, что никому невозможно рассказать; кто, в самом деле, возьмется засвидетельствовать это чудо — описать полет мяча Роберта?

Они побежали босиком в душевые кабинки, перекинув через плечо мохнатые полотенца; только Шрелла не пошел с ними, он оделся, так и не приняв душа, и лишь сейчас Роберт вспомнил, что Шрелла никогда не снимал душа после игры. Он никогда не снимал майки; сейчас он сидел на скамейке, и фонари у него под глазами отливали желтым и синим; над губой, там, где он стер кровавую полосу, еще не совсем просохло; кожа на предплечье посинела от ударов мяча, того самого, который «оттонцы» все еще искали; Шрелла опустил рукава своей застиранной рубашки, потом надел куртку, вынул из кармана книгу и прочел вслух: «Когда колокола под вечер возвещают мир».

Было мучительно сидеть вдвоем со Шреллой и читать благодарность в его бесстрастных глазах, слишком бесстрастных, чтобы ненавидеть; он поблагодарил своего спасителя, забившего последний мяч, лишь чуть заметным движением ресниц и мимолетной улыбкой; и

Фемель так же мимолетно усмехнулся в ответ, затем повернул голову к металлической вешалке, разыскал свою одежду, решив поскорее исчезнуть, не моясь под душем; над его вешалкой кто-то уже успел нацарапать на оштукатуренной стене: «Мяч Фемеля, 14 июля 1935 года».

Пахло кожаными гимнастическими снарядами и сухой землей, которая осыпалась с футбольных и волейбольных мячей и с мячей для игры в лапту, а потом забивалась в трещины бетонного пола; в углах стояли грязные зелено-белые флажки, рядом с расщепленным веслом были развешены для просушки футбольные сетки, на стене висел пожелтевший от времени диплом за треснувшей стеклянной витриной: «Зачинателям футбольного спорта, старшеклассникам гимназии Людвига, 1903 год. Председатель окружного спортивного общества». Групповой фотоснимок был обрамлен лавровым венком; на Фемеля взирали мускулистые восемнадцатилетние юноши рождения 1885 года, усатые, с животным оптимизмом глядевшие в будущее, которое уготовила им судьба: истлеть под Верденом, истечь кровью в болотах Соммы или же, покоясь на Кладбище героев у Шато-Тьерри, побудить пятьдесят лет спустя туристов, направляющихся в Париж, занести в попорченную дождем книгу примирительные сентенции, продиктованные торжественностью минуты; в раздевалке пахло железом, пахло ранней возму-

жалостью, с улицы проникал сырой туман, поднимавшийся легкими облаками с прибрежных лугов; из трактира наверху доносились низкие голоса мужчин, подгулявших в этот субботний вечер, хихиканье кельнерш, звон пивных кружек, а в конце коридора игроки в кегли уже принялись за работу — они бросали шары, и кегли летели кувырком; торжествующие или разочарованные выкрики партнеров неслись по всему коридору, вплоть до раздевалки.

Щурясь, несмотря на тусклое освещение, и зябко подняв плечи, Шрелла притулился у стены. Фемель не мог больше оттягивать разговор; он еще раз проверил, хорошо ли завязан галстук, разгладил последнюю складочку на воротнике своей спортивной рубашки — он был аккуратен, неизменно аккуратен, — еще раз засунул в ботинки концы шнурков и пересчитал мелочь, приготовленную на обратную дорогу; из душевых уже возвращались первые игроки, разговаривая «о мяче, который забил Роберт».

— Пошли вместе?

— Хорошо.

Они поднялись по обшарпанным бетонным ступенькам, на которых грязь лежала еще с весны, валялись бумажки от конфет и пустые пачки из-под сигарет, и вышли на дамбу, где гребцы, обливаясь потом, вкатывали лодку на цементную дорожку; в полном молчании брели они рядом по дамбе, перекинутой через низ-

кие пласты тумана, словно мост; они слышали паровозные гудки, видели красные и зеленые сигнальные огни на мачтах пароходов; от верфи летели красные искры, вычерчивая геометрические фигуры в сером небе; мальчишки молча дошли до моста, поднялись по лестнице вверх, туда, где на красном песчанике были нацарапаны надписи, увековечившие тайные вождения молодых людей, возвращавшихся с купанья; грохот товарного поезда, проезжавшего по мосту, на некоторое время избавил их от необходимости говорить: на западный берег везли отходы — шлак; покачивались сигнальные огни, пронзительные свистки направляли поезд, который, пятась задом, переходил на другой путь; внизу в тумане скользили пароходы, держа курс на север; жалобный вой сирен, предупреждавший о смертельной опасности, тоскливо разносился над водой; из-за всего этого шума, к счастью, нельзя было разговаривать.

— И я остановился, Гуго, прислонясь к перилам, лицом к реке, вытащил из кармана пачку сигарет и предложил сигарету Шрелле, он дал мне прикурить, и мы молча курили, в то время как позади нас поезд, громокая, съезжал с моста; под нами почти беззвучно двигался караван барж, направляясь к северу; было слышно, как баржи мягко скользили под пеленой тумана да временами из трубы какой-нибудь судовой

кухни с легким треском вылетали искры; на несколько минут воцарилась тишина, а потом следующая баржа мягко заскользила под мостом — на север, на север, к туманам Северного моря; и мне стало страшно, Гуго, потому что теперь мне надо было задать вопрос Шрелле, а я знал: стоит мне произнести первый вопрос, и я увязну во всей этой истории, увязну накрепко и никогда больше с ней не разделаюсь, видно, это была страшная тайна, если из-за нее Неттлингер поставил на карту нашу победу и «оттонцы» согласились, чтобы судьей был Бен Уэкс; стояла почти абсолютная тишина, и она придавала вопросу, который просился с моих губ, особый вес, она приобщала его к вечности, и мысленно, Гуго, я уже прощался со всем, хотя еще не знал, почему и ради чего; я прощался с темной башней Святого Северина, вздымавшейся над низко стелющимся туманом, и с отчим домом, тут же, неподалеку от Святого Северина; в это время моя мать заканчивала приготовления к ужину — поправляла серебряные приборы, бережно уставляла цветы в маленьких вазочках, пробовала вино, достаточно ли охлаждено белое и не слишком ли остыло красное. Собираясь справить субботний день с субботней торжественностью, она уже взялась за свой трепник; мать сейчас начнет объяснять воскресную литургию своим кротким голосом, в котором звучали покаянные великопостные ноты: «Паси

агнцев Моих»; я мысленно прощался со своей комнатой в задней половине дома, выходявшей в сад, где вековые деревья еще стояли в летнем уборе и где я со страстью углублялся в математические формулы, в строгие кривые геометрических фигур, в по-зимнему ясные переплетения сферических линий, проведенных моим циркулем и моим рейсфедером, — там я чертил церкви, которые когда-нибудь построю. Щелкнув пальцем по окурку, Шрелла швырнул его в туман; красный огонек, медленно кружась, опускался вниз; Шрелла с улыбкой повернулся ко мне, ожидая вопроса, который я все еще не решался задать, и покачал головой.

Цепочка огней отчетливо вырисовывалась над пеленой тумана на берегу.

— Идем, — сказал Шрелла, — вот они уже явились, разве ты не слышишь?

Я слышал: мост дрожал от их шагов; они перечисляли места, куда скоро поедут на каникулы: Альгой, Вестервальд, Бадгастайн, Северное море; они говорили «о мяче, который забил Роберт». На ходу мне было легче задать ему вопрос.

— Что это значит? — спросил я. — Что это значит? Ты — еврей?

— Нет.

— Кто же ты тогда?

— Мы — агнцы, — сказал Шрелла, — мы поклялись не принимать «причастие буйвола».

— Агнцы. — Я испугался этого слова. — Это секта? — спросил я.

— Пожалуй.

— А не партия?

— Нет.

— Я бы не смог, — сказал я, — я не могу быть агнцем.

— Значит, ты хочешь принимать «причастие буйвола»?

— Нет, — сказал я.

— Пастыри... — сказал он, — есть пастыри, которые не покидают своего стада...

— Скорее, — прервал я его, — скорее, они уже совсем близко.

Мы сошли вниз по темной лестнице на западной стороне моста; когда мы добрались до шоссе, я поколебался секунду: чтобы пойти домой, мне нужно было свернуть направо, а Шрелле налево, — но потом я все же отправился с ним налево; дорога к городу петляла между дровяными складами, сараями и небольшими огородиками. За первым же поворотом мы остановились, теперь мы углубились в туман, низко стелющийся над землей, увидели, как силуэты школьных товарищей движутся над перилами моста, услышали шум их шагов, их голоса, а когда они начали спускаться вниз и эхо загрохотало, повторяя стук подбитых гвоздями башмаков, чей-то голос прокричал: «Неттлингер, Неттлингер,

подожди же!» Громкий голос Неттлингера в свою очередь разбудил над рекой гулкое эхо; разбившись о быки моста, оно вернулось к нам, а потом затерялось где-то позади в огородах и в складских помещениях; Неттлингер закричал: «Где же наша овечка и ее пастырь?» — и смех, многократно повторенный раскатами эха, осыпал нас ледяными осколками.

— Ты слышал? — спросил Шрелла.

— Да, — сказал я, — овца и пастырь.

Мы смотрели на тени замешкавшихся мальчиков, которые двигались над мостом; пока они спускались, их голоса звучали глухо, а когда они пошли по шоссе, голоса стали звонче, дробясь под сводами моста: «Мяч, который забил Роберт».

— Расскажи мне все по порядку, — сказал я Шрелле. — Я должен знать все по порядку.

— Я тебе просто покажу, — ответил Шрелла, — пошли.

Мы ошупью пробирались сквозь туман мимо изгородей из колючей проволоки, потом дошли до деревянного забора, еще пахнущего свежим деревом и отсвечивающего желтым; электрическая лампочка над закрытыми воротами освещала эмалевую вывеску: «Михаэлис. Уголь, кокс, брикеты».

— Ты еще помнишь эту дорогу? — спросил Шрелла.

— Да, — сказал я, — семь лет назад мы часто ходили здесь вместе, а потом играли там внизу у Тришлера. Кем стал теперь Алоиз?

— Он моряк, как и его отец.

— А твой отец все еще служит кельнером внизу в портовом кабачке?

— Нет, он теперь работает в Верхней гавани.

— Ты хотел что-то показать мне?

Шрелла вынул изо рта сигарету, снял куртку, спустил с плеч подтяжки, поднял рубаху и повернулся ко мне спиной; при тусклом свете лампочки я увидел, что его спина сплошь покрыта небольшими красновато-синими рубцами величиной с фасолину — правильной было бы сказать, усеяна рубцами, подумал я.

— Боже мой, что это? — спросил я.

— Это — Неттлингер, — ответил он, — они занимаются этим внизу, в старой казарме на Вильгельмскуле, Бен Уэкс и Неттлингер. Они называют себя вспомогательной полицией; меня они схватили во время облавы на нищих, которую устроили в районе гавани; за один день там взяли тридцать восемь нищих, среди них был и я. Нас допрашивали, избивая бичом из колючей проволоки. Они говорили: «Признайся, что ты нищий», а я отвечал: «Да, я нищий».

Запоздалые посетители все еще сидели за завтраком в ресторане, потягивая апельсиновый сок с таким видом, словно это запретный

напиток; бледный мальчик, прислонившийся к двери, походил на статую; от лилового бархата ливреи лицо его казалось зеленым.

— Гуго, Гуго, ты слышишь, что я говорю?

— Да, господин доктор, слышу каждое слово.

— Принеси мне, пожалуйста, рюмку коньяку, двойную порцию.

— Да, господин доктор.

Пока Гуго спускался по лестнице в ресторан, на него суровым оком взирало время с большого календаря, с которым мальчик каждое утро возился — он переворачивал большую картонную цифру и вдвигал под нее табличку с наименованием месяца, а еще ниже — года; было «6 сентября 1958 года». У Гуго кружилась голова, все эти события произошли задолго до его рождения, и это отбрасывало его на десятилетия, на пятидесятилетия назад — 1885, 1903 и 1935, эти годы были скрыты в глуби времен, и все же они реально существовали; они воскресли в голосе Фемеля, который, прислонясь к бильярду, смотрел на площадь перед Святым Северином. Гуго крепко держался за перила и глубоко дышал, как человек, который выплыл на поверхность; потом он открыл глаза и быстро шмыгнул за большую колонну. Вот она спускается по лестнице, босая, в пастушеском наряде — поношенная кожаная безрукавка закрывает ей грудь и бедра, от девушки пахнет

овечьим навозом; сейчас она примется за пшеничную кашу с черным хлебом, съест несколько орехов и будет пить овечье молоко, которое хранят для нее в холодильнике; она возит с собой термосы с молоком, возит маленькие коробочки с овечьим навозом, который заменяет ей духи; она пропитывает им свое грубое вязаное белье из небеленой шерсти; после завтрака она часами сидит в холле внизу, вяжет, вяжет без конца, прерывая это занятие только для того, чтобы подойти к стойке и взять стакан воды; скрестив голые ноги на кушетке, выставив на всеобщее обозрение грязные мозоли на ступнях и покуривая короткую трубочку, она принимает своих отроков и отроковиц, которые одеты так же, как она, и пахнут, как она; они усаживаются вокруг нее на ковре, скрестив ноги, и вяжут, время от времени открывая маленькие коробочки, которые дает им Госпожа, и вдыхая запах овечьего навоза с таким видом, словно это самый изысканный аромат; через определенные промежутки времени, не вставая с кушетки, она откашливается и спрашивает своим детским голоском:

— Как мы спасем мир?

А отроки и отроковицы отвечают:

— Овечьей шерстью, овечьей кожей, овечьим молоком и вязаньем.

Спицы позвякивают, в холле тихо, и только время от времени кто-нибудь из отроков

подлетает к стойке и приносит Госпоже стакан холодной воды, и снова с кушетки доносится кроткий девичий голосок: «В чем блаженство мира?» — и все хором отвечают: «В овце».

Порой, когда они открывали коробочки и восторженно нюхали навоз, с треском вспыхивал магний и скрипели перья журналистов, быстро строчивших что-то на листках своих записных книжек.

Гуго медленно отступал все дальше, пока овечья жрица, огибая колонну, шла в зал завтракать: Гуго боялся ее, он видел, какими жесткими становились ее кроткие глаза, когда она оставалась с ним наедине, перехватив его на лестнице или у себя в номере, куда приказывала Гуго принести ей молоко; она встречала его с сигаретой во рту, вырывала у него из рук стакан и, смеясь, выплескивала молоко в раковину, а себе наливала коньяк и с рюмкой в руках подходила к нему, заставляя его медленно пятиться к двери.

— Неужели тебе еще никто не говорил, что твое лицо — золото, чистое золото, глупый ты мальчик? Хочешь, я сделаю тебя агнцем божьим в моей новой религии? Ты будешь знаменит и богат, они падут пред тобой ниц в еще более шикарных отелях, чем этот. Ты, видно, здесь новичок и плохо знаешь людей — их скуку можно разогнать только какой-нибудь новой религией, и чем глупее, тем лучше, — нет, убирайся, ты слишком глуп.

Он смотрел ей вслед, пока она с неподвижным лицом проходила в ресторан завтракать и кельнер держал перед ней дверь. Тогда Гуго вышел из-за колонны и медленно направился в зал, сердце у него все еще сильно билось.

— Рюмку коньяку для доктора в бильярдной, двойную порцию.

— Из-за твоего доктора заварилась хорошая каша.

— Как так?

— Я еще сам толком не знаю. Кажется, кому-то он срочно понадобился, твой доктор. На тебе коньяк, и побыстрее сматывайся, за тобой охотится по меньшей мере два десятка старых и молодых баб. Да живет, одна из них как раз спускается по лестнице.

Вид у нее был такой, словно она за завтраком пила чистую желчь, она была в золотистом платье и золотых туфлях, в шляпке и с муфтой из львиного меха. Стоило ей появиться, как всех охватывало отвращение, некоторые суеверные постояльцы закрывали себе лицо. Из-за нее отказывались от места горничные, кельнеры не желали ее обслуживать. И только Гуго, когда ей удавалось его настичь, вынужден был часами играть с ней в канасту, пальцы ее походили на куриные когти; единственно человеческое, что в ней было, — это сигарета, торчавшая во рту.

«...Любовь, мой мальчик... Я никогда не знала, что это такое; все, решительно все дают мне понять, что я вызываю только чувство омерзения. Мать проклинала меня десять раз на дню, не стесняясь, выражала мне свое отвращение. Моя мать была красивая молодая женщина; мой отец, мои сестры и братья тоже были молодые и красивые; если бы у них хватило мужества, они бы меня отравили, они говорили, что «такой, как я, не следовало родиться». Мы жили высоко на горе в желтой вилле над сталелитейным заводом; вечерами тысячи рабочих покидали завод: их ожидали веселые девушки и женщины; смеясь, рабочие спускались вместе со своими подружками по грязной дороге. Я вижу, слышу, чувствую, я ощущаю запахи, как все другие люди, я умею писать, читать, считать; я различаю, что вкусно и что невкусно, но ты первый, кто оказался в состоянии провести со мной больше получаса, слышишь, первый».

Эта женщина вселяла ужас, и за ней неотступно следовала тень беды; бросив ключ от номера на конторку, она крикнула бою, который заменял Йохена: «Гуго, где же Гуго?» — а когда бой пожал плечами, пошла к вращающейся двери; как только женщина вышла на улицу, она закрыла лицо вуалью.

«В отеле я ее не ношу, мой мальчик, пусть люди получают удовольствие, пусть за мои

деньги смотрят мне в лицо, но прохожие... они этого не заслужили».

— Вот коньяк, господин доктор!

— Спасибо, Гуго.

Гуго любил Фемеля; каждое утро тот приходил в половине десятого и освобождал его до одиннадцати; благодаря Фемелю он уже познал чувство вечности; разве так не было всегда, разве уже сто лет назад он не стоял здесь у белой блестящей двери, заложив руки за спину, наблюдал за тихой игрой в бильярд, прислушиваясь к словам, которые то отбрасывали его на шестьдесят лет назад, то бросали на двадцать лет вперед, то снова отбрасывали на десять лет назад, а потом внезапно швыряли в сегодняшний день, обозначенный на большом календаре. Белые шары катились по зеленому полю, красные по зеленому — красно-белые по зеленому, — никогда не вылетая за пределы двух квадратных метров зеленого сукна, окруженного бортами; все здесь было чисто, ясно и точно и продолжалось с половины десятого до одиннадцати утра; раза два-три Гуго спускался вниз за двойной порцией коньяка; время переставало быть величиной, по которой можно было о чем-то судить, прямоугольная зеленая промокашка сукна, казалось, всасывала его; напрасно били часы, напрасно стрелки в бессмысленной спешке гнались друг за дру-

гом; с приходом Фемеля все останавливалось, все прекращалось, и как раз тогда, когда было больше всего работы: старые постояльцы съезжали, новые появлялись, а Гуго стоял здесь как прикованный, пока на башне Святого Северина не пробьет одиннадцать. Но когда это будет? Кто знает, когда пробьет одиннадцать? Он находился как бы в безвоздушном пространстве, и часы переставали показывать время; он погружался куда-то очень глубоко, двигался по дну океана; действительность не проникала сюда, она оставалась снаружи, будто за стенками аквариума или за стеклами витрин; прильнув к ним, она сплющивалась, теряла свою объемность, сохраняя лишь одно линейное измерение, словно картинка, вырезанная из детского альбома; люди там, снаружи, казалось, набросили на себя одежды только на время, как картонные куклы, и беспомощно ударялись о стены из стекла, которые были толще, чем столетия; вдали виднелась тень Святого Северина, еще дальше — вокзал и поезда: курьерские поезда, поезда дальнего следования, экспрессы, воинские эшелоны и товарные составы, все они везли чемоданы к таможням, но единственной реальностью были три бильярдных шара, которые катились по зеленой промокашке, образуя все новые и новые геометрические фигуры; на двух квадратных метрах в тысяче образов рождалась бесконеч-

ность; Фемель создавал ее своим кием, а тем временем голос его терялся в глубинах времени.

— А продолжение у этой истории будет, господин доктор?

— Хочешь узнать его?

— Да.

Фемель засмеялся, пригубил рюмку с коньяком, закурил новую сигарету, взял в руки кий и толкнул красный шар; красный и белый шары покатались по зеленому полю.

— Через неделю после этого, Гуго...

— После чего?

Фемель опять рассмеялся.

— ...прошла неделя после игры в лапту, после этой даты — четырнадцатого июля тысяча девятьсот тридцать пятого года, которую они нацарапали на штукатурке поверх металлической вешалки, и я понял, как хорошо, что Шрелла напомнил мне дорогу к дому Тришлера. Я стоял в Нижней гавани, у балюстрады старой таможни; отсюда я мог хорошо обозреть дорогу, пробежавшую мимо дровяных сараев и угольных складов, спускавшуюся к лавке строительных материалов, а затем к гавани, которая была обнесена ржавой железной оградой — теперь она служила только кладбищем кораблей. Последний раз я приходил сюда семь лет назад, но мне казалось, что с того времени прошло лет пятьдесят. Мне минуло тринадцать, когда мы вместе со Шреллой ходили к Триш-

леру; длинные караваны барж становились по вечерам на якорь у откоса; жены моряков с кошелками в руках поднимались по шатким сходням на берег, у женщин были свежие лица и уверенный взгляд, а за ними шли мужчины; они спрашивали пиво и газеты; мать Тришлера с беспокойством оглядывала свои товары — капусту, помидоры и золотистые луковицы, связки которых висели на стене, а в это время пастух на дороге короткими резкими окриками понукал собак, сгонявших овец в загоны; напротив, на этом, здешнем, берегу, Гуго, зажигались газовые фонари; желтоватый свет наполнял белые колпаки, рядами убежавшие на север, в бесконечность; отец Тришлера зажигал фонари в своем кафе в саду, а отец Шреллы с белой салфеткой, перекинутой через руку, торопился в трактир для грузчиков, где мы, мальчики — Тришлер, Шрелла и я, — кололи лед, чтобы засыпать им ящики с пивом.

И вот, милый Гуго, семь лет спустя, в тот день, двадцать первого июля тысяча девятьсот тридцать пятого года, на всех заборах облупилась краска, и я увидел, что на угольном складе Михаэлиса заново выкрашены только ворота: у забора истлевала большая куча брикетов; я все время следил за петлями дороги — не преследует ли меня кто-нибудь; я устал, раны на спине давали себя знать, боль ощущалась вспышками, подобно ударам пульса; уже минут десять

как на дороге никто не появлялся, я взглянул на узкую, покрытую рябью полосу прозрачной воды, соединявшую Нижнюю гавань с Верхней; лодок не было, взглянул на небо — самолетов тоже не было, и подумал: ты, видно, принимаешь себя слишком всерьез, если воображаешь, что за тобой пошлют самолеты.

Да, я это сделал, Гуго, отправился вместе со Шреллой в маленькое кафе «Ценз» на Бауссештрассе, где встречались «агнцы», шепнул хозяину пароль «Паси агнцев Моих» и поклялся, поклялся, глядя прямо в глаза молоденькой девушке, которую звали Эдит, никогда не принимать «причастия буйвола», а потом в темной задней комнате произнес речь, в которой звучало немало зловещих слов, не имеющих ничего общего с агнцами, эти слова пахли кровью, мятежом и мстью, мстью за Ферди Прогульске, которого утром казнили; все те, кто сидел за столом и слушал меня, казались уже обезглавленными; им было страшно, они знали теперь, что, когда дети задумали что-нибудь всерьез, они не менее серьезны, чем взрослые; их мучил страх и сознание того, что Ферди действительно мертв; ему было семнадцать лет, он был бегуном на сто метров и работал подмастерьем у столяра; я видел его всего четыре раза, но никогда в жизни не забуду — дважды я видел его в кафе «Цонз» и дважды у нас дома. Ферди прокрался в квартиру Бена Уэкса и, когда тот

вышел из спальни, бросил ему под ноги бомбу; Бен Уэкс отделался всего лишь ожогом ног, в гардеробе разбилось зеркало, в комнате слегка запахло порохом... Это было, Гуго, глупостью, совершенной оттого, что Ферди по-детски понимал благородство. Ты слушаешь меня, ты в самом деле меня слушаешь?

— Слушаю!

— Я читал Гёльдерлина: «И, сострадая, сердце Всевышнего твердым останется», а Ферди читал только Карла Мая, который, как ему казалось, тоже проповедовал благородство; свою глупость он искупил под топором палача; это случилось на рассвете, когда колокола звонили к ранней мессе, когда булочники отсчитывали теплые булочки в полотняные мешочки, а здесь, в отеле «Принц Генрих», приносили завтрак первым посетителям; шибетали птицы, молочницы в туфлях на резиновой подошве неслышно входили в тихие парадные, чтобы поставить бутылки с молоком на чистые кокосовые циновки; рассыльные на мотоциклах носились по всему городу от одного афишного столба к другому, наклеивая плакаты, обведенные красной каймой: «Смертный приговор подмастерью Фердинанду Прогульске!» — плакат, который читали первые прохожие, трамвайщики, школьники и учителя, все те, кто по утрам с бутербродами в карманах спешит к остановкам трамвая

и еще не успел раскрыть местную газету, сообщавшую об этом событии броским заголовком «Поучительная казнь»; я, Гуго, прочел это вот здесь, на углу, ожидая седьмой номер трамвая.

Когда я слышал голос Ферди по телефону, вчера или позавчера? «Ты ведь придешь в кафе «Цонз», как условлено?» Пауза. «Придешь или не придешь?» — «Приду».

Эндерс хотел втащить меня за рукав в трамвай, но я вырвался, дождался, когда трамвай скроется за углом, подбежал к остановке на противоположной стороне улицы, где до сих пор еще ходит шестнадцатый номер, проехал через тихие пригороды к Рейну, а потом снова прочь от Рейна и все дальше от города, пока трамвай не завернул наконец на круг к конечной остановке, петляя между гравийными карьерами и бараками. Лучше бы сейчас была зима, думал я, зима, холод, дождь и небо, покрытое тучами, но зимы не было, и все казалось мне невыносимым; плутая между огородами, я видел абрикосы и горох, помидоры и капусту; я слышал, как дребезжат пивные бутылки и звонит колокольчик мороженщика, который стоял на перекрестке и накладывал ванильное мороженое в ломкие вафли. Как они только могут, думал я, как они могут есть мороженое, пить пиво и мять в руках абрикосы в то время, как Ферди... Было около полудня, я скармливал свои бутерброды угрюмым курам,

которые чертили неясные геометрические фигуры на грязной земле во дворе у старьевщика; из окна раздался женский голос: «Ты читал про этого мальчика, которого...» — и мужской голос произнес в ответ: «Молчи же, черт поberi, знаю...» Я бросил бутерброды курам, побежал дальше и начал блуждать между железнодорожными насыпями и ямами с грунтовой водой, добрался опять до какой-то конечной остановки, проехал через незнакомые пригороды, вышел, вывернул наизнанку карманы брюк: на серую дорогу тоненькой струйкой посыпался черный порошок; я побежал дальше, снова замелькали железнодорожные насыпи, склады, фабрики, огороды, дома; в каком-то кино кассирша как раз подняла стекло в окошке: «Сеанс в три часа». Было ровно три. «Пятьдесят пфеннигов». Я был единственным зрителем; железная крыша кино плавилась от жары; любовь... кровь... обманутый любовник обнажил нож... Я заснул и проснулся лишь в тот момент, когда зрители с шумком устремились в зал на шестичасовой сеанс; шатаюсь, я вышел на улицу. Где я забыл свой школьный портфель? В кино? А может, у гравийного карьера, я долго сидел там, наблюдая за мокрыми грузовиками. Возможно также, портфель остался в том месте, где я бросал хлеб угрюмым курам. Когда я слышал голос Ферди по телефону, вчера или позавчера? «Ты ведь при-

дешь в кафе «Цонз», как условлено?» Пауза. «Придешь или не придешь?» — «Приду».

Свидание с обезглавленным. Глупость, которая уже сейчас казалась мне священной, потому что за нее пришлось платить дорогой ценой. Вчера перед кафе «Цонз» меня ожидал Неттлингер. Они привели меня на Вильгельмскуле, избили бичом из колючей проволоки, исполосовали мне всю спину; сквозь ржавые решетки на окнах я видел откос, где играл ребенком; мяч все время скатывался по склону, и я то и дело сползал вниз и подымал мяч, боязливо вглядываясь в ржавые решетки; у меня было такое чувство, будто там, за грязными стеклами, свершаются недобрые дела; Неттлингер живого места на мне не оставил.

В камере я попытался снять с себя рубаху, но рубаха и кожа были совершенно искромсаны, они превратились в сплошное месиво, и когда я тянул за воротник и за рукава рубахи, мне казалось, что я через голову сдираю с себя кожу.

Нелегко даются такие мгновения; усталый, стоял я у балюстрады старой таможи, ощущая не столько гордость за то, что отмечен врагами, сколько боль; голова моя опустилась на перила, губы коснулись ржавых железных прутьев; было приятно ощущать во рту горечь старого железа; до Тришлеров — всего лишь минута ходу, там я узнаю, ожидают ли они меня.

Я испугался: какой-то рабочий с котелком под мышкой шел вверх по улице, а потом скрылся в воротах лавки строительных материалов. Спускаясь по лестнице, я так крепко вцепился в перила, что к ладоням пристала ржавчина.

От веселого перестука клепальных молотков, который я слышал здесь семь лет назад, остался сейчас только слабый отголосок; всего лишь один молоток стучал на понтоне, где какой-то старик разбирал лодку; гайки, загремев, падали в коробку, доски ударялись о землю, и по стуку было ясно, что они совсем гнилые; старик выслушивал мотор так, как выслушивают сердце любимого существа; он низко нагибался, вытаскивая из лодки различные детали — болты, крышки, насадки; потом он поднял к свету цилиндр и, прежде чем бросить его в коробку с гайками, долго разглядывал и даже обнюхивал; за лодкой стоял старый ворот, на котором висел обрывок каната, гнилой, как истлевший чулок.

Воспоминания о людях и событиях были всегда связаны для меня с воспоминаниями о движениях, которые запечатлевались в моей памяти в виде геометрических фигур. Я помню, как перегнулся через балюстраду, как поднял и опустил голову, поднял и опустил, чтобы осмотреть улицу, — воспоминание обо всем этом вновь вызвало в моем сознании слова, краски, образы и ощущения. Я не вспомнил,

как выглядел Ферди, зато я вспомнил, как он зажигал спичку, как он слегка откидывал голову, говоря «да-да», «нет-нет», вспомнил складки на лбу Шреллы и как он пожимал плечами, походку отца, жесты матери, движение, каким бабушка убирала волосы со лба; старик, на которого я смотрел с откоса, в этот миг сбивал с большого винта кусочки прогнившего дерева; то был отец Тришлера — эти движения были свойственны только ему одному; когда-то я наблюдал за ним, видел, как он вскрывал ящики и снова забивал их гвоздями; в ящиках была контрабанда, которая тайно переправлялась через границу в темном чреве пароходов, — ром, изюм, сигареты и шоколад; там, в трактире для грузчиков, эта рука делала движения, присущие ей одной. Старик поднял глаза, подмигнул мне и сказал:

— Послушай, сынок, ведь эта дорога никуда не ведет.

— Она ведет к вашему дому, — ответил я.

— Мои гости приезжают ко мне по воде, даже полиция, да и мой сын тоже приезжает на лодке, правда, он приезжает редко, очень редко.

— Полиция уже там?

— Почему ты об этом спрашиваешь, сынок?

— Потому что меня ищут.

— Ты что-нибудь украл?

— Нет, — сказал я, — просто я отказался принимать *«причастие буйвола»*.

Корабли, думал я, корабли с темным чревом и капитаны, умеющие обманывать таможенников, я займу не много места, не больше, чем свернутый в трубку ковер; я хочу перебраться через границу, запрятанный в свернутый парус.

— Спускайся вниз, — сказал Тришлер, — наверху тебя могут увидеть с того берега.

Я повернулся и начал медленно скользить вниз к Тришлеру, цепляясь за траву.

— Ах, — сказал старик, — я знаю, кто ты, но запомнил твоё имя.

— Фемель, — сказал я.

— Ясно, тебя ищут, и сегодня утром даже объявили об этом по радио, я мог и сам догадаться, что речь идет о тебе, ведь они назвали твою приметку — красный шрам на переносице; ты ударился головой о железный борт лодки во время паводка, когда мы переплывали через реку и налетели на доски моста, — я тогда не сообразил, что течение такое сильное.

— Да, и мне не разрешили больше здесь бывать.

— Но ты еще бывал здесь.

— Недолго, до тех пор, пока не поссорился с Алоизом.

— Пойдем, только смотри нагнись, когда будем проходить под разводным мостом, иначе опять набьешь себе шишку и тебе больше не разрешат здесь бывать. Как тебе удалось удрать от них?

— Неттлингер пришел на рассвете ко мне в камеру и вывел меня через подземный ход, который тянется до самой железнодорожной насыпи на Вильгельмскуле. Неттлингер сказал: «Сматывайся, беги! Но в твоём распоряжении только один час, через час я должен сообщить о тебе полиции», — мне пришлось петлять по всему городу, чтобы добраться сюда.

— Так, так, — сказал старик, — значит, вам приспичило бросать бомбы! Приспичило устраивать заговоры и... Вчера я уже переправил одного парня через границу.

— Вчера? — спросил я. — Кого?

— Шреллу, — сказал он, — он здесь скрывался, и я заставил его уехать на «Анне Катарине».

— Алоиз когда-то хотел стать рулевым на «Анне Катарине».

— Он и стал рулевым на «Анне Катарине»... а теперь пошли.

Когда мы пробирались по берегу вдоль наклонной стенки набережной к дому Тришлера, я споткнулся и упал, встал и опять упал, и еще раз встал; от толчков моя рубашка то отрывалась от кожи, то снова прилипала к ней и опять отрывалась; я невольно бередил свои раны и чуть было не потерял сознание от боли; в этом состоянии краски, запахи и движения, навевные тысячей воспоминаний, смешивались воедино и наслаивались друг на друга, но

боль вытесняла эти пестрые письма, мелькавшие как в калейдоскопе.

Половодье, думал я, мне всегда хотелось броситься в разлившуюся реку и дать отнести себя к серому горизонту.

В забытии меня долго мучил вопрос, можно ли спрятать в котелок бич из колючей проволоки; воспоминания о движениях превращались в линии; линии, соединяясь между собой, складывались в геометрические фигуры — зеленые, черные, красные, они напоминали кардиограмму, изображающую биение человеческого сердца; взмах, которым Алоиз Тришлер вытаскивал свою удочку, когда мы ловили рыбу в Старой гавани, жест, которым он забрасывал в воду леску с наживкой, и жест, которым он указывал на быстрое течение, — все это было точной геометрической фигурой, нарисованной зеленым по серому; Неттлингер, поднимающий руку, чтобы бросить Шрелле мяч в лицо, дрожь его губ, подергивание его ноздрей превратились в серую фигуру, похожую на паутину; казалось, какие-то самопишущие аппараты, неизвестно откуда взявшиеся, запечатлели в моей памяти образы различных людей: лицо Эдит вечером после игры в лапту, когда я шел домой со Шреллой, и оно же за городом в Блессенфельдском парке — тогда я смотрел на него сверху вниз, мы лежали в траве, и лицо ее было мокрым от

теплого дождя, серебристые капли поблескивали на ее белокурых волосах и скатывались по бровям, лицо Эдит дышало, а вместе с ним подымалась и опускалась корона из серебристых капель. Эта корона в моих воспоминаниях походила на скелет диковинного морского животного, найденный на песке ржавого цвета, или на бесчисленные облачка одной и той же величины; я вспомнил линию ее губ, когда она говорила мне: «Они тебя убьют». То была Эдит.

В забытии меня мучил также потерянный школьный портфель, ведь я всегда был так аккуратен; то я выхватывал серо-зеленый том Овидия из клюва тощей курицы, то препирался с билетершей в кино из-за стихотворения Гёльдерлина, которое она вырвала из моей хрестоматии, так как оно ей очень понравилось: «И, сострадав, сердце Всевышнего твердым останется».

Ужин, принесенный госпожой Тришлер, — стакан молока, яйцо, хлеб и яблоко; госпожа Тришлер обмыла вином мою истерзанную спину; ее руки были проворны, словно руки молодой девушки; боль вспыхнула во мне с новой силой, когда она выжимала губку с вином и вино текло по моей иссеченной спине; а потом она принялась лить на нее масло.

— Откуда вы знаете, что так надо? — спросил я.

— Можешь прочесть в Библии, как это делают, — сказала она, — я уже обмывала раны твоему другу Шрелле! Алоиз послезавтра будет здесь, а в воскресенье он пойдет из Рурорта в Роттердам. Будь спокоен, — сказала она, — уж они все устроят; на реке люди знают друг друга, как будто век прожили на одной улице. Хочешь еще молока, дружок?

— Нет, спасибо.

— Не бойся, в понедельник или во вторник ты уже будешь в Роттердаме. Что такое, что с тобой?

Ничего, ничего. Меня все еще разыскивали по красному шраму на переносице. Отец, мать, Эдит: я не хотел ни определять степень моей нежности к ним, ни изливать свою тоску по этим людям в бесконечных жалобах; я смотрел на веселую реку с белыми праздничными пароходами и пестрыми вымпелами; веселыми казались даже грузовые суда — красные, зеленые, синие, — они сновали взад и вперед, груженные углем и дровами; на том берегу виднелась зеленая аллея и белоснежная терраса кафе «Бельвю», а за ними — башня Святого Северина и красная световая реклама на отеле «Принц Генрих». Оттуда было всего сто шагов до дома моих родителей; как раз сейчас они садились за ужин, за грандиозную трапезу; во главе стола, подобно патриарху, восседал мой отец; субботу у нас справляли с суббот-

ней торжественностью; и мать беспокоилась: не слишком ли остыло красное вино и достаточно ли охлаждено белое.

— Выпей еще молока, дружок.

— Спасибо, госпожа Тришлер, мне, право, не хочется.

Рассыльные на мотоциклах носились по городу от одного афишного столба к другому с плакатами, обрамленными красной каймой: «Смертный приговор гимназисту Роберту Фемелю...» Отец будет молиться за ужином: «...они били его ради нас», мать смиренно сложит руки на груди, прежде чем сказать: «Сколько зла в мире. Как мало чистых душ на свете», а башмаки Отто все еще будут выстукивать слово «брат», когда он пройдет по квартире, по каменным плиткам лестницы и по улице, удаляясь вниз к Модестским воротам.

Там, на реке, гудела «Стилте», пронзительные звуки сирены прорезали вечернее небо и, словно белые молнии, бороздили темную синеву. Я лежал на брезенте, будто умерший в открытом море, которого решили похоронить в морской пучине. Алоиз поднял края брезента, чтобы завернуть меня, и я ясно различил слова, вытканые белыми буквами на сером брезенте: «Морвин. Эймёйден». Госпожа Тришлер склонилась надо мной и, плача, поцеловала, а Алоиз медленно завернул меня

и бережно поднял на руки, точно я был дорогим его сердцу покойником.

— Сынок, — крикнул старик, — сынок, не забывай нас.

Подул вечерний ветер, «Стилте» еще раз загудела, дружески предостерегая; в загоне заблеяли овцы, мороженщик прокричал: «Мороженое! Мороженое!» — замолчал и, должно быть, стал накладывать ванильное мороженое в хрупкие вафли. Доска, по которой шел Алоиз, держа меня на руках, слегка пружинила, и чей-то голос тихо спросил: «Это он?» Алоиз так же тихо ответил: «Да, он» — и прошептал мне на прощанье: «Думай о том, что во вторник вечером ты уже будешь в роттердамской гавани». Чьи-то руки понесли меня вниз по лестнице: запахло машинным маслом, углем, а потом дровами; откуда-то издалека доносились гудки, «Стилте» начала сотрясаться, гул нарастал, и я почувствовал, что мы плывем вниз по Рейну, с каждой минутой удаляясь все дальше от Святого Северина.

Тень Святого Северина подползала все ближе, она уже заполнила левое окно бильярдной, а потом дошла и до правого; время, которое передвигалось вместе с солнцем, угрожающе приблизилось, переполняя башенные часы; вот-вот они изрыгнут из себя ужасные удары. А шары все катились — белые по зеленому полю, крас-

ные по зеленому, расчлняя годы, нагромождая друг на друга десятилетия и секунды; о секундах Фемель говорил своим бесстрастным голосом так, словно это были века; только бы мне не пришлось снова идти за коньяком, увидеть число на календаре и часы, встретиться с овечьей жрицей и с той, которой «не следовало родиться», только бы еще раз услышать слова Фемеля: «Паси агнцев Моих» — и узнать что-нибудь о женщине, лежавшей когда-то под летним дождем на траве; услышать о кораблях, встающих на якорь, и женах моряков, спускающихся по сходням, и о мяче, который забил Роберт, Роберт, никогда не принимавший «причастие буйвола», Роберт, продолжавший молча играть в бильярд, создавая своим кием разнообразные комбинации шаров на пространстве всего лишь в два квадратных метра.

— А ты, Гуго, — тихо спросил Фемель, — ты мне сегодня ничего не расскажешь?

— Не знаю, сколько это продолжалось на самом деле, но мне кажется — целую вечность; каждый раз после уроков они избивали меня; иногда я не решался выйти, пока не удостоверюсь, что все пошли обедать; женщина, которая убирала школу, находила меня в вестибюле и спрашивала: «Что ты так долго сидишь здесь, мальчик? Твоя мать уже, верно, ждет тебя не дождется».

Но я все еще боялся выйти и ждал, чтобы уборщица тоже ушла и заперла меня в школе. Это не всегда удавалось, чаще всего уборщица выгоняла меня перед тем, как запереть двери, зато как я радовался, если все сходило гладко и меня запирали; в партах и помойных ведрах, которые уборщица оставляла в вестибюле для мусорщика, я находил достаточно еды — бутерброды, яблоки, остатки пирога. Я был в школе один, и в полной безопасности. Согнувшись, я заползал в раздевалку для учителей, позади входа в подвал, потому что боялся, как бы мои мучители не заглянули в окно и не обнаружили меня; но прошло много времени, прежде чем они дознались, что я прячусь в школе. Нередко я просиживал там часами, до самого вечера, а потом открывал окно и вылезал на улицу. Часто я подолгу смотрел на пустынный школьный двор — может ли быть что-нибудь более пустынное, чем школьный двор под вечер? Все шло прекрасно до той поры, пока они не узнали, что я отсиживаюсь в запертой школе. Я прятался в раздевалке для учителей или где-нибудь под подоконником и ждал, когда во мне проснется то, о чем я знал только понаслышке, — ненависть. Я был бы рад ненавидеть своих врагов, но не мог, господин доктор. Я не испытывал ничего, кроме страха. Бывали дни, когда я высиживал в школе только до трех или до четы-

рех, думая, что они уже ушли и мне удастся быстро промчаться по улице мимо конюшен Майда, обежать церковный двор и запереться дома. Но они сменяли друг друга, они ходили есть по очереди, ибо отказаться от еды было выше их сил; и когда они подбегали ко мне, я уже издали чуял, чем их сегодня кормили: картофелем с подливкой, жарким или капустой со шпигом; они били меня, и я думал, ради чего умер Христос, какая мне польза от его смерти, какая польза от того, что они каждое утро читают молитву, каждое воскресенье причащаются и вешают большие распятия в кухне над столом, за которым едят картофель с подливкой, жаркое или капусту со шпигом? Никакой! К чему все это, если они каждый день подстерегают меня и бьют? Вот уже пятьсот или шестьсот лет — недаром они кичатся древностью своей религии, — вот уже тысячу лет они хоронят предков на христианском кладбище, уже тысячу лет они молятся и едят под распятием свой картофель с подливкой и шпиг с капустой. Зачем? Знаете, что они кричали, избивая меня? «Агнец божий». Такое мне дали прозвище.

Красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому; новые геометрические фигуры возникали, подобно письмам, а потом быстро и бесследно исчезали, то была музыка

без мелодии, живопись без образов; четырехугольники, прямоугольники, ромбы — все это многократно повторялось; звонкие шары катились между черными бортами.

— А потом я попытался сделать иначе: я запирал дома дверь, придвигал к ней мебель, собирал все что мог — ящики, всякую рухлядь, матрацы — и нагромождал одно на другое; но в школе подняли тревогу и известили полицию, чтобы она явилась забрать прогульщика; полицейские оцепили дом и начали кричать: «Выходи, бездельник!» Но я не выходил, тогда они выломали дверь, отодвинули мебель, поймали меня и отвели в школу, где меня продолжали избивать, продолжали сталкивать в сточные канавы, продолжали ругать, называя «агнцем божьим»; хотя Бог сказал: «Паси овец Моих», но никто не пас Его овец, если людей вообще можно считать овцами божьими. Все бесполезно, господин доктор, напрасно дует ветер, напрасно идет снег, напрасно цветут деревья и опадают листья — они едят картофель с подливкой или шпиг с капустой.

Случалось, что моя мать была дома, пьяная и грязная, от нее пахло смертью и тленом, и она кричала: «Зачемзачемзачем?» Эти слова она произносила чаще, чем произносят «Господи помилуй!» в заупокойных молитвах. Она часами кричала «зачемзачемзачем», доводя

меня до исступления, и я убежал — мокрый агнец божий, я бегал голодный под дождем, глина прилипла к моим ботинкам и к телу, глина облепляла меня с ног до головы, но я предпочитал лежать под дождем, в борозде на свекловичном поле, нежели слышать это страшное «зачем»; потом кто-нибудь находил меня и рано или поздно приводил домой и в школу, приводил в эту дыру по имени Денклинген, и они опять били меня, называя «агнцем божьим», а моя мать все повторяла свою бесконечную и ужасную жалобу «зачем»; я снова убежал, и они снова приводили меня. В конце концов меня все же отправили в приют. Там меня никто не знал — ни дети, ни взрослые, но не прошло и двух дней, как меня прозвали «агнцем божьим», и мне опять стало страшно, хотя там никто не дрался; меня только высмеивали из-за того, что я не знал многих слов — не знал, что такое «завтрак», я знал лишь слово «есть»; я ел, когда была еда, когда я мог раздобыть себе что-нибудь поесть, но, увидев на доске объявление: «Завтрак — 30 г масла, 200 г хлеба, 50 г повидла, кофе с молоком», я спросил кого-то из ребят: «Что такое завтрак?» Дети окружили меня, а потом подошли взрослые; все смеялись и говорили: «Завтрак? Неужели ты не знаешь, что такое завтрак, неужели ты никогда не завтракал?» — «Нет», — ответил я. «А Библия, — напомнил один из взрослых, —

разве ты не встречал в Библии слова «завтрак»? Но тут другой взрослый спросил первого: «А вы уверены, что в Библии встречается слово „завтрак“?» — «Нет, — сказал тот, — но где-нибудь, в какой-нибудь книге или же дома он должен был хотя бы раз встретить это слово, ведь парню уже скоро тринадцать, такие, как он, хуже дикарей, на этом примере видно, до какой степени беден язык народа». Я не знал также, что недавно была война; тогда они спросили меня, неужели я никогда не ходил на кладбище, где на могильных плитах написано: «Пал...» Я ответил, что ходил на кладбище; тогда они спросили, как же я понимаю слово «пал», и я сказал им, что, по моему мнению, покойники, похороненные под этими плитами, упали мертвыми. Тогда все опять начали смеяться еще громче, чем во время разговора о завтраке; в приюте нам преподавали историю с самых древних времен, но вскоре мне исполнилось четырнадцать лет, господин доктор, и в приют приехал директор отеля; всех четырнадцатилетних мальчиков построили в коридоре перед кабинетом заведующего, а потом появились заведующий и директор отеля. Они обошли строй, глядя нам в глаза, и сказали оба в один голос: «Мы ищем мальчиков, которые могли бы обслуживать публику», но выбрали они одного меня. Мне пришлось сразу же уложить вещи в картонную коробку и отправиться

с директором сюда; в машине он сказал мне: «Надо надеяться, ты никогда не узнаешь, что твоему лицу цены нет, ты самый настоящий агнец божий», — и я почувствовал страх, господин доктор; я все еще боюсь и все еще жду, что меня начнут бить.

— Разве тебя бьют?

— Нет, никогда, но мне хотелось бы знать, что такое война, ведь мне пришлось уйти из школы до того, как учитель это объяснил. Вы знаете, что такое война?

— Да.

— Вы в ней участвовали?

— Да.

— Что вы делали?

— Я был подрывником, Гуго. Это тебе что-нибудь говорит?

— Да, я видел взрывы в каменоломнях за Денклингеном.

— То же самое делал и я, Гуго, только взрывал не скалы, а дома и церкви. Этого я еще никогда никому не рассказывал, кроме моей жены, но она уже давно умерла, и теперь этого не знает никто, только ты; даже мои родители и мои дети не знают; ты слышал, что я архитектор и, собственно говоря, должен был бы строить дома. Но я их никогда не строил, я их только взрывал; то же было и с церквами: мальчиком я без конца рисовал их на гладкой чертежной бумаге, я мечтал строить церкви,

но я никогда их не строил. В армии начальство узнало из моих документов, что я писал дипломную работу об одной проблеме статики. Статика, Гуго, — это учение о равновесии сил, учение о натяжениях и сдвигах несущих поверхностей, без статики нельзя построить даже негритянскую хижину; а противоположностью статики является динамика. Это слово звучит почти так же, как динамит, который используется при взрывах; и впрямь динамика связана с динамитом. Всю войну я имел дело с динамитом. Я знал, что такое статика, Гуго, я проглотил массу книг по этому вопросу. Но чтобы взорвать что-нибудь, надо знать только одно: куда заложить заряд и какова должна быть его сила. Это я знал, дружок. Вот так и вышло, что я взрывал мосты и жилые кварталы, церкви и железнодорожные виадуки, виллы и уличные перекрестки; за это я получал ордена и меня повышали в чинах: от лейтенанта я дослужился до обер-лейтенанта, от обер-лейтенанта — до капитана; мне давали отпуска вне очереди и награды, и все потому, что я знал, как надо взрывать, а в конце войны я служил под началом генерала, который признавал только «сектор обстрела». Знаешь, что такое «сектор обстрела»? Нет?

Фемель взял кий наперевес, словно винтовку, и прицелился в башню Святого Северина.

— Вот видишь, — сказал он, — если бы я захотел стрелять в мост, который находится позади Святого Северина, то церковь лежала бы в моем «секторе обстрела», таким образом, ее следовало бы взорвать как можно скорее, сейчас же, без промедления, а то я не мог бы стрелять в мост; уверяю тебя, Гуго, я бы взорвал Святого Северина, хотя знал, что мой генерал сумасшедший, хотя знал, что «сектор обстрела» в данном случае сущая чепуха, ведь если стрелять сверху, понимаешь, что тебе не нужно никакого «сектора обстрела», и в конце концов даже до самых тупоумных генералов должно дойти, что за последние полвека изобрели самолеты. Но мой генерал был сумасшедший, он вызубрил на всю жизнь свои лекции о «секторе обстрела», вот я и обеспечивал ему этот сектор; у меня в части собрались хорошие ребята — физики, архитекторы, и мы взрывали все, что попадалось на нашем пути, под конец мы взорвали одно величественное сооружение, нечто грандиозное, целый комплекс гигантских, построенных на века зданий — собор, конюшни, монашеские кельи, административные постройки, усадьбу — целое аббатство, Гуго; оно находилось как раз между двумя армиями — немецкой и американской, и я обеспечил немецкой армии «сектор обстрела», который ей был совершенно ни к чему; стены падали к моим ногам, на скотных дворах реве-

ла скотина, монахи проклинали нас, но ничто не могло меня остановить, я взорвал все аббатство Святого Антония в Киссатале, взорвал за три дня до окончания войны. При этом я был корректен, дружок, неизменно корректен — такой же, каким ты привык меня видеть.

Только теперь Фемель опустил кий и перестал целиться в изображаемую мишень, он снова положил его на согнутый палец, потом толкнул бильярдный шар; белый шар, петляя, покатился по зеленому полю от одного черного борта к другому.

Колокола на Святом Северине изрыгнули время. Кто знает, когда в действительности прозвучали эти одиннадцать ударов?

— Взгляни-ка, дружок, почему за дверью такой шум?

Фемель еще раз толкнул красный шар по зеленому полю, подождал, пока шары остановятся, и отложил кий.

— Господин директор просит вас принять господина доктора Неттлингера.

— Ты бы принял человека по фамилии Неттлингер?

— Нет.

— Тогда покажи мне, как отсюда выбраться, минуя эту дверь.

— Вы можете пройти через ресторан, господин доктор, и выйти на Модестгассе.

— До свидания, Гуго, до завтра.

— До свидания, господин доктор.

В ресторане начался танец кельнеров, танец боев; они накрывали столы к обеду — толкали сервировочные столики по определенным маршрутам, раскладывали серебро, меняли вазы с цветами, вместо высоких вазочек с белыми гвоздиками ставили круглые вазочки со скромными фиалками; убирали со столов стаканчики с джемом и расставляли рюмки для вина: широкие — для красного, узкие — для белого; только на один стол, где сидела овечья жрица, они поставили молоко; в хрустальном графине оно казалось серым.

Фемель легкими шагами прошел между столиками, отодвинул лиловую портьеру, спустился по ступенькам вниз и сразу очутился на улице, как раз напротив башни Святого Северина.

4

Присутствие Леоноры успокаивало старого Фемеля; она осторожно ходила взад и вперед по его мастерской, открывала шкафы, выдвигала ящики, развязывала пачки бумаг, разворачивала свернутые в трубку чертежи; только изредка она подходила к окну, чтобы потревожить Фемеля; это случалось, когда на документе не было даты или на чертеже соответ-

ствующей надписи. Фемель любил порядок, но не умел его поддерживать. Леонора — вот кто наведет у него порядок; на просторном полу мастерской она раскладывала документы, чертежи, письма и расчеты по годам — пятьдесят лет прошло, а пол все еще дрожал от стука типографских машин; тысяча девятьсот седьмой год, восьмой, девятый, десятый; по мере того как век взрослел, пачки становились все толще, пачка за тысяча девятьсот девятый год была больше, чем за тысяча девятьсот восьмой, а пачка за тысяча девятьсот десятый больше, чем за девятьсот девятый; Леонора сумеет составить диаграмму его деятельности, она такая дотошная, ее здорово вымуштровали.

— Да, — сказал он, — не стесняйтесь, можете спрашивать меня сколько угодно, голу-бушка. Это? Это больница в Вайденхаммере, я построил ее в тысяча девятьсот двадцать четвертом году, в сентябре ее открыли.

И Леонора вывела своим аккуратным почерком на полях чертежа: «1924 — IX».

Пачки военных лет, от тысяча девятьсот четырнадцатого до тысяча девятьсот восемнадцатого, были совсем тонкие, в них лежало по три-четыре чертежа, не больше; загородная вилла для генерала, охотничий домик для обер-бургомистра, часовня Святого Себастиана для стрелкового ферейна. Эти заказы он брал ради того, чтобы получить отпуск, за

них платили драгоценными отпускными днями; чтобы повидаться с детьми, он бесплатно строил генералам дворцы.

— Нет, Леонора, это было в тысяча девятьсот тридцать пятом. Францисканский монастырь. Современная архитектура? Конечно, современные здания я тоже строил.

Большое окно в его мастерской всегда напоминало ему экран волшебного фонаря; цвет неба все время менялся, деревья во дворах становились то серыми, то черными, то опять зелеными, цветы в садиках на крышах цвели и отцветали. Дети, игравшие на свинцовых крышах, подрастали и сами становились родителями, а их родители превращались в бабушек и дедушек, и вот уже другие дети играли на свинцовых крышах; только очертания крыш не менялись, не менялся мост, не менялись горы, которые в ясные дни вырисовывались на горизонте; но потом Вторая мировая война изменила силуэт города, появились зияющие бреши, бреши, через которые проглядывал Рейн, отливающий в солнечные дни серебром, а в пасмурные дни чем-то серым, проглядывал разводной мост в Старой гавани, но теперь бреши уже давным-давно заполнили, на крыше дома Кильбов его внучка ходит взад и вперед с учебником в руках, точь-в-точь как пятьдесят лет назад ходила его жена. Или, быть может, это и впрямь его

жена, Иоганна, читает там в солнечные дни «Коварство и любовь»?

Зазвонил телефон; как приятно, что Леонора взяла трубку, что ее голос ответил на телефонный вызов.

— Кафе «Кронер»? Я спрошу у господина тайного советника.

— Сколько человек ожидается к ужину? В мой день рождения? Их можно пересчитать по пальцам одной руки. Двое внуков, сын, я и вы, Леонора, вы ведь не откажете мне?

Значит, всего пятеро. Их и в самом деле можно пересчитать по пальцам одной руки.

— Нет, шампанского не надо. Все, как мы договорились. Спасибо, Леонора.

Наверное, она считает меня сумасшедшим, но если я сумасшедший, значит, был им всегда; я все предвидел заранее, знал, чего хочу, и знал, что достигну этого; только одного я никогда не знал, не знаю и по сию пору: для чего я все это делал? Ради денег, ради славы, или только потому, что это меня забавляло? К чему я стремился в то утро, в пятницу, шестого сентября тысяча девятьсот седьмого года, пятьдесят один год назад, когда вышел из здания вокзала? Я продумал тогда заранее каждое движение, составил точный распорядок дня с того момента, как вступлю в город; я сочинил целое либретто, в котором должен был выступать в качестве танцора-солиста и

балетмейстера одновременно; статисты и декорации были предоставлены мне совершенно безвозмездно.

Всего десять минут оставалось до того мгновения, как я сделаю свое первое па; мне надо бы перейти вокзальную площадь, миновать отель «Принц Генрих», пересечь Модестгассе и войти в кафе «Кронер». Я приехал в город как раз в тот день, когда мне минуло двадцать девять лет. Было сентябрьское утро. Извозчичьи клячи охраняли своих задремавших возниц, мальчики в лиловых ливреях отеля «Принц Генрих» тащили на вокзал чемоданы, поспешая за своими клиентами; над подъездами банков поднимались солидные железные ставни и с торжественным грохотом исчезали из виду; голуби, продавцы газет, уланы; эскадрон улан прогарцевал мимо отеля «Принц Генрих», ротмистр махнул рукой какой-то даме, стоявшей на балконе в палевой шляпке с вуалью, дама в ответ послала ему воздушный поцелуй; копыта цокали по булыжной мостовой, вымпелы развевались на утреннем ветру, из открытых дверей Святого Северина доносились звуки органа.

Я был взволнован; из кармана пиджака я вынул план города, развернул его и начал разглядывать красный полукруг, которым обвел вокзал, — пять черных крестиков обозначали главный собор и четыре ближайшие

к нему церкви, я поднял глаза и разглядел в утренней дымке четыре церковных шпиля, пятый — Святого Северина — не надо было искать, он возвышался прямо передо мной, от его гигантской тени меня пробирала дрожь; я снова углубился в свой план; все было правильно: желтый крестик обозначал дом, где я снял себе на полгода квартиру и мастерскую, заплатив за них вперед, — Модестгассе, 7, между Святым Северином и Модестскими воротами, мой дом был, видимо, справа, там, где через улицу как раз в эту минуту переходили несколько священников. Радиус полукруга, очерченного мною вокруг вокзала, был равен одному километру, в пределах этой красной черты жила девушка, на которой я женюсь; я еще не был знаком с ней, не знал, как ее зовут, знал только, что она будет принадлежать к одной из тех патрицианских семей, о которых мне рассказывал отец; он служил здесь три года в уланах и унес с собой ненависть к лошадям и офицерам; я уважал это чувство, но не разделял его; я был рад, что отцу не пришлось увидеть меня офицером — лейтенантом запаса инженерных войск; я рассмеялся, я часто смеялся в то утро, пятьдесят один год назад; я знал, что возьму жену из знатной семьи, ее фамилия будет Бродем или Кузениус, Кильб или Ферве, ей должно быть лет девятнадцать, и сейчас, именно в данную

минуту, эта девушка, вернувшись с утренней мессы, прячет свой молитвенник в гардероб; отец еще успеет поцеловать ее в лоб, прежде чем раскаты его баса раздадутся в вестибюле, постепенно удаляясь по направлению к конторе; на завтрак девушка съест кусочек хлеба с медом и выпьет чашку кофе: «Нет, нет, мама, яйцо я не буду», потом она прочтет матери вслух расписание балов. Разрешат ли ей пойти на университетский бал? Разрешат.

Я познакомлюсь с девушкой, на которой женюсь, самое позднее на университетском балу шестого января. На этом балу я буду танцевать с ней; я всегда буду с ней хорошо обращаться, буду любить ее, и она родит мне детей — пятерых, шестерых, семерых; они вырастут и подарят мне внуков — пятью семь, шестью семь, семью семь; прислушиваясь к удаляющемуся цоканью копыт, я уже видел себя окруженным толпой внуков, видел себя восьмидесятилетним патриархом, восседающим во главе рода, который я собирался основать; я видел дни рождения, похороны, серебряные свадьбы и просто свадьбы, видел крестины, видел, как в мои старческие руки кладут младенцев-правнуков; я буду их любить так же, как своих молодых красивых невесток; невесток я буду приглашать позавтракать со мной, буду дарить им цветы и конфеты, одеколон и картины; и все это я знал заранее,

выйдя в тот день из здания вокзала, готовый сделать свое первое па.

Я глядел вслед носильщику, который вез на тележке в дом номер семь по Модестгассе мой багаж: чемодан с бельем и чертежами и маленький кожаный саквояж, где лежали бумаги, документы и деньги — четыреста золотых, все мои сбережения за двенадцать лет работы в строительных конторах провинциальных подрядчиков и в мастерских посредственных архитекторов, когда я чертил, рассчитывал и строил рабочие поселки, промышленные здания, церкви, школы, дома для различных союзов, корпя над сметами, с трудом продираясь через канцелярские обороты договорных пунктов: «...с тем чтобы деревянная панель в ризнице была сделана из орехового дерева наивысшего качества, без сучков, а для обивки были использованы ткани лучших сортов».

Помню, я смеялся, выходя из вокзала, хотя до сих пор не знаю, над чем и почему; одно мне ясно: мой смех был вызван отнюдь не весельем и радостью — в нем слышались и насмешка, и издевка, и, быть может, даже злость; я так и не узнал никогда, сколько приходилось на долю каждого из этих чувств; мне вспоминались жесткие скамейки на вечерних курсах по усовершенствованию, где я учился составлять сметы, изучал математику и чер-

чение; я осваивал свою профессию и в то же время упражнялся в танцах и плавании; вспоминалось, как я служил лейтенантом в восьмом саперном батальоне в Кобленце, как сидел в летние вечера на Дойчес-Экк, глядя на воды Рейна и Мозеля, которые казались мне одинаково серыми; в памяти моей всплывали двадцать три меблированные комнаты, которые мне пришлось сменить, и хозяйские дочери, соблазненные мною и соблазнившие меня, вспоминалось, как я крался босиком по затхлым коридорам, чтобы вкусить женских ласк, вплоть до самой последней, хотя каждый раз оказывалось, что это фальшивая монета; вспоминался запах лаванды и волосы, распущенные по плечам, и ужасные гостиные, где в зеленоватых стеклянных вазах увядали фрукты, которые не разрешалось есть, вспоминались жесткие слова, такие, как «подлец», «честь», «невинность»; в гостиных уже не пахло лавандой, и я, содрогаясь, читал свое будущее не на лице обесчещенной, а на лице ее матери, где было написано все, что мне уготовано. Я не был подлецом и не обещал жениться ни на одной из девушек, я не хотел провести всю свою жизнь в гостиных, где фрукты увядали в зеленоватых стеклянных вазах, потому что их не полагается есть.

Но и после возвращения с вечерних курсов, с половины десятого до двенадцати ча-

сов ночи, я все еще делал расчеты, чертил и рисовал, рисовал ангелов и деревья, облака, церкви и часовни — в готическом стиле и в романском, в стиле барокко, рококо и бидермайер и, конечно, в стиле модерн; я рисовал женщин с длинными волосами, их одухотворенные лица парили над входными дверями, а длинные волосы, подобно занавесу, обрамляли парадные справа и слева; четко нарисованный пробор женщин приходился как раз на середину двери; в тревожные вечерние часы хозяйские дочери, объятые томлением, приносили мне жидкий чай или жидкий лимонад и вызывали меня на ласки, которые казались им смелыми. Я все рисовал и рисовал, главным образом детали, ведь я знал, что они — кто бы ни были эти «они» — больше всего падки на украшения. Я рисовал дверные ручки, фасонные решетки, агнцев божьих, пеликанов, якоря и кресты, вокруг которых обвивались змеи с острым жалом, головками кверху или головками книзу.

У меня в памяти остался также трюк, которым очень часто пользовался мой последний шеф, Домгреве: в решающий момент он, чтобы расположить к себе сердца верующих, как бы невзначай ронял четки; это случалось в деревнях, когда набожные крестьяне с гордостью показывали ему участок, отведенный под новую церковь, или когда члены совета цер-

ковной общины в задних комнатах провинциальных пивнушек с простодушной застенчивостью выражали желание построить новый храм божий, — тогда Домгреве вытаскивал из кармана вместе с часами, или ножом для сигар, или мелочью четки, с которыми он будто бы не расставался, ронял их, а потом с деланным смущением поднимал; смешная уловка Домгреве никогда не казалась мне смешной.

— Нет, Леонора, буква «А» на папках, на чертежах и сметах означает не «акты», а имя «Антоний», аббатство Святого Антония.

Тихо шагая по комнате, Леонора приводила все в порядок своими изящными руками; порядок старый Фемель всегда любил, но никогда не умел соблюдать. Для этого у него было слишком много всего: слишком много заказов, слишком много денег.

Если я сумасшедший, то был сумасшедшим уже тогда, когда, стоя на вокзальной площади, удостоверился, есть ли у меня в кармане пиджака мелочь, захватил ли я маленький блокнот для набросков и зеленый ящичек с карандашами, когда проверил, хорошо ли завязан мой атласный галстук, а потом провел рукой по полям моей черной артистической шляпы и отряхнул полы пиджака, единственного моего хорошего пиджака, который я унаследовал

от дяди Марсея, молодого учителя, умершего от чахотки; плита на его могиле в Мезе уже поросла мхом, в Мезе, где двадцатилетний учитель размахивал когда-то дирижерской палочкой на хорах перед органом или, взобравшись на учительскую кафедру, вбивал в голову деревенским ребятишкам тройное правило, а в сумерках, гуляя вдоль болота, грезил о девичьих губах, о хлебе, о вине и о славе, которую должны были принести ему, в случае удачи, его стихи; вот какие сны снились ему на заболоченных тропках два года подряд, пока кровохарканье не оборвало жизнь учителя и не унесло его к темному берегу; после него осталась тетрадка стихов в четвертушку листа, черный костюм, перешедший по наследству ко мне, его крестнику, две золотые монеты и кровавое пятно на зеленоватом занавесе в классе, пятно, которое жена его преемника никак не могла вывести: детские голоса пропели на могиле горемыки учителя «Куда улетела ласточка?».

Я еще раз оглянулся на здание вокзала, еще раз прочел плакат, висевший у выхода на перрон и обращенный к прибывающим в город призывникам: «Всем военнообязанным рекомендую нижнее белье, которое я изготавливаю уже много лет, — нижнее белье по системе профессора Густава Егера, трикотаж, запатентованный во всех цивилизованных странах

мира, белье «Реформ», по системе доктора Ламана!» Настало время сделать первое па.

Я перешел трамвайную линию, миновал отель «Принц Генрих», свернул на Модестгассе и, поколебавшись секунду, остановился перед кафе «Кронер»; в стеклянных дверях, затянутых изнутри зеленым шелком, я увидел свое отражение — я был хрупкий, можно сказать, маленький, и походил не то на молодого раввина, не то на художника; волосы у меня были черные, и весь я был в черном; нечто неуловимое в моей внешности обличало во мне провинциала; я еще раз рассмеялся и открыл дверь; кельнеры ставили на столики вазы с белыми гвоздиками и перекладывали с места на место меню, переплетенные в зеленую кожу; кельнеры были в зеленых фартуках и черных жилетах, в белых рубашках с белыми галстуками; две молоденькие девушки — румяная блондинка и бледная брюнетка — возводили на прилавке целые кондитерские сооружения, выкладывали штабелями бисквиты, обновляли вензеля из крема, начищали до блеска серебряные лопаточки для тортов. В кафе еще не было ни одного посетителя; повсюду царил безукоризненная чистота, как в больнице перед обходом главного врача, и кельнеры исполняли свой балетный номер, пока я проходил мимо них легким танцующим шагом, — ведь я был солист; статисты и кулисы находились в полном моем распоряжении;

статисты были хорошо выдрессированы, все шло отлично, я восхищался тем, как эти три кельнера двигались от столика к столику и точно рассчитанными движениями ставили то солонку, то вазу с цветами, то слегка подвигали меню, — очевидно, оно должно было лежать под определенным углом к солонке, — то ставили пепельницы из белоснежного фарфора с золотым ободком. Как хорошо! Все мне нравилось, приятно поражало меня. Вот это город так город, таких кафе я не видел в глухом захолустье, где мне приходилось жить до сих пор.

Я прошел в левый угол зала, бросил шляпу на стул, положил рядом с ней блокнот и ящичек с карандашами и сел; кельнеры возвращались из кухни, бесшумно толкая впереди себя сервировочные столики, — они расставляли судки с приправами, развешивали газеты, укрепленные на палках. Я открыл свой блокнот и прочел — в который раз! — вырезку из газеты, приклеенную к внутренней стороне обложки: «Открытый конкурс на постройку бенедиктинского аббатства в долине реки Кисса между селениями Штелингерс-Гротте и Гёрлингерс-Штуль, приблизительно в двух километрах от деревни Кисслинген; каждый архитектор, верящий в свои силы, может участвовать в конкурсе. Документация выдается в нотариальной конторе доктора Кильба — Модестгассе, 8, за плату в размере 50 (пятьдесят) марок. Послед-

ний срок подачи проектов — понедельник 30 сентября 1907 года, 12 часов дня».

Целыми днями я лазил между кучами цемента и штабелями новеньких кирпичей, определяя, хорошо ли они обожжены, и осматривал целые горы ломаного базальта, так как собирался использовать базальт для облицовки дверных и оконных проемов; обшлага моих брюк были забрызганы грязью, жилет измазан известью; в конторе то и дело раздавался крик: неужели до сих пор не прибыли камни для мозаичного изображения «агнца божьего» над главным порталом? На строительной площадке возникали бесконечные перепалки; ассигнования то приостанавливали, то снова разрешали; каждый четверг перед моей конторой выстраивалась целая очередь десятников — в пятницу им надо было выдавать рабочим заработную плату; а вечером, совершенно измотанный, я садился на станции Кисслинген в чересчур натопленный вагон пассажирского поезда, опускался на мягкий диванчик в купе второго класса, и в темноте меня везли через нищие деревеньки, затерявшиеся среди свекловичных полей; кондуктор заспанным голосом выкрикивал названия станций: Денклинген, Додринген, Кольбинген, Шаклинген; на товарных платформах высились горы свеклы, приготовленной для погрузки, в темноте они казались серыми и походили на горы черепов, а

поезд шел все дальше через свекловичные поля, неизменно через свекловичные поля; выйдя из вокзала, я валился в первую попавшуюся извозчичью пролетку, а дома падал в объятия жены; жена целовала меня, с нежностью гладила мои усталые глаза, с гордостью проводила рукой по следам известки на рукавах моего пиджака; после кофе, положив голову к ней на колени, я закурил сигару, о которой так мечтал, сигару за шестьдесят пфеннигов, и рассказывал жене о каменщиках, проклинаящих все на свете; этих ребят надо знать — они не злые, пожалуй, только немного грубоватые и немного слишком красные, но я умел с ними ладить; время от времени им надо было поставить ящик пива и отпустить несколько шуток на нижненемецком диалекте, не следовало только брюзжать, иначе они вывернут тебе под ноги полное корыто известкового раствора (так они сделали, когда на стройку приехал уполномоченный архиепископа по делам строительства) или же сбросят балку с лесов (так они сделали, когда к нам явился правительственный инспектор, — гигантская балка рухнула к самым его ногам).

— Разумеется, моя дорогая, я знаю, что я от них завишу, а не они от меня, ведь сейчас так много строят, строят повсюду. И конечно, они красные, почему бы им не быть красными? Но самое главное, они хорошие каменщики и помогают мне выдержать сроки; стоит мне подмигнуть

им, когда я взбираюсь на леса с какой-нибудь очередной комиссией, и они готовы на все.

— Доброе утро, сударь. Вам завтрак?

— Да, пожалуйста, — сказал я и покачал головой, когда кельнер предложил мне меню; я поднял карандаш и, скандируя, перечислил по пунктам свой завтрак с таким видом, будто ни разу в жизни иначе не завтракал: небольшой кофейник на три чашки кофе, потом, пожалуйста, поджаренный хлеб — два ломтика черного хлеба, масло, апельсиновый джем, яйцо всмятку и сыр с красным перцем.

— Сыр с красным перцем?

— Да, плавленый сыр, приправленный перцем.

— Слушаюсь.

Кельнер беззвучно заскользил по зеленому ковру, зеленый призрак пробирался мимо столиков, покрытых зелеными скатертями, к окошку кухни, и тут прозвучала первая из задуманных мною реплик; статисты были хорошо вымуштрованы, а я оказался хорошим режиссером.

— Сыр с перцем? — переспросил в окошке повар.

— Да, — сказал кельнер, — плавленый сыр, приправленный красным перцем.

— Спроси гостя, сколько он хочет перца и сыра?

Я начал набрасывать фасад вокзала; кельнер возвратился в тот момент, когда я уверенными штрихами рисовал оконные наличники на безгрешно чистой бумаге; он остановился передо мной в ожидании; я поднял голову, удивленно воззрился на него и отложил карандаш.

— Позвольте спросить, сударь, сколько вы желали бы перца и на какое количество сыра?

— Сорок пять граммов сыра и с наперсток перца; всю массу хорошенько вымесить, а теперь послушайте, уважаемый, я буду завтракать здесь завтра и послезавтра, через три дня и через три недели, через три месяца и через три года. Понятно? И всегда в одно и то же время, около девяти.

— Слушаюсь.

Так я себе все представлял, и именно так оно и вышло. Позднее меня часто пугала точность, с какой исполнялись мои планы, непредвиденного почему-то никогда не случилось; через два дня все уже называли меня «господином, который заказывает сыр с перцем», через неделю — «молодой художник, который всегда заказывает около девяти», а через три недели — «господин Фемель, молодой архитектор, выполняющий крупный заказ».

— Да-да, детка, все это относится к аббатству Святого Антония; работы тянулись много лет, Леонора, десятилетия, вплоть до нынеш-

него дня: то требовался ремонт, то аббатство расширялось, а через сорок пять лет его восстанавливали по старым чертежам; один Святой Антоний займет у вас целую полку. Да, вы правы, вентилятор бы здесь не помешал. Сегодня жарко. Нет, спасибо, я не хочу есть.

В окне, как на экране, виделось голубое небо шестого сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, линия крыш снова была непрерывной, без зияющих брешей; на пестрых скатертях в садиках на крышах стояли чайники. Женщины загорали на солнце, растянувшись в шезлонгах; вокзал бурлил, в город возвращались отпускники. Может, именно поэтому старый Фемель так нетерпеливо ждал свою внучку Рут. Уж не уехала ли она за город, оставив на время «Коварство и любовь»? Он несколько раз осторожно отер лоб носовым платком, всю жизнь он был нечувствителен к жаре и холоду; в правом углу окна Гогенцоллерны все еще скакали на бронзовых конях, обратясь лицом к западу; они ничуть не изменились за сорок восемь лет, не изменился и его, Фемеля, верховный главнокомандующий; все роковое тщеславие этого монарха обнаруживалось в посадке головы. Улыбаясь, рисовал я тогда за столиком в кафе «Кронер» постамент, на котором еще не было изваяния; тем временем кельнер принес мне

сыр с перцем. Я был всегда так уверен в своем будущем, что настоящее казалось мне законченным прошлым; был ли это мой первый, самый первый завтрак в кафе «Кронер» или же трехтысячный? Каждый день я приходил в кафе «Кронер» ровно в девять часов, только высшая сила могла мне помешать; я перестал приходить, когда верховный главнокомандующий, этот дурень, который все еще скачет на бронзовом коне, держа путь на запад, призвал меня под свои знамена. Сыр с перцем? Ел ли я тогда эту странную красновато-белую размазную в первый раз? Она, кстати, была не такая уж невкусная. Я придумал это блюдо час назад в курьерском поезде, который на всех парах мчался к городу с севера; я хотел придать своему неизменному меню необходимую индивидуальную черточку. Ел ли я все это впервые или уже в тридцатый раз намазывал красноватую кашу на черный хлеб, в то время как кельнер убирал рюмку для яйца и отодвигал в сторону джем?

Осторожно! Я вынул из кармана пиджака единственно надежный инструмент для корректировки таких вот мимолетных, но точных видений — карманный календарик, который помогал мне блуждать по лабиринту прошлого, напоминая о месте и времени действия; то была пятница шестого сентября тысяча девятьсот седьмого года, и этот завтрак в кафе

«Кронер» был первым; до сих пор я никогда не пил за завтраком натурального кофе, ограничиваясь солодовым, никогда не ел яиц, довольствуясь овсянкой, серым хлебом с маслом и ломтиком свежего огурца, но миф, который я решил создать, был сразу же при своем возникновении подхвачен, а недоуменный вопрос повара — «сыр с перцем?» — доказывал, что миф проложил себе дорогу туда, куда следовало, то есть в широкую публику; мне оставалось лишь, так сказать, при сем присутствовать — сидеть на месте до десяти или до половины одиннадцатого, ожидая, пока кафе постепенно наполнится людьми, сидеть и попивать минеральную воду и рюмку коньяку, держа на коленях блокнот для рисования, во рту сигару, а в руке карандаш; я не переставая рисовал, а в это время банкиры и их важные клиенты проходили мимо моего столика в комнату для совещаний, и кельнеры проносили следом за ними зеленые подносы с батареями бутылок; в это время местные священники и их заграничные собратья являлись в кафе после осмотра Святого Северина и восхваляли на исковерканной латыни или же на ломаном английском и итальянском языках красоты города; в это время чиновники правительственной канцелярии демонстрировали здесь свою независимость и свое высокое положение тем, что позволяли себе около половины одиннад-

цатого выпить в кафе чашечку мокко и рюмку вишневки; в это время сюда приходили дамы с зеленого рынка, нагрузив свои плетеные кожаные сумки капустой и морковью, горошком и сливами; хозяйственные таланты этих дам заключались в том, что, заговорив усталых крестьянок, они умели дешево выманить у них товар, чтобы затем потратить на кофе и на пирожные в сто раз больше, чем они сэкономили; размахивая кофейными ложечками, словно шпагами, они возмущались каким-то ротмистром, который, находясь на службе — «на службе», подумать только, — послал воздушный поцелуй известной кокотке, стоявшей на балконе; к тому же, по достоверным сведениям, самым достоверным сведениям, ротмистр покинул эту даму только в половине пятого утра, пробравшись через служебный вход отеля. Ротмистр и служебный вход. Какой срам!

Я смотрел на посетителей кафе и прислушивался к их разговорам, к разговорам моих статистов, я зарисовывал ряды стульев, столы и балетные па кельнеров; без двадцати одиннадцать я потребовал счет — он был меньше, чем я ожидал; я заранее решил показать себя человеком с широкими замашками, хоть и не слишком расточительным, эту формулу я где-то вычитал и нашел приемлемой для себя. Распростившись с кельнером и вознаградив

этого человека, устами которого будет создан миф обо мне, пятьюдесятью пфеннигами, я ушел из кафе усталый, как после тяжелой работы; лакеи проводили меня внимательным взглядом, но никто из них так и не догадался, что я-то и был солистом; держась прямо, я проходил пружинящим шагом сквозь ряды кельнеров, демонстрируя им то, что они должны были видеть, — художника в широкополой черной шляпе, маленького, хрупкого, с виду лет двадцати пяти, без особых примет, чем-то похожего на провинциала, но в то же время на человека, знающего себе цену. Под конец я дал грош мальчику, который распахнул передо мной дверь.

От кафе до дома семь на Модестгассе было всего полторы минуты ходу. Подмастерья, ломовики, монахини; улица жила своей жизнью. Правда ли, что в воротах дома семь пахло типографской краской? Подвижные части типографских машин двигались взад и вперед, взад и вперед, подобно поршням в машинном отделении парохода; они печатали что-то назидательное на белых листах бумаги; швейцар снял фуражку.

— Господин архитектор? Ваш багаж уже наверху.

Я сунул в его красноватую ладонь чаевые.

— Рад стараться, господин лейтенант! — Он ухмыльнулся. — Да, тут уже приходили двое

господ, они хотят записать господина лейтенанта в здешний клуб офицеров запаса.

И снова будущее показалось мне более реальным, чем настоящее, которое, едва успев свершиться, погружалось в темное небытие, — я увидел неопрятного швейцара, окруженного газетчиками, увидел броские заголовки: «Молодой архитектор побеждает корифеев на конкурсе». Увидел, как швейцар услужливо сообщает газетчикам сведения обо мне: «Он? Он, господа, не признает ничего, кроме работы. Утром в восемь часов он отправляется к мессе в Святой Северин, до половины одиннадцатого завтракает в кафе «Кронер», с половины одиннадцатого до пяти сидит у себя наверху в мастерской, никого не принимая; целый день он питается — смейтесь, смейтесь, господа, — одним гороховым супом, который сам себе варит; горох, сало и даже лук ему посылает старушка мать. От пяти до шести он прогуливается по городу, с половины седьмого до половины восьмого играет в бильярд в отеле «Принц Генрих», он посещает клуб офицеров запаса. Женщины? Об этом мне ничего не известно. В пятницу вечером, господа, от восьми до десяти у него репетиция в певческом фереине «Немецкие голоса». Да и кельнеры в кафе «Кронер» будут загребать чаевые в обмен на информацию обо мне. «Сыр с перцем? Очень интересно. Неужели он и за завтраком рисует как одержимый?»

Позже я часто вспоминал день моего приезда, слышал цоканье копыт по брусчатке, видел, как мальчишки из отеля тащили чемоданы, вспоминал женщину в палевой шляпке с вуалью, читал плакат: «Всем военнообязанным рекомендую...» — прислушивался к своему смеху — над кем я смеялся? Что выражал мой смех? Каждое утро, возвращаясь от мессы и забирая свои письма и газеты, я видел эскадрон улан, который направлялся к учебному плацу на северной окраине города, и каждое утро, когда лошадиное цоканье замирало вдали по дороге к плацу, где уланам предстояло мчаться в атаку или, вздымая клубы пыли, скакать в дозор, я размышлял о ненависти отца к лошадям и офицерам; заслышав звук трубы, старики служивые останавливались на улице, и на глаза у них навертывались слезы, но я вспоминал своего отца; сердца кавалеристов, в том числе и сердце моего швейцара, бились учащенно, служанки с тряпками в руках застывали наподобие живых изваяний, подставляя утреннему ветерку свою любвеобильную грудь. Как раз в эти часы швейцар вручал мне посылку: это мать присылала мне горох, сало, лук и свои материнские благословения; нет, при виде скачущих улан мое сердце не билось учащенно.

Я писал матери письма, заклиная ее не приезжать, я не хотел, чтобы она вошла в ряды

статистов; позже, позже, когда игра выгорит, тогда пусть приедет; мать была маленького роста, хрупкая и темноволосая, как я; она делила свое время между кладбищем и церковью, ее лицо, весь ее облик были слишком уж под стать моей игре, она никогда не стремилась к деньгам, одного золотого ей хватало на целый месяц — на хлеб, на суп и на то, чтобы бросить в церковный кошель два пфеннига в воскресенье и пфенниг в будний день. «Приедешь попозже», — писал я ей, но это оказалось слишком поздно: ее похоронили на кладбище рядом с отцом, рядом с Шарлоттой и Маурицием — она никогда больше не увидела того, чей адрес каждую неделю надписывала на конвертах: «Модестгассе, 7. Генриху Фемелю». Я боялся ее мудрого взгляда и того непредвиденного, что могут произнести ее уста: «Зачем? Зачем тебе нужны деньги и почести, и кому ты хочешь служить — Богу или людям?» Я боялся ее прямых вопросов, непререкаемых, как катехизис, на которые надо было отвечать теми же словами, но только в утвердительной форме, с точкой на конце вместо вопросительного знака. Я не знал — «зачем?». Я ходил в церковь не из лицемерия и не потому, что этого требовала моя роль, хотя мать мне бы, пожалуй, не поверила; играть я начинал лишь в кафе «Кронер» и играл до половины одиннадцатого, а потом снова — от пяти часов дня до десяти; я думал

об отце, пока уланы окончательно не исчезали за Модестскими воротами, это было легче, чем думать о матери; шарманщики, ковыляя, спешили в пригороды, им надо было добраться туда пораньше, чтобы умиротворить своей игрой сердца хозяек и служанок, скучавших в одиночестве. «О рассвет, рассвет печальный»; к вечеру они возвратятся обратно в город, чтобы переплавить в медяки меланхолию предвечерних часов. «Аннемари, Розмари»; а через дорогу мясник Грец прикреплял у дверей своей лавки кабанью тушу — темно-красная свежая кабанья кровь капала на асфальт; вокруг кабана мясник развешивал фазанов, куропаток, зайцев — нежные перья и смиренные заячьи шкурки украшали громадную тушу; каждое утро Грец выставлял на всеобщее обозрение убитых животных, и всегда так, чтобы их раны были видны прохожим — простреленные заячьи брюшки, голубиные грудки, вспоротый бок кабана, — он хотел, чтобы кровь была на виду; розовые руки госпожи Грец укладывали ломти печенки между кучками грибов, икра поблескивала на кубиках льда рядом с гигантскими окороками; лангусты, лиловые, словно сильно обожженные кирпичи, беспомощно тыкались в стеклянные стенки плоских аквариумов, ожидая того момента, когда попадут в умелые руки хозяек; так было седьмого, девятого, десятого, одиннадцатого сентября ты-

сяча девятьсот седьмого года, и только восьмого, пятнадцатого и двадцать второго сентября — по воскресеньям — фасад мясной Грец не обагрался кровью; Грец вывешивал убитых животных и в тысяча девятьсот восьмом году, и в тысяча девятьсот девятом, и много лет подряд, их не было только в те годы, когда все подавляла высшая сила; я видел их каждый день пятьдесят с лишним лет подряд и вижу по сию пору, вижу, как ловкие руки хозяек торопливо выискивают в этот субботний день лакомые кусочки на воскресенье.

— Да, Леонора, вы верно прочли — первый гонорар сто пятьдесят тысяч марок. Нет даты? Очевидно, это было в августе тысяча девятьсот восьмого года. Да, точно, в августе девятьсот восьмого. Вы еще ни разу не пробовали кабаньего мяса? Так вот, вы ничего не потеряли, доверьтесь моему вкусу. Кабанье мясо мне никогда не нравилось. Заварите немного кофе, надо запить всю эту пыль, и купите пирожных, если вы любите сладкое. Чепуха, от пирожных не толстеют, не верьте этой брехне... Да, в тысяча девятьсот тринадцатом, это домик по заказу господина Кольгера, кельнера из кафе «Кронер». Нет, без гонорара.

Сколько раз я завтракал в кафе «Кронер»? Десять тысяч раз? Двадцать тысяч? Я никогда не подсчитывал, я ходил туда каждый день, за

исключением тех лет, когда этому препятствовала высшая сила.

Я видел, как высшая сила маршировала, я стоял в тот день на крыше противоположного дома — дома номер восемь, — спрятавшись за беседку, и смотрел вниз на улицу; высшая сила двигалась к вокзалу, гигантские толпы горлашили «Стражу на Рейне» и выкрикивали имя дурака, который и сейчас еще скачет на бронзовом коне, держа путь на запад; фуражки, цилиндры и банкирские котелки были украшены цветами, цветы торчали в петлицах, а под мышкой люди держали маленькие свертки с нижним бельем, изготовленным по системе профессора Густава Егера; толпа бушевала так, что ее рев доносился до самых крыш; даже проститутки из торговых рядов послали сегодня своих альфонсов на призывные пункты, снабдив их свертками с особо высококачественным теплым нижним бельем. Тщетно ждал я, что во мне пробудятся те же чувства, что и у толпы, там, внизу; я казался себе опустошенным, одиноким, низким человеком, не способным на воодушевление, и никак не мог взять в толк, почему я не способен воодушевиться, раньше я над этим не задумывался; я вспомнил о своем пахнувшем нафталином военном мундире — он все еще был мне впору, хотя, когда я шил его, мне исполнилось всего двадцать лет, а теперь уже минуло тридцать шесть; я наде-

ялся, что мне не придется надевать его снова, я хотел по-прежнему исполнять свою партию соло, не включаясь в ряды статистов; люди, которые с песней направлялись к вокзалу, попросту рехнулись: они с жалостью смотрели на тех, кто оставался дома, да и сами остающиеся считали себя жертвами, считали, что их обошли; но я соглашался быть жертвой, нимало не горюя. Внизу в доме рыдала моя теща; обоих ее сыновей призывали в первый же день, они уже ускакали на товарную станцию, где грузили лошадей; ее сыновья были гордыми уланами, и моя теща проливала по ним гордые слезы; я стоял, спрятавшись за беседку; на крыше еще цвели глицинии; я слышал, как внизу мой четырехлетний сынишка повторял: «Хочу ружье, хочу ружье...» Мне бы следовало спуститься вниз и высечь его в присутствии моей гордой тещи, но я позволил ему петь, позволил играть с уланским кивером, который мальчику подарили дяди, позволил волочить за собой саблю, позволил выкрикивать: «Французу каюк! Англичанину каюк! Русскому каюк!» И я стерпел, когда комендант гарнизона сказал мне сочувственным, чуть ли не прерывающимся от волнения голосом:

— Душевно сожалею, Фемель, но мы пока не можем без вас обойтись, придется вам запастись терпением, ведь и в тылу нужны люди, как раз такие люди, как вы...

Я строил казармы, укрепления, лазареты; поздно вечером, облачившись в свой лейтенантский мундир, я проверял караулы на мосту; пожилые торговцы в чине ефрейторов и банкиры, ставшие рядовыми, старательно отдавали мне честь; поднимаясь по лестнице на мост, я при свете карманного фонарика видел скабрезные рисунки, нацарапанные на красном песчанике подростками, возвращавшимися с купанья; на лестнице пахло ранней возмужалостью. Где-то поблизости висела вывеска: «Михаэлис. Уголь, кокс, брикеты», нарисованная рука указывала туда, где можно было приобрести все эти товары. Унтер-офицер Грец рапортовал мне: «Караул на мосту: один унтер-офицер и шесть солдат, особых происшествий нет». Наслаждаясь собственной иронией и собственным превосходством, я махал рукой, — мне казалось, я позаимствовал этот жест из комедий, — и говорил: «Вольно!» — а затем расписывался в постовой ведомости и отправлялся восвояси; дома я вешал в шкаф шлем и саблю, шел в гостиную к Иоганне, клал голову к ней на колени и, ни слова не сказав, курил свою сигару; Иоганна тоже не говорила мне ни слова, но упорно возвращала Грецу паштеты из гусиной печени, и когда настоятель Святого Антония посылал нам хлеб, мед и масло, Иоганна все раздавала; я ничего не говорил ей по этому поводу; в кафе «Кронер»

мне все еще подавали тот же завтрак — наверное, уже в двухтысячный раз, — все тот же сыр с перцем; я по-прежнему давал кельнеру пятьдесят пфеннигов на чай, хотя он не хотел их брать, и даже настаивал на том, чтобы уплатить мне гонорар за проект дома.

Иоганна высказывала вслух то, о чем я только думал; когда мы были в гостях у начальника гарнизона, она не стала пить шампанское, не стала есть жаркое из зайца, отказывала всем, кто приглашал ее танцевать, она громко заявила: «Державный дурак...» — и казалось, будто в казино на Вильгельмскуле начался ледниковый период; в наступившей тишине она повторила: «Державный дурак...» Там сидели генерал, полковник, майоры, все с женами, я был в то время новоиспеченным обер-лейтенантом, уполномоченным по строительству укреплений; в казино на Вильгельмскуле наступил ледниковый период; маленькому фенриху пришла в голову счастливая мысль: он приказал оркестру заиграть вальс; я взял Иоганну под руку и отвел ее к экипажу; стояла чудесная осенняя ночь, серые колонны маршировали к пригородным вокзалам, особых происшествий не было.

Суд чести. Никто не осмеливался повторить слова Иоганны; поношения подобного рода даже не заносились в акты. «Его величество — державный дурак» — такого никто не

решился бы написать; мне говорили: «То, что сказала ваша супруга...» — а я вторил им: «То, что сказала моя жена...» — но я не сказал им главного — того, что согласен с нею. Вместо этого я пустился в объяснения: «Но, господа, ведь она же беременна, до родов осталось всего два месяца, она потеряла обоих братьев — ротмистра Кильба и фенриха Кильба — обоих в один и тот же день, потеряла маленькую дочку в тысяча девятьсот девятом году...» — хотя в глубине души знал, что мне надо сказать совсем другое: «Господа, я согласен с моей женой...» — знал, что одной иронии недостаточно, что одной иронией не обойдешься.

— Нет, Леонора, этот пакетик можете не вскрывать — его содержимое относится к области чувств, — пакетик хоть и немного весит, но значит для меня очень много, в нем всего-навсего пробка от бутылки. Спасибо за кофе, поставьте, пожалуйста, чашечку на подоконник; я напрасно ожидаю внучку, в эти часы она обычно готовит уроки в садике на крыше, я забыл, что каникулы еще не кончились; посмотрите, отсюда из окна можно заглянуть в вашу контору; когда вы сидите там за письменным столом, я вижу вас, вижу ваши красивые волосы.

Почему чашка вдруг задрожала, почему она зазвенела, будто от стука печатных ма-

шин, — разве они снова начали работать, разве кончился обеденный перерыв? Неужели и в субботу вечером они печатают что-то назидательное на белых листах бумаги?

Не сосчитать, сколько раз по утрам я ощущал, как дрожит пол; облокотившись на подоконник, я смотрел вниз на улицу, на белокурые волосы, легкий аромат которых уносил с собой из церкви, — слишком душистое мыло погубило бы эти красивые волосы, порядочность заменяла здесь духи; возвращаясь от ранней мессы, я шел за девушкой, я видел, как без четверти девять она проходила мимо лавки Греца к дому номер восемь. Она входила в этот желтый дом, где на черной деревянной дощечке красовалась белая, слегка потемневшая от времени надпись: «Доктор Кильб, нотариус». Я наблюдал за ней, входя в каморку швейцара за своей газетой; свет падал на ее нежное, слегка помятое от служения справедливости лицо, она открывала дверь конторы, распахивала ставни, потом подбирала цифры на замке сейфа, открывала стальные дверцы — казалось, они вот-вот задавят ее, — проверяла содержимое сейфа; Модестгассе была так узка, что я мог заглянуть прямо в сейф на верхнюю полку и прочесть тщательно надписанную картонную табличку: «Проект Святого Антония». В сейфе лежали три больших пакета, испещренных сургучными печатями, по-

ходившими на раны; пакетов было всего три, и каждый ребенок знал имена их отправителей — Бремкоккель, Грумпетер и Воллерзайн. Бремкоккель был архитектор, построивший тридцать семь церквей в неоготическом стиле, семнадцать часовен, двадцать один монастырь и больницу; Грумпетер создал всего тридцать три церкви в неороманском стиле, всего двенадцать часовен и восемнадцать больниц; третий пакет был прислан Воллерзайном, который построил всего лишь девятнадцать церквей, две часовни и четыре больницы, но зато воздвиг настоящий собор.

— Вы читали, господин лейтенант, что написано в «Вахте»? — спросил меня швейцар, и я прочел поверх его заскорузлого большого пальца строчку, которую он мне показал: «Сегодня последний день представления проектов аббатства Святого Антония. Неужели наша архитектурная молодежь не нашла в себе мужества?..»

Я засмеялся, свернул газету трубочкой и пошел завтракать в кафе «Кронер»; когда кельнер прокричал в окошко повару: «Завтрак для господина архитектора Фемеля, как всегда», мне показалось, что я участвую в древнем, исполняемом уже многие века религиозном обряде. Домохозяйки, священники, банкиры... гомон голосов. Было около половины одиннадцатого. Блокнот с набросками

овечек, змей, пеликанов... пятьдесят пфеннигов кельнеру, десять бою... ухмылка швейцара, которому я по утрам совал в руку сигару, получая от него свою корреспонденцию. Я стоял в мастерской, ощущая локтями вибрацию печатных машин, и смотрел вниз в контору Кильба, где ученик у окна размахивал белой гладилкой. Потом я вскрыл письмо, которое вручил мне швейцар: «...мы можем сразу же предложить Вам должность главного чертежника; двери моего дома будут для Вас открыты, мы гарантируем Вам дружеский прием в здешнем обществе. Недостатка в развлечениях у Вас не будет...» Меня опять прельщали милovidными архитекторскими дочками и звали на семейные пикники, где молодые люди в круглых шляпах цедили пиво из бочонков на опушке леса, а юные девушки вынимали из корзин и раздавали им бутерброды; на только что скошенных лужайках молодежь танцевала под присмотром мамаш, которые тревожно подсчитывали года своих дочек и хлопали в ладоши, восхищаясь их необычайной грацией; потом во время прогулки по лесу, предложив своей даме руку, чтобы она не спотыкалась о корни, можно было отважиться на поцелуй: облобызать ручки спутницы повыше запястья или чмокнуть ее в щечку и в плечико, ведь в лесном полумраке расстояние от пары до пары незаметно увеличивалось; и наконец, по доро-

ге домой, когда в вечерних сумерках коляски проезжали по укромным полянкам и из леса выглядывали косули, словно их специально ангажировали для этого, когда кто-нибудь запевал песню и ее подхватывали все остальные, нетрудно было шепнуть своей даме, что тебя пронзила стрела амура. Экипажи уносили с собой разбитые сердца и раненые души...

Я написал учтивый ответ: «...охотно приму Ваше любезное предложение, как только закончу свои дела, которые еще на некоторое время задержат меня в городе...», запечатал конверт, наклеил марку, снова подошел к подоконнику и взглянул вниз на Модестгассе; каждый раз, когда ученик взмахивал гладилкой, та сверкала, как кинжал; два служащих отеля грузили кабанью тушу на ручную тележку — вечером я отведаю кабаньего мяса в мужской компании на ужине певческого ферейна «Немецкие голоса»; мне придется выслушивать там остроты коллег, я буду смеяться, но они так и не поймут, что я смеюсь не над их остротами, а над ними самими; их остроты были так же тошнотворны, как подливки, которые там подавали, и я снова засмеялся, стоя у окна, все еще не понимая, что выражает мой смех — ненависть или презрение. Только не радость — это я знал.

Служанка Греца поставила рядом с кабаньей тушей белые корзины с грибами, повар

в «Принце Генрихе» уже отвешивал пряности, поварята точили ножи, взволнованные кельнеры, нанятые на этот вечер для подмоги, стоя перед зеркалом у себя дома, оправляли галстуки, которые они повязали для пробы, и спрашивали жен, гладивших перелицованные брюки — вся кухня была полна пара: «Как ты думаешь, мне надо целовать епископу руку, если, чего доброго, придется ему прислуживать?»

Ученик нотариуса все еще размахивал белой гладилкой.

Одиннадцать часов пятнадцать минут; я почистил свой черный костюм, проверил, не съехал ли набок атласный галстук, надел шляпу и вытащил карманный календарик — он был не больше плоской спичечной коробки; открыв календарик, я заглянул в него: «30 сентября 1907 года, в 11.30 — сдать Кильбу проект. Потребовать квитанцию».

Осторожно! Обдумывая свой план, я слишком часто мысленно проделывал все с начала до конца — спускался по лестнице, переходил улицу, входил в вестибюль, а потом в переднюю.

— Мне нужно поговорить с господином нотариусом лично.

— По какому делу?

— Я бы хотел передать господину нотариусу проект Святого Антония на конкурс.

Никто, кроме ученика, не удивился, но ученик на секунду перестал махать гладилкой

и оглянулся, а потом, пристыженный, опять повернул голову к улице и к своим папкам, памятуя о девизе фирмы: «Тайна гарантирована!» В этой комнате, где ветхость считалась шиком, где по стенам висели портреты давних предков, служивших правосудию, где чернильницы жили по восемьдесят лет, а гладилки по сто пятьдесят, в этой комнате в полном молчании совершались поистине грандиозные сделки; здесь целые кварталы меняли своих владельцев, здесь вступающие в брак подписывали контракты, согласно которым ежегодная сумма денег, выдававшаяся супруге «на булавки», превышала жалованье чиновника за пять лет, и в то же время здесь нотариальным порядком заверялась закладная работяги-сапожника стоимостью в две тысячи марок и хранилось завещание дряхлого пенсионера, в котором он отказывал своему любимому внуку ночную тумбочку; здесь в полной тайне улаживались юридические дела вдов и сирот, рабочих и миллионеров, а на стене висело изречение: «И правая их рука полна подношений».

Нет никаких оснований оборачиваться и глазеть на молодого художника в черном перелицованном костюме, унаследованном от дяди, художника, который отдает пакет, завернутый в белую бумагу, и чертежи, свернутые в трубку; напрасно только молодой человек полагал, что ему придется разговаривать с господином

нотариусом лично. Начальник канцелярии запечатал пакет и свернутые в трубочку чертежи, оттиснув на горячем сургуче герб Кильбов — овечку, из груди которой бьет струя крови, в то время как приятная блондинка — секретарша нотариуса — выписывала квитанцию: «Сдано в понедельник 30 сентября 1907 года, в 11.35 утра господином архитектором Генрихом Фемелем...» — но когда девушка протягивала мне квитанцию, ее бледное приветливое лицо на миг просветлело — кажется, она узнала меня. От этой непредвиденной улыбки я почувствовал себя счастливым, именно она убедила меня в реальности происходящего; значит, этот день и эта минута действительно существовали; не мои собственные поступки утвердили меня в этой мысли, хотя я и в самом деле спустился по лестнице, пересек улицу, вошел в вестибюль и в переднюю и увидел ученика, который сперва посмотрел на меня, а потом, пристыженный девизом «Тайна гарантирована», отвернулся, хотя я и в самом деле увидел кроваво-красные, как раны, следы сургуча; меня убедило в этом непредвиденное — дружеская улыбка секретарши; девушка окинула взглядом мой перелицованный костюм, а потом, когда я взял у нее из рук квитанцию, шепнула:

— Желаю вам удачи, господин Фемель.

Впервые за месяц с лишним была нанесена зияющая рана времени; слова секретарши

дали мне понять, что в игре, затеянной мною, участвовала реальность; так, значит, время не фабриковалось в царстве грез, где будущее становилось настоящим, а настоящее казалось прошлым вековой давности и где прошлое становилось будущим; у этого прошлого я всегда мысленно искал защиты, как когда-то ребенком искал защиты у отца. Он был тихий, мой отец; шли годы, и все больше укутывали его в тишину, тяжелую, как свинец; на торжественных богослужениях он играл на органе, он пел на похоронах: на похоронах по первому разряду пел много, по второму — меньше, а по третьему и вовсе не пел; мой отец был такой тихий, что при воспоминании о нем у меня щемит сердце; отец доил коров, косил сено и молотил хлеб, да так усердно, что мякина, словно мошकारа, облепляла его залитое потом лицо; отец размахивал дирижерской палочкой в юношеском фереине, в союзе подмастерьев, в фереине стрелков и в фереине Святой Цецилии; отец всегда молчал, он никогда не ругался, он пел, рубил свеклу, варил свиньям картофель, играл на органе, надев свой черный регентский сюртук, а поверх него — белый стихарь; никто в деревне не замечал, что отец не произносит ни слова, потому что он всегда был чем-то занят; из четверых его детей двое умерли от чахотки, остались только Шарлотта и я. Моя мать была хрупкая женщина, из тех,

что любят цветы и нарядные занавески, любят петь песни за глаженьем белья, а по вечерам, когда топится печка, рассказывать бесконечные истории; отец работал не разгибая спины: сам делал кровати, набивал мешки сеном, резал кур, и все это продолжалось до тех пор, пока не умерла Шарлотта; шла заупокойная служба, церковь была убрана в белое, священник пел, но регент не вторил ему, молчал орган, с хоров не доносились голоса певчих, только один священник пел. Когда похоронная процессия в полной тишине выстроилась перед церковью, чтобы идти на кладбище, растерянный священник спросил: «Но, Фемель, дорогой мой, хороший мой Фемель, почему же вы не пели?»

И тут я в первый раз услышал, что мой отец заговорил; он произнес всего несколько слов, но я был поражен тем, как грубо прозвучал его голос, который мог звучать так нежно, когда отец стоял на хорах.

Он тихо, чуть внятно буркнул: «На похоронах по третьему разряду не поют».

Над Рейном поднялся туман, клубы облаков вытягивались в ленты и, свиваясь, плясали над свекловичными полями, в ивах каркали вороны, словно масленичные трещотки, растерянный священник читал заупокойную службу; с тех пор отец не поднимал больше дирижерскую палочку ни в юношеском фереине, ни в союзе

подмастерьев, ни в ферейне стрелков, ни в ферейне Святой Цецилии; казалось, первая фраза, которую я от него услышал (когда умерла двенадцатилетняя Шарлотта, мне исполнилось шестнадцать), сделала его разговорчивым; теперь он говорил непривычно много, говорил о лошадях и офицерах, которых ненавидел; как-то он угрожающе заметил: «Горе вам, если вы похороните меня по первому разряду».

— Да, — повторила блондинка. — Желаю вам удачи.

Быть может, лучше было бы отдать ей квитанцию, потребовать обратно запечатанный пакет и чертежи и вернуться домой; быть может, лучше было бы жениться на дочери бургомистра или подрядчика, строить пожарные каланчи, сельские школы, церкви, часовни; на праздниках после окончания строительства я танцевал бы с хозяйкой, а моя жена в это время отплясывала бы с хозяином; зачем бросать вызов Бремоккелю, Грумпетеру и Воллерзайну — этим корифеям церковной архитектуры? Зачем? Меня не мучило честолюбие и не прельщали деньги; мне и так никогда не пришлось бы голодать, я играл бы в скат со священником, аптекарем, трактирщиком и бургомистром, ездил бы на охоту и строил разбогатевшим крестьянам «что-нибудь помодней». Но ученик уже отбежал от окна и распахнул передо мной дверь, я сказал «спасибо» и вы-

шел из приемной, прошел через вестибюль, пересек улицу и поднялся по лестнице в свою мастерскую; там я оперся руками о подоконник, содрогавшийся от стука типографских машин; это было тридцатого сентября тысяча девятьсот седьмого года около одиннадцати часов сорока пяти минут дня...

— Да, Леонора, с этими типографскими машинами просто беда, у меня уже разбилась не одна чашка, стоит лишь зазеваться. Не торопитесь, к чему такая спешка, не надо горячиться, милочка. Если так пойдет и дальше, вы за неделю приведете в порядок все, что я не мог разобрать за пятьдесят один год. Нет, спасибо, я не хочу пирожного. Вы разрешаете называть вас милочкой? Любезности такого старика, как я, не должны вас смущать. Ведь я, Леонора, памятник, а памятники не могут причинить зла; я, старый дурак, все еще хожу каждое утро в кафе «Кронер» и ем там сыр с перцем, хотя он мне давно опостылел, но я считаю своим долгом не разрушать в глазах современников легенду обо мне; я собираюсь учредить сиротский приют, быть может школу, и установить стипендии; когда-нибудь где-нибудь меня обязательно отольют в бронзе и откроют мне памятник; вы должны при этом присутствовать и смеяться, Леонора, вы так заразительно смеетесь, вам это известно? Я уже больше не смеюсь, я разучил-

ся смеяться, хотя думал, что смех — мое оружие, но он никогда им не был, он давал мне всего лишь некоторые иллюзии. Если хотите, я возьму вас с собой на университетский бал и представлю как свою племянницу; на балу вы выпьете шампанского, потанцуете и познакомитесь с молодым человеком, который будет хорошо относиться к вам и полюбит вас; я дам за вами хорошее приданое, да, да, подумайте об этом на досуге... Три метра на два — это общий вид Святого Антония, он висит здесь в мастерской уже пятьдесят один год, висел и тогда, когда обвалился потолок, с того времени на чертеже появилось несколько пятен от сырости — вот эти самые. Святой Антоний был мой первый большой заказ, грандиозный заказ; уже тогда, хотя мне только-только минуло тридцать лет, моя карьера была сделана.

В тысяча девятьсот семнадцатом году я опять не нашел в себе мужества сделать то, что сделала за меня Иоганна: она вырвала из рук Генриха стихотворение — мальчик стоял на крыше у беседки, — это стихотворение он должен был выучить наизусть; Генрих читал его истово, с детской серьезностью:

Петр, Божий привратник, сказал, что он рад,
Но должен начальству представить доклад.
Ушел и вернулся — немного прошло, —

Ах, ваше сиятельство, вам повезло.
Вот отпуск бессрочный. Сам Бог подмахнул
(Сказал и врата широко распахнул).
Ступай же, наш храбрый герой.
Господь да пребудет с тобой!*

Роберту еще не исполнилось двух лет, а Отто еще не родился, я приехал в отпуск; мне уже давно стало ясно то, о чем я раньше лишь смутно догадывался; одной иронии недостаточно, от нее мало толку, ирония — это наркотик для привилегированных. Я должен был сделать то, что сделала Иоганна: мне следовало поговорить с мальчиком — мне, в моем капитанском мундире, — но я молча слушал, как Генрих декламировал:

И Блюхер торопится тотчас сойти,
Чтоб нас от победы к победе вести.
Ура! С Гинденбургом мы мчимся вперед.
Он Пруссию спас! Он надежный оплот;
Покуда немецкие роши растут,
Покуда немецкие флаги цветут,
Покуда немецкое слово звучит,
Не будет наш Гинденбург нами забыт.
Герой! Для тебя наши бьются сердца,
А славе героя не будет конца.
С Гинденбургом вперед! Ура!

* Здесь и далее в этом романе стихи в переводе Б. Слуцкого.

Иоганна выхватила из рук мальчика листок со стихами, разорвала его и выбросила клочки бумаги на улицу, они полетели вниз, как снежные хлопья, и легли перед лавкой Греца, где в тот день не висела туша, потому что в мире властвовала высшая сила.

— Когда мне откроют памятник, Леонора, одним смехом не обойдешься, плюньте на него, душенька, во имя моего сына Генриха и во имя Отто — ведь он был такой милый мальчик, такой хороший и послушный, а стал с годами совсем чужим, таким чужим, как никто на этой земле; во имя Эдит, единственного агнца, какого я когда-либо видел; я любил Эдит, мать моих внуков, но не сумел помочь ей, не сумел помочь ни подмастерью столяра, которого я видел всего два раза, ни тому юноше — его я никогда не видел, — который приносил нам весточки от Роберта и бросал в почтовый ящик записки величиной с конфетную бумажку; за это преступление он сгинул в концлагере. Роберт был умный и холодный и не признавал иронии; Отто казался совсем другим — гораздо сердечнее, но именно он принял «причастие буйвола» и стал нам совсем чужим; плюнь на мой памятник, Леонора, скажи им, что я так просил; хочешь, я дам тебе письменное разрешение и заверю свою подпись у нотариуса; жаль, что ты не знала

того мальчика, при виде его я понял изречение: «И Ангелы служили Ему...» — он работал подмастерьем у столяра, и ему отрубили голову: жаль, что ты не знала Эдит и ее брата, я и сам-то видел его один-единственный раз; он прошел по нашему двору и поднялся наверх к Роберту; я стоял у окна спальни и видел его всего полминуты, но мне стало страшно, ибо он принес с собой и беду и благословение, его фамилия была Шрелла, а имени я так и не узнал, он казался мне судебным исполнителем Бога, который метит дома неисправных должников; я знал, что он потребует к ответу моего сына, и все же я позволил этому юноше с вислыми плечами пройти по двору; брат Эдит взял заложником старшего из моих оставшихся в живых сыновей, одаренного юношу; сама Эдит была совсем другой — в ней жила библейская серьезность, и она могла позволить себе библейский юмор; во время бомбежек Эдит смеялась вместе со своими детьми; она дала им библейские имена: Йозеф и Рут — Иосиф и Руфь, смерть не страшила ее; она не могла понять, почему я так горюю по моим умершим детям — по Иоганне и Генриху, ей так и не довелось узнать о смерти Отто, который был мне когда-то ближе всех, но стал чужим, — Отто любил мою мастерскую и мои чертежи, он ездил со мной на стройки и пил пиво на празднествах по случаю окончания строительства,

он был любимцем рабочих; но в сегодняшнем празднике он не будет участвовать; сколько гостей приглашено? Род, который я основал, невелик — всех можно пересчитать по пальцам одной руки: Роберт, Йозеф, Рут, Иоганна и я; на месте Иоганны будет сидеть Леонора. Что я скажу Йозефу, когда он с юношеским пылом сообщит мне об успехах восстановительных работ в аббатстве Святого Антония; праздник по случаю окончания работ намечено устроить уже в конце октября, монахи хотят отслужить предрождественское богослужение в новой церкви. «Дрожат дряхлые кости», Леонора, они не пасли моих овец.

Лучше было бы вернуть тогда квитанцию, сломать красные печати и уничтожить пакет, мне не пришлось бы теперь ждать моей внучки, красивой черноволосой девятнадцатилетней девушки — ей сейчас как раз столько же, сколько было Иоганне, когда я пятьдесят один год назад увидел ее на крыше соседнего дома; она читала книгу, заглавие которой было мне хорошо видно — «Коварство и любовь», а может, девушка, читающая сейчас на крыше «Коварство и любовь», и есть Иоганна? Неужели ее действительно нет с нами? Неужели она не сидит с Робертом за обедом «У льва», неужели я не сегодня заходил в каморку швейцара, чтобы отдать ему традиционную сигару, неу-

жели я не только что удрал от доверительного разговора — разговора «мужчины с женщиной, рядового с лейтенантом», — удрал к себе наверх, чтобы просидеть здесь с половины одиннадцатого до пяти, неужели я не поднялся по лестнице, как бывало в те дни, мимо стопок книг и штабелей епископских посланий, еще пахнувших типографской краской? Что они еще успеют напечатать в нынешнюю субботу на белых листах бумаги — назидательные сентенции или предвыборные плакаты для тех, кто принял «причастие буйвола»? Стены дрожат, лестница сотрясается — работницы приносят все новые бумажные кипы, нагромождают их одну на другую до самых дверей моей мастерской. В те времена, лежа здесь, я упражнялся в искусстве жить в настоящем; потоки воздуха несли меня как бы по черной вентиляционной трубе, я знал, что вот-вот меня выбросит наружу, но не знал куда. Я ощущал извечную горечь, меня томило извечное чувство, что все — суета сует, я видел детей, которые от меня родятся, вина, которые я буду пить, больницы и церкви, которые построю, и все время я слышал, как комья земли падают на мой гроб, слышал неотвязную, глухую дробь барабана; а наяву до меня доносилось пение накладчиц, фальцовщиц и упаковщиц — одни пели высокими голосами, другие низкими, кто с чувством, а кто равнодушно, они пели

о простых радостях субботнего вечера, но мне их пение казалось зауспокойной молитвой; в песнях говорилось о любви на дешевых танцульках, о грустном счастье у кладбищенской стены в по-осеннему пахучей траве; о слезах старых матерей, предваряющих радости юных матерей; о печали сиротского приюта, где храбрая девушка решила хранить чистоту, пока и ее не настигло чувство, настигло во время танцев, и она вкусила грустное счастье у кладбищенской стены в по-осеннему пахучей траве, — голоса работниц звучали монотонно, словно в тихую воду мерно опускались водочерпальные колеса, словно работницы отпевали меня; комья земли стучали по крышке гроба. Из-под опущенных век я смотрел на стены мастерской, которые увешал эскизами; в центре красовалась грандиозная, отливающая красным светокопия в масштабе 1:200 — аббатство Святого Антония; на переднем плане виднелся поселок Штелингерс-Гротте — коровы паслись на лугу, рядом тянулось убранное картофельное поле, над которым поднимался дым от костра; дальше шло аббатство, огромное здание в стиле базилики (я без стеснения копировал романские соборы), крытая галерея казалась строгой, низкой, темной; поблизости я разместил кельи, трапезную и библиотеку, посередине крытой галереи возвышалась статуя святого Антония; хозяйственные постройки,

амбары, конюшни, сараи образовывали большой прямоугольник — там были собственные мельница и пекарня; красивый дом предназначался отцу-эконому, который среди прочих обязанностей должен был заботиться о паломниках; под высокими деревьями стояли грубо сколоченные столы и стулья, здесь паломники могли подкрепиться и запить взятые в дорогу припасы терпким вином, виноградным соком или пивом; на горизонте был слегка намечен второй поселок — Гёрлинггерс-Штуль: часовня, кладбище, четыре крестьянских двора, коровы, пасущиеся на лугу; ряды тополей справа отделяли расчищенную под пашню землю; монахи разобьют там виноградники, будут выращивать капусту и картофель, овощи и хлеб и собирать в ульях превосходный мед.

Таков был этот проект с подробными чертежами и с полной сметой, отданный за двадцать минут до срока в обмен на квитанцию; тонким пером я выписал все цифры, перечислил все статьи расходов и прищурился, словно уже видел в натуре эти постройки, я смотрел на проект так, как смотрят в окно: я видел монахов, отвешивающих поклоны, видел, как богомольцы пьют молодое вино, а внизу в ожидании свободного вечера все пели и пели работницы, пели высокими и низкими голосами, и их пение звучало отходной по мне; я закрыл глаза, и меня охватило предчувствие

холода, который на самом деле мне суждено ощутить лишь через пятьдесят лет, уже человеком отжившим, окруженным буйной молодой порослью.

Этот месяц с лишним тянулся бесконечно, все, что я делал, уже происходило когда-то в моих сновидениях — мне оставались лишь утренняя месса да часы с половины одиннадцатого до пяти; я жаждал непредвиденного, до сих пор его принесла мне лишь чуть заметная улыбка секретарши и слова, повторенные ею дважды: «Желаю вам удачи, господин Фемель». Стоило мне закрыть глаза, и время расслаивалось, как спектр, на разные цвета — я видел прошлое, настоящее, будущее: через полвека моим старшим внукам будет по двадцать пять лет, а сыновья мои вступят в тот возраст, в каком находятся теперь почтенные господа, которым я только что вручил проект, а вместе с ним и свою судьбу. Я ощупью искал квитанцию, она была на месте, она существовала. Значит, завтра утром соберется жюри и установит, что положение изменилось, ибо поступил четвертый проект; за это время уже сложились группировки — двое членов жюри были за Грумпетера, двое — за Бремкоккеля и один — самый главный, но самый молодой и скромный из всех пяти, настоятель, — за Воллерзайна; настоятелю нравился романский стиль — среди членов жюри неизбежно раз-

горится горячий спор, потому что оба члена, берущие взятки, станут с особым пылом приводить аргументы художественного порядка; но вдруг потребовалась отсрочка; какой-то никому не известный мальчишка без роду и племени спутал все карты. Члены жюри с беспокойством обнаружили, что настоятелю понравился мой проект; поднося к губам рюмку, он то и дело останавливался перед моим чертежом: весь ансамбль был органически вписан в окружающий ландшафт; прямоугольник с необходимыми хозяйственными постройками был четко отделен от прямоугольника с крытой галереей и кельями; настоятелю нравились и колодец, и подворье для паломников; он улыбался — в этом аббатстве он сможет править как «*primus inter pares*»*, проект уже казался ему претворенным в жизнь, мысленно он уже главенствовал в монастырской трапезной, сидел на хорах, посещал больных братьев, ходил к отцу-эконому отведать вина и пересыпать с ладони на ладонь горсть зерна — хлеб для его братии и для бедных, зерно, собранное на его полях; у самых ворот молодой архитектор запроектировал небольшое крытое помещение для нищих, снаружи будут стоять скамейки — для летних дней, внутри — стулья, стол и печка — для зимней непогоды.

* Первый среди равных (*лат.*).

— Господа, этот проект не вызывает у меня сомнений, я без всяких оговорок голосую за проект господина... как бишь его... за проект Фемеля, к тому же стоимость всего сооружения на триста тысяч марок меньше, чем это предусматривает самый дешевый из трех других проектов.

Крошки сухого сургуча из разверстых ран усеяли стол, по которому сейчас стучали кулаками специалисты, начиная долгий торг.

— Поверьте, ваше преподобие, уже не раз случалось, что нам сбивали цену. Но как вы поступите, если тот же самый Фемель явится за четыре недели до окончания работ и объявит: «Я — на мели». В таком случае, как этот, смета может быть перерасходована на полмиллиона. Так нередко случается. Поверьте нам, людям сведущим. Какой банк поручится за неопытного, никому не известного молодого человека, кто выложит за него гарантийную сумму? Разве у него есть состояние?

Молодой настоятель громко рассмеялся.

— Состояние Фемеля, согласно его собственным утверждениям, составляет восемь тысяч марок.

Торг продолжался. Господа ушли раздосадованные. Никто из них не поддержал настоятеля. Решение было отсрочено на четыре недели. Но оказалось, что этот бритоголовый крестьянский сын, которому едва минуло трид-

цать, имел по уставу решающий голос. Вопреки его воле ничего нельзя было решить, зато с его согласия все решалось без промедления.

И тут зазвонили телефоны; обливаясь потом, забегали нарочные, разнося экспресс-письма от регирунгс-президента архиепископу, от архиепископа в духовную семинарию, где доверенное лицо архиепископской канцелярии как раз в эту минуту, стоя на кафедре, превозносило достоинства неоготического стиля: и доверенное лицо, залившись пунцовой краской, поспешно побежало к пролетке, которая уже ожидала его, копыта зацокали по брусчатке, и колеса пролетки, скрипя, начали описывать головокруглительно смелые выражи: «Скорее! Скорее! Донесение! Донесение!»

— Фемель? Никогда не слышал.

— Проект? Технически он сделан блестяще, да и сметы, насколько можно судить, убедительны, это надо признать, ваше преосвященство, но стиль! Стиль чудовищный! Только через мой труп.

— Через ваш труп? — Архиепископ улыбнулся: этот профессор — артистическая натура, у него пламенный темперамент и к тому же слишком много чувства и слишком много развевающихся белых локонов. — Через ваш труп? Ну и ну!

От Грумпетера к Бремоккелю, от Бремоккеля к Воллерзайну летели зашифрованные за-

просы; смертельно враждующие архитектурные светила на несколько дней помирились; в зашифрованных депешах и телефонных разговорах они спрашивали друг друга: «Является ли цветная капуста скоропортящимся продуктом?», что должно было означать: «Можно ли смещать настоятелей?», и тут пришел ошеломляющий ответ: «Цветная капуста не является скоропортящимся продуктом».

Месяц с лишним меня окружало необытие, мир и покой царили в моей могиле; земля медленно осыпалась, мягко обволакивая меня со всех сторон, а в мои уши вливалось пение работниц; как хорошо бездельничать! Но скоро я начну действовать, мне придется действовать, как только они вскроют мою могилу, как только поднимут крышку гроба; они снова отбросят меня назад, в те времена, когда каждый день был чем-то примечателен и когда каждый час надо было выполнять какую-то обязанность; игра становилась серьезной. В тот день в два часа я не стал есть в моей маленькой кухне гороховый суп, я уже давно не подогревал его и съедал холодным, меня не интересовали ни еда, ни деньги, ни слава; мне нравилась игра как таковая, мне доставляла удовольствие моя сигара, и еще я тосковал по женщине, по моей будущей жене. Станет ли ею та девушка, которую я видел в садике на крыше соседнего дома, — черноволосая,

стройная и красивая Иоганна Кильб? Завтра она впервые услышит мое имя. Тосковал ли я по женщине вообще или именно по ней? Мне осточертело мужское общество, все мужчины казались мне смешными — верующие и неверующие, те, кто рассказывал неприличные анекдоты, и те, кто их выслушивал, игроки в бильярд и лейтенанты запаса, члены певческих ферейнов, портье и кельнеры; все они мне надоели, и я радовался, когда в послеобеденное время, между пятью и шестью часами, мог пройти в потоке работниц через ворота и увидеть их лица; мне нравилась чувственность этих лиц, смело платящих дань времени; я бы охотно пошел с одной из работниц потанцевать и прилег бы с ней в по-осеннему пахучей траве у кладбищенской стены, я бы разорвал квитанцию и отказался от своей большой игры. Эти девушки любили смеяться и петь, они ели и пили с аппетитом, иногда плакали и ничем не походили на лицемерных гусынь, вызывавших меня, своего постояльца, на ласки, которые казались им смелыми. Пока все еще было в моей власти — действующие лица и реквизит; статисты еще подчинялись мне в этот последний день, когда мне не захотелось холодного горохового супа и было лень подогреть его; но я решил доиграть игру до конца, игру, придуманную мною в скучные вечерние часы в захолустных городишках, когда я кон-

чал определять качество цементного раствора, осматривать кирпич, проверять отвесность каменной кладки и когда вслед за скукой в строительной конторе неизбежно следовала скука в какой-нибудь мрачной пивнушке, — именно в те дни я начал набрасывать на клочках бумаги проект аббатства.

Игра захватила меня целиком — наброски становились все больше, чертежи все точнее, сам того не замечая, я вдруг окунулся с головой в составление сметы; я ведь учился рассчитывать, учился чертить. Я отправил тридцать золотых марок Кильбу, и мне прислали документацию; однажды в солнечный день я съездил в Кисслинген, я увидел цветущие нивы, темно-зеленые свекловичные поля и лес, где в свое время будет стоять аббатство; я продолжал свою игру, теперь я изучал противников, имена которых их коллеги производили с благоговейной ненавистью — Бремккель, Грумпетер, Воллерзайн; я осмотрел их сооружения — церкви, больницы, часовни, собор Воллерзайна; при виде этих безотрадных строений я почувствовал, ясно ощутил, что дорога в будущее для меня открыта, будущее представлялось мне страной, ожидающей завоевателя, неведомой землей, где закопаны золотые монеты, доступные всякому, кто хоть немного знаком со стратегией; будущее было в моих руках, надо было только действовать;

время вдруг стало силой, а ведь раньше я пренебрегал им, расточал его без всякой пользы, в те годы, когда продавал за несколько золотых монет свои руки и мозг, свою сноровку и знания бракоделам и ханжам; я купил бумагу, таблицы, карандаши и справочники; я начал игру, которая не отнимала у меня ничего, кроме времени, но время у меня было, даровое время; воскресенья я использовал теперь для рекогносцировок, я изучал местность, я мерил шагами улицы; на Модестгассе в доме номер семь можно было снять мастерскую, а напротив, в доме номер восемь, жил нотариус, который хранил у себя под замком проекты; границы были открыты, мне оставалось только вторгнуться в незнакомый край, но лишь теперь, находясь в самом сердце этого края, который мне предстояло завоевать, лишь теперь, воспользовавшись тем, что враг еще дремлет, я по всей форме объявил ему войну; я еще раз нащупал в кармане квитанцию, она была на месте.

Послезавтра порог моей мастерской переступит первый посетитель — это будет настоящий, молодой, кареглазый, положительный, он еще не стал владыкой своего аббатства, но уже привык властвовать.

— Откуда вы узнали, что наш патрон святой Бенедикт не предусматривал разделения между послушниками и монахами в трапезной?

Настоятель ходил взад и вперед по комнате, часто поглядывая на проект, и спрашивал:

— Вы сумеете сдержать слово, вы не отступите, эти вороны не окажутся правы?

И вдруг меня охватил страх перед той большой игрой, которая скоро перехлестнет рамки чертежей и подхватит меня; да, я затеял эту игру, но никогда не отдавал себе отчета в том, что могу ее выиграть; я хотел приобрести славу человека, который отважился выступить против Бремоккеля, Грумпетера, Воллерзайна, этого мне было достаточно, у меня и в мыслях не было победить их. Я испугался, но все же ответил настоятелю:

— Да, я сдержу слово, ваше преподобие.

Настоятель кивнул, улыбнулся и ушел.

В пять часов я вышел в потоке работниц за городские ворота, это была моя обычная прогулка после трудового дня; в экипажах ехали на свидания красавицы под вуалями, в кафе «Фуль» лейтенанты, слушая сладкую музыку, пили горькие настойки; каждый день я гулял по часу; я проходил четыре километра всегда по одной и той же дороге, всегда в одно и то же время; пусть меня видят в одно и то же время в одном и том же месте торговки, банкиры, ювелиры, проститутки и кондукторы, приказчики, кельнеры и домашние хозяйки; они видели меня от пяти до шести с сигарой во рту;

это неприлично, я знаю, но ведь я художник, что обязывает к нонконформизму; я останавливался перед шарманщиком, который переплавлял в медяки вечернюю меланхолию; то была сказочная дорога, пролежавшая через царство грез; суставы моих статистов были хорошо смазаны, невидимые ниточки заставляли их двигаться, они послушно открывали рот, чтобы произнести те реплики, которые я вложил им в уста; в отеле «Принц Генрих» холодно шелкали бильярдные шары: белые шары катились по зеленому полю, красные по зеленому; манекены сгибали руки, чтобы толкнуть шаркием и поднести ко рту пивную кружку, они подсчитывали очки, дружески хлопали меня по плечу. «Ах да!», «Ах нет!», «О, прекрасно!», «Не повезло!» — раздавались возгласы статистов, а я между тем слышал, как комья земли стучали по крышке моего гроба. И где-то в будущем меня уже ждал предсмертный крик Эдит и последний взгляд светловолосого подмастерья столяра, брошенный им в предрасветном сумраке на тюремную стену.

Как-то вместе с женой и детьми я отправился в Киссаталь и с гордостью показал им творение своей юности; я навестил постаревшего настоятеля и на его лице увидел следы минувших лет, которых не замечал на своем; он угощал нас в комнате для гостей кофе и

пирожными, испеченными из собственной муки, с вареньем из слив, собранных в собственных садах, и сливками от собственных коров; моим сыновьям разрешили пройти на ту половину, где были кельи, а жена и хихикающие дочери остались ждать их; у меня было четверо сыновей и три дочери, всего семеро, эти семеро подарят мне семь раз по семь внуков. Настоятель улыбнулся: «Мы ведь теперь к тому же соседи».

Да, я приобрел обе усадьбы — Штелингерс-Гротте и Гёрлингерс-Штуль.

— Ах, Леонора, неужели это опять звонят из кафе «Кронер»? Но ведь я совершенно ясно сказал: шампанского не надо. Я ненавижу шампанское. А теперь вам пора отдохнуть, пожалуйста, милочка. Не закажете ли вы мне такси на два часа? Пусть подождет у ворот. Может быть, вас подвезти? Нет, я не поеду через Блессенфельд. Пожалуйста, если хотите, я могу вас доставить домой...

Он отвернулся от окна, служившего ему экраном, и вновь взглянул в мастерскую, где на стене все еще висел большой чертеж аббатства и носились клубы пыли, которую, несмотря на все старания, невольно подняли прилежные девичьи руки; Леонора усердно разбирала бумаги в сейфе, она протянула

Фемелю кучу банкнотов, обесцененных уже тридцать пять лет назад, а потом, качая головой, извлекла из-под спуда еще одну пачку денег, изъятых из обращения лет десять назад; она тщательно пересчитала на чертежном столе эти кредитки, которые показались Фемелю совсем незнакомыми, — десять, двадцать, восемьдесят, сто... всего там было тысяча двести двадцать марок.

— Бросьте их в огонь, Леонора, или, если угодно, подарите ребятишкам на улице эти фальшивые расписки, свидетельствующие о жульнической операции, с размахом проделанной тридцать пять лет назад и повторенной десять лет назад.

Деньги меня никогда не интересовали, тем не менее я слыл стяжателем, это было чистейшее заблуждение; начиная свою большую игру, я не думал о деньгах; и только когда я ее выиграл и приобрел популярность и богатство, мне стало ясно, что у меня есть все предпосылки для этого; я был энергичен, обходителен, прост в обращении, я служил музам и в то же время числился офицером запаса, я кое-чего добился в жизни, нажил состояние и все же был тем, что называется «парень из народа», и никогда не стеснялся этого; не ради денег, славы и женщин воплотил я в формулы алгебры будущего, превращая неизвестных «X», «Y» и «Z» в зримые величины — в усадьбы, банкно-

ты и власть, которые я щедро раздаривал, но которые всегда возвращались ко мне в удвоенном количестве; я был смеющимся Давидом, хрупким юношей, никогда не прибавлявшим и не убавлявшим в весе, мне и сейчас была бы впору моя лейтенантская форма, которую я не надевал с девяносто седьмого года. Глубоко поразило меня только непредвиденное, хотя как раз непредвиденного я более всего жаждал: любовь жены и смерть дочери Иоганны. Полторагодовалая девочка была вылитая Кильб, но когда я смотрел в ее детские глаза, мне чудилось, что я смотрю в глаза своего молчаливого отца, я видел в темной глубине ее зрачков извечную мудрость, глаза ребенка были, казалось, уже знакомы со смертью; скарлатина заполонила это маленькое тельце, подобно страшной сорной траве, она поднималась от бедер вверх, спускалась вниз к самым ступням, девочку сжигал жар; в ней разрасталась смерть, белая как снег, смерть росла подобно плесени под пылающей краснотой; смерть пожирала ее изнутри и выбивалась наружу из черных ноздрей — непредвиденное, то, чего я так жаждал, обернулось для меня проклятием, оно подстерегло меня в этом ужасном доме, где я вдруг затеял горячий спор со священником из Святого Северина, с тестем и тещей; я запретил пение на заупокойной службе, я настаивал на своем и сумел настоять, но во вре-

мя мессы я с испугом услышал, как Иоганна прошептала: «Христос».

Я никогда не произносил вслух этого имени, не осмеливался даже мысленно вымолвить его, и все же я знал: оно жило во мне, ничто не могло убить это имя, шепотом сказанное сейчас Иоганной, — ни четки Домгреве, ни пресные добродетели хозяйских дочерей, жаждавших заполучить себе мужа, ни махинации с исповедальнями шестнадцатого века, продававшимися на тайных аукционах за большие деньги, которые Домгреве снова превращал на курорте Локарно в мелкие грешки; это имя не могло убить ни мошеннические проделки ханжей-священников, проделки, коим я сам был свидетелем, ни их жалкие интрижки с совращенными девушками, ни необъяснимая жестокость моего отца, ни мои бесконечные блуждания в извечных пустынях горечи и отчаяния и в ледяных океанах будущего, где меня поддерживало одиночество, словно гигантский спасательный круг, и где моим единственным оружием был смех; это слово не убили во мне; я был Давидом, маленьким Давидом с пращой, а также Даниилом во рве со львами, готовым встретить непредвиденное — смерть Иоганны. Это случилось третьего сентября тысяча девятьсот девятого года; в то утро уланы, как всегда, скакали по брус-

чатке мостовой; по улице шли молочницы, мальчишки из пекарни и клирики в развевающихся сутанах; перед мясной Греца вывесили кабана; притворное огорчение отразилось на лице домашнего врача Кильбов, который вот уже сорок лет удостоверял рождения и смерти в этой семье; в его обвисшей кожаной сумке лежали бесполезные инструменты, с их помощью ему удавалось утаить от нас всю тщету своих усилий; врач прикрыл обезображенное тельце девочки, но я его снова открыл, я хотел видеть тело Лазаря и глаза моего отца, которые жили на лице этого ребенка всего лишь полтора года; рядом в спальне кричал Генрих; колокола на Святом Северине прозвонили к девятичасовой мессе, дробя время на множество осколков; сейчас Иоганне было бы уже пятьдесят лет.

— Военные займы, Леонора? На них я не подписывался; они достались мне по наследству от тестя. Бросьте их в огонь, как и старые деньги. Два ордена? Ну конечно, я же строил траншеи, прокладывал минные галереи, укрепляя артиллерийские позиции, стойко держался под ураганным огнем, вытаскивал с поля боя раненых; да, крест второй степени и первой степени, давай сюда эти штуковины. Леонора, дай их мне — мы бросим их в водосточную трубу, пусть их затянет тиной в сточной канаве; однажды, когда я стоял за чертеж-

ным столом, Отто вытащил их из шкафа; я слишком поздно заметил роковой блеск в глазах мальчика; он увидел ордена; и уважение, которое он питал ко мне, намного возросло; слишком поздно я все это заметил. Выбрось их по крайней мере сейчас, пусть хотя бы Йозеф не обнаружит их в моем наследстве.

Раздался легкий звон — Фемель бросил свои ордена, и они заскользили по покатой крыше к водосточной трубе, а оттуда скатились вниз в сточную канаву и легли оборотной стороной кверху.

— Почему вы так испугались, детка? Ведь это мои ордена, я могу с ними делать все что хочу; слишком поздно, но лучше поздно, чем никогда. Будем надеяться, что скоро пойдет дождь и вся грязь с крыши стечет в канаву; позднечко я принес их в жертву памяти моего отца. Да сгинут почести, что были возданы нашим отцам, дедам и прадедам.

Я мнил себя сильным, хотя вовсе им не был; я воплощал алгебру будущего в формулы, превращал ее в образы настоятелей, епископов, генералов и кельнеров, но все они были статистами, и только я один выступал соло, даже в пятницу вечером, когда пел в хоре ферейна «Немецкие голоса»: «Что там в лесу бле-

стит на солнце?..» Я хорошо пел эту песню, я научился петь у отца и, втайне посмеиваясь, выводил ее своим баритоном; дирижер, размахивающий дирижерской палочкой, не подозревал, что он подчинялся *моей* дирижерской палочке; все наперебой приглашали меня на всякие официальные торжества, предлагали заказы, смеясь, хлопали по плечу.

— Общество, молодой друг, — истинная улада жизни.

Мои седовласые коллеги пытались с кислым видом выпросить меня о том о сем, но я пел, и только; пел «Том-рифмоплет» с половины восьмого до десяти, ни минутой позже. Миф обо мне должен был возникнуть прежде, чем разразится скандал. «Цветная капуста не является скоропортящимся продуктом».

Я бродил с женой и детьми по Киссаталю; мальчики ловили форель; мы гуляли среди виноградников, среди нив и свекловичных полей, гуляли в рощах и пили пиво и лимонад на вокзале в Денклингене; и при всем том я знал, что лишь час назад отдал чертежи и получил взамен квитанцию; одиночество, подобно гигантскому спасательному кругу, все еще держало меня на поверхности, и я еще плыл по волнам времени, минутами погружаясь вглубь, переправлялся через океаны прошлого и настоящего и проникал в ледяной холод будуще-

го; одиночество не давало мне утонуть, смех был моим «неприкосновенным запасом», и я очень бережно расходовал его. Вынырнув на поверхность, я протирал глаза, выпивал стакан воды, съедал кусок хлеба и шел с сигарой к окну; там, в садике на крыше дома напротив, гуляла девушка, иногда она мелькала сквозь просветы в беседке или, стоя у перил, смотрела на улицу и видела там то же, что видел я: подмастерьев, грузовики, монахинь, жизнь, бьющую ключом; ей было двадцать лет — ее звали Иоганной, она читала «Коварство и любовь», я знал ее отца, и мне казалось, что грозный бас Кильба, который я слышал в певческом фереине, не соответствовал безупречной репутации его конторы, его бас не гарантировал секретности, о которой постоянно твердили конторским ученикам; бас Кильба нагонял на людей страх, в нем звучали тайные пороки. Знал ли он, что я женюсь на его единственной дочери? Что в тихие послеобеденные часы мы иногда улыбаемся друг другу? Что я уже думаю о ней с пылкостью законного жениха? Она была черноволосая и бледная; я запретил бы ей носить платья цвета резеды, зеленое пошло бы ей куда больше; во время своих прогулок я уже мысленно выбирал для нее платья и шляпы в витринах Гермины Горушки, мимо которых проходил каждый день в одно и то же время, без двадцати минут пять — и в дождь,

и в солнечные дни; надо излечить Иоганну от этого ее простодушия, не гармонирующего с голосом отца; я буду покупать ей великолепные шляпы величиной с колесо, из грубой зеленой соломки; нет, я не собирался стать ее повелителем, я хотел любить Иоганну; ждать уже осталось недолго. В воскресенье утром, запасшись букетом, я подъеду к ним в экипаже, приблизительно в половине двенадцатого, когда они закончат завтрак после торжественной мессы и мужчины перейдут в кабинет выпить рюмочку водки: «Я прошу руки вашей дочери». Каждый день после полудня, выплыв из океана времени, я подходил к этому окну, показывался ей, кланялся, мы улыбались друг другу, и я опять отступал назад в темноту, я здоровался отчасти и для того, чтобы она не думала, будто за ней никто не наблюдает; я не хотел сидеть у окна, подобно пауку в своей паутине; я считал неудобным следить за ней, когда она меня не видит, есть вещи, которых не делают.

Завтра она узнает, кто я. Это будет как гром среди ясного неба, Иоганна засмеется, а уже через год она будет счищать щеткой следы известки с моих брюк; когда мне минет сорок, пятьдесят, шестьдесят лет, она по-прежнему будет делать это, вместе со мной она достигнет преклонного возраста и превратится в очаровательную старую даму. Окончательно мое решение созрело тридцатого сентября тысяча

девятьсот седьмого года, днем, приблизительно в половине четвертого.

— Да, Леонора, заплатите, пожалуйста; деньги вон в той шкатулке, и дайте девушке две марки на чай, да, две марки — она принесла свитер и юбку от Гермины Горушки для моей внучки Рут, сегодня Рут должна вернуться в город; зеленый цвет ей особенно к лицу; как жаль, что молодые девушки не носят теперь шляп; я очень любил покупать шляпы. Такси заказано? Спасибо, Леонора. Вы хотите еще поработать? Воля ваша, конечно, отчасти это объясняется любопытством, ведь правда? Вам незачем краснеть; да, еще от одной чашечки кофе я не откажусь. Мне следовало бы узнать точно, когда кончатся каникулы. Но ведь Рут уже приехала? Мой сын вам ничего не говорил об этом? Надеюсь, он не забудет, что я пригласил его на мой сегодняшней праздник? Я распорядился, чтобы швейцар внизу, принимая цветы, телеграммы, подарки и визитные карточки, давал каждому посылочному по две марки на чай и говорил, что я в отъезде; выберите себе самый красивый букет, а то и два букета и возьмите их к себе домой; если это вам доставит удовольствие, можете остаться здесь хоть до самого вечера.

Чашка с только что налитым кофе больше не звенела, очевидно, на белых листах бумаги пере-

стали печатать назидательные сентенции или предвыборные плакаты, но картина в окне оставалась прежней; напротив, на крыше дома Кильбов, был виден опустевший садик, возле беседки росли поникшие настурции, позади виднелись очертания крыш, еще дальше — горы, а над ними сияющее небо; в этом окне я видел когда-то свою жену, потом своих детей, а также тестя и тещу, это случалось, когда я подымался в мастерскую, чтобы заглянуть через плечо в чертежи своих помощников — молодых прилежных архитекторов, проверить их расчеты, установить им сроки; к работе я относился с тем же безразличием, что и к слову «искусство»; другие делали ее не хуже меня; я хорошо платил им, я никогда не мог понять фанатиков, приносящих себя в жертву слову «искусство», я помогал им, посмеивался над ними, давал им работу, но не понимал их, я просто не мог этого постичь. Я постиг только то, что называется «ремеслом», хотя меня и считали служителем муз, мною восхищались именно как художником; мне могут возразить: разве вилла, которую я построил для Гральдуке, не была по-настоящему смелой и современной? Да, она была такой, даже мои коллеги по искусству восхищались ею, хвалили ее, но, несмотря на то что я спроектировал и построил эту виллу, я все так же не мог взять в толк, что такое искусство; они принимали это слово слишком всерьез, может быть, потому, что слишком много знали об ис-

кусстве, что не мешало им самим строить мерзейшие коробки. Я уже тогда понимал, что лет через десять эти коробки не будут вызывать ничего, кроме отвращения; зато сам я мог иногда, засучив рукава, стать за этот вот чертежный стол и спроектировать, к примеру, административное здание для общества «Все для общего блага», да так спроектировать, что дураки, считавшие меня жадным до денег выскочкой, деревенским олухом, только диву давались; я и по сей день не стыжусь этого здания, построенного сорок шесть лет назад; что это, искусство? Пусть будет так, я никогда не знал, что такое искусство, быть может, создавал его, сам того не ведая, никогда не принимая его всерьез; мне была непонятна и ярость трех корифеев, которые готовы были растерзать меня. Боже ты мой, неужели нельзя позволить себе шутку, почему эти Голиафы совершенно лишены чувства юмора? Они верили в искусство, а я нет; они считали, что их честь пострадала из-за человека без роду и племени. Но ведь все люди были когда-то без роду и племени, разве нет? Я открыто смеялся над ними, я поставил их в такое положение, что даже мой провал показался бы победой, а уж мой успех — настоящим триумфом.

Поднимаясь вместе со всеми по лестнице в музей, я чувствовал что-то вроде сострадания к своим противникам. Я с трудом приноровил

свой шаг к той торжественной поступи, к которой уже приучили себя эти уязвленные мною господа; таким шагом шествуют люди, поднимаясь по ступеням собора в свите королей и епископов или на церемонии открытия памятников; шаг этих господ выражал подобающую случаю взволнованность, они шли не слишком медленно и не слишком быстро, они знали, чего требует их достоинство, а я не знал; я бы с удовольствием взлетел на лестницу по каменным ступенькам, как молодой пес, пробежал бы мимо статуй римских легионеров со сломанными мечами, копьями и пучками прутьев, напоминающими факелы, мимо бюстов цезарей и слепков с детских гробниц, вверх по лестнице на второй этаж, туда, где между залом голландцев и залом назарейцев находился конференц-зал; какой серьезный вид умеют напускать на себя бюргеры, казалось, где-то на заднем плане вот-вот забьют барабаны; с таким видом поднимаются на ступени алтаря и на ступени эшафота, всходят на возвышения, чтобы получить орден на шею или выслушать смертный приговор; с таким видом актеры на любительских спектаклях изображают торжественные церемонии, однако Бремеккель, Грумпетер и Воллерзайн, которые шли рядом со мной, были не любители, а профессионалы.

Музейные стражи в парадных ливреях смущенно переминались перед Рембрандтом, Ван

Дейком и Овербеком; сзади, у мраморных перил, в полумраке я заметил Мезера; стоя перед входом в конференц-зал, он держал наготове серебряный поднос с рюмками коньяка, чтобы предложить нам подкрепиться перед объявлением решения. Мезер ухмыльнулся, мы с ним ни о чем не улаживались, но он все же мог бы подать мне знак: кивнуть или покачать головой — да или нет. Но он этого не сделал. Бремоккель шептался с Воллерзайном, Грумпетер заговорил с Мезером и сунул серебряную монетку в его грубые руки, которые я с детства ненавидел; целый год мы вместе с ним прислуживали во время ранней мессы; где-то позади бормотали старухи крестьянки, они упорно молились не в лад со священником, перебирая свои четки. Пахло сеном, молоком, теплом хлева, и когда мы с Мезером клали поклоны, чтобы при словах «*теа сипра, теа сипра, теа тахита сипра*» ударить себя в грудь и повиниться в своих тайных прегрешениях, пока священник поднимался по ступенькам алтаря, Мезер этими самыми руками, которые сжимали теперь серебряную монетку Воллерзайна, делал непристойные жесты; и вот сейчас этим рукам были доверены ключи городского музея, где хранились полотна Гольбейна, Гальса, Лохнера и Лейбля.

Со мной никто не заговаривал, и мне осталось только прислониться к холодной

мраморной балюстраде; я заглянул вниз, во внутренний дворик, и увидел бронзового бургомистра, с несокрушимой серьезностью выставлявшего свое брюхо навстречу бегущим столетиям, и мраморного мецената, который в тщетном стремлении казаться глубокомысленным прикрыл веками свои лягушачьи глаза; глаза памятника были пустые, как глаза мраморных римских матрон, свидетельствующие об ущербности поздней культуры древних. Шаркая ногами, Мезер перешел на противоположную сторону к своим коллегам. Бремоккель, Грумпетер и Воллерзайн стояли вплотную друг к другу. Над внутренним двориком виднелось холодное и ясное декабрьское небо; на улице уже горланили пьяные, экипажи катились по направлению к театру, под вуалями цвета резеды улыбались нежные женские личики в предвкушении музыки «Травиаты»; я стоял между Мезером и тремя обиженными корифеями; казалось, я был прокаженным, прикосновение к которому грозило смертью; я тосковал по строгому, раз и навсегда заведенному мною распорядку дня, когда я сам держал в руках все нити игры, когда от меня зависело, прийти сюда или не прийти, когда я еще мог управлять мифом о себе; теперь игра вышла из-под моего контроля; сенсация... слухи... в мою мастерскую уже приходил настоятель, подрядчики посылали мне корзин-

ки со съестным и золотые карманные часы в красных бархатных футлярах, один из них написал мне: «...я был бы счастлив отдать Вам руку моей дочери...» «И правая их рука полна подношений!»

Я бы не принял от них ничего, даже самой малости, — я полюбил настоятеля. Неужели я хотя бы на секунду мог помыслить о том, чтобы воспользоваться в его присутствии трюком Домгреве? Я краснел от стыда, вспоминая о том, что было мгновение, когда у меня мелькнула такая мысль, но непредвиденное свершилось, я полюбил Иоганну — дочь Кильба, и полюбил настоятеля; я бы уже мог подъехать к дому Кильбов в половине двенадцатого, отдать букет цветов и сказать: «Прошу руки вашей дочери», и Иоганна вошла бы и, сделав мне знак глазами, произнесла бы свое «да» не чуть слышно, а совершенно отчетливо. Я по-прежнему прогуливался от пяти до шести, по-прежнему играл в бильярд в клубе офицеров запаса, и мой смех, который я теперь расточал не жалея, стал уверенней с тех пор, как я понял, что Иоганна подаст мне знак; я все еще пел по пятницам «Том-рифмоплет» в певческом ферейне.

Медленно двинулся я вдоль холодной мраморной балюстрады к трем обиженным и поставил на поднос пустую рюмку. Неужели они отшатнутся от меня, как от прокаженного?

Они не отшатнулись, быть может, они ждали, чтобы я смиренно приблизился к ним.

— Разрешите представиться: Фемель.

О боже, разве я один был без роду и племени и разве в молодые годы швейцарец Грумпетер не доил коров у графа фон Тельма и не вывозил на тачке коровий навоз на вспаханные дымящиеся поля, пока ему не открылось его истинное призвание? Клеймо незнатного происхождения снимают на берегах Лаго-Маджоре и в садах Минузио, там облагораживают даже пройдох-подрядчиков, которые покупают на слом старинные романские церкви вместе со всем церковным инвентарем, вместе с мадоннами и скамьями, чтобы украсить ими салоны новых и старых богачей. Кресла, сидя в которых простодушные крестьяне исповедовались на протяжении трехсот лет, шепотом сознаваясь в своих прегрешениях, переключиваются в гостинные кокоток. Этого рода болезнь исцеляют также в охотничьих домиках и в Бад-Эмсе.

В тот момент, когда открылась дверь в конференц-зал, убийственно серьезные лица обиженных как бы окаменели; в зале показалась чья-то темная фигура, потом она обрела очертания и краски; первым вышел в коридор член жюри Хубрих, профессор истории искусств богословского факультета, тот, кто сказал «только через мой труп»; при этом освеще-

нии его черный суконный сюртук походил на сюртуки рембрандтовских синдиков; Хубрих подошел к Мезеру и взял с подноса рюмку коньяку, я слышал, что из его груди вырвался глубокий вздох; когда трое обиженных хотели броситься к нему, он прошел мимо них в самый конец коридора; белый шарф смягчал строгость его священнического одеяния, а белые локоны, ниспадавшие, как у детей, до самого воротника, усиливали впечатление, которое Хубрих хотел произвести, — впечатление служителя муз. Его нетрудно было представить себе с резцом и деревянной дощечкой в руках, с тоненькой кисточкой, обмакнутой в золотую краску, смиренно склонившегося над картиной и выписывающего волосы мадонн, бороды апостолов или забавную закорючку на хвостике собаки Товии. Башмаки Хубриха тихо скользили по линолеуму; устало махнув рукой обиженным, он двинулся в темный конец коридора, к Рембрандту и Ван Дейку; так вот на чьи узкие плечи была возложена ответственность за церкви, больницы и дома призрения, в которых еще лет через сто монахиням и вдовам, трудновоспитуемым сиротам, беднякам, пользующимся бесплатной медицинской помощью, и падшим женщинам придется вдыхать запахи кухни, оставшиеся от уже исчезнувших поколений; они будут бродить по темным переходам, глядеть на безра-

достные стены зданий, которые от мрачной мозаики покажутся еще безрадостней, чем это предусматривалось по проекту архитектора; таков был этот *praeseptor et arbiter architecturae ecclesiasticae**, уже в течение сорока лет с пылом, пафосом и слепым ожесточением ратовавший за неоготику; Хубрих решил осчастливить человечество и оставить след на земле, еще будучи мальчишкой, пробегая по пустынным предместьям родного фабричного города, мимо дымящихся труб и закопченных зданий и принося домой свои отличные отметки; и он действительно оставит на земле след, красноватый след кирпичных фасадов, с годами все более тусклых, мрачных фасадов, в нишах которых угрюмые святые с унылой несокрушимостью смотрят в будущее.

Мезер предупредительно поднес рюмку коньяку второму члену жюри — сангвинику Кролю. У Кроля было красное лицо любителя дорогих сигар и крепких напитков, лицо человека, обжиряющегося мясом; при всем том Кроль сохранил стройную фигуру; этот член жюри бессменно занимал пост главного архитектора Святого Северина. Голубиный помет и паровозный дым, облака с востока, приносящие с собой ядовитые химические испарения, и резкие сырые ветры с запада, южное

* Наставник и судья церковной архитектуры (*лат.*).

солнце и северная стужа — все эти силы природы и индустрии гарантировали Кролю и его преемникам пожизненный заработок; Кролю было сорок пять лет, еще лет двадцать он будет пользоваться всем тем, что он так любит, — едой, выпивкой, сигарами, лошадьми и девицами особого склада; таких девиц можно встретить неподалеку от скаковых конюшен, с ними знакомятся во время охоты на лисиц, они напоминают крепко сбитых амазонок и даже пахнут, как мужчины.

Я хорошо изучил повадки своих противников; абсолютное равнодушие к проблемам архитектуры Кроль прикрывал изысканной учтивостью, китайскими церемониями, благочестивыми манерами, перенятыми от епископов; жесты Кроля были жестами человека, открывающего памятники; Кроль знал также несколько отличных анекдотов, которые он постоянно рассказывал в определенной последовательности; в двадцать два года он выучил наизусть «Справочник архитектора» Хандке и уже тогда решил всю жизнь извлекать пользу из этого своего подвига; когда Кролю требовалось применить какой-нибудь архитектурный термин, он неизменно цитировал «бессмертного Хандке»; на заседаниях жюри Кроль цинично отстаивал тот проект, автор которого посулил ему наибольшую взятку, но когда он замечал, что проект не имеет шансов

на успех, то переходил на сторону вероятного победителя, да и вообще Кроль во всех случаях жизни предпочитал говорить «да», а не «нет», и не только потому, что в слове «да» две, а в слове «нет» три буквы и слово «нет» обладает прискорбным недостатком — его нельзя произнести только с помощью языка, надо напрягать еще заднее нёбо, — но и потому, что при слове «нет» следует делать решительную мину, в то время как слово «да» не требует всех этих усилий; Кроль тоже вздохнул, тоже покачал головой и, обойдя трех обиженных, отправился в противоположную сторону, к залу назарейцев.

Несколько секунд в светлом четырехугольнике двери был виден стол, покрытый зеленым сукном, графин с водой, пепельница и клубы голубоватого дыма от сигары Кроля; там внутри царила тишина, не слышалось даже шепота, в воздухе пахло смертными приговорами, здесь рождалась вражда, которая будет тянуться до гроба; перед Хубрихом стояла дилемма: либо сохранить честь, либо потерять ее, а он, еще будучи гимназистом пятого класса, поклялся не навлекать позора на свою голову; и вот теперь ему грозило страшное унижение — признаться архиепископу, что его побили. «Ну а как же ваш труд, Хубрих?» — спросит его насмешливый князь церкви. Для Кроля на карту была поставлена вилла на озере Комо, которую посулил ему Бремоккель.

По рядам служителей пробежал ропот, Мезер свистящим шепотом призвал к тишине; в дверях показался Швебрингер, он был маленького роста, хрупкий, как я, и не только слыл неподкупным, но действительно был им; Швебрингер носил потертые бриджи и заштопанные чулки; его бритый череп отливал синевой; глаза, похожие на изюминки, улыбались; этот член жюри являлся представителем денег, он управлял фондами всей нации; Швебрингер представлял промышленников и короля и вместе с тем приказчика, вложившего десять пфеннигов в ценные бумаги, или старушку, рискнувшую тридцатью пфеннигами. Швебрингер открывал счета, выписывал чеки, контролировал банковские книги, с кислой миной утверждал авансы. Швебрингер был выкрестом, втайне он питал страсть к барокко, любил парящих ангелов, позолоченные хоры, резную церковную мебель, белые полированные амвоны, запах ладана и церковное пение. Швебрингер — это была сила, консорциумы банков подчинялись ему, как шлагбаумы стрелочнику, он определял биржевые курсы, командовал стальными концернами; при всем том у этого человека с жесткими, темными, похожими на изюминки глазами был такой вид, словно он безуспешно перепробовал всевозможные слабительные и теперь ждет, чтобы нашли настоящее, действительно эффек-

тивное средство; Швеврингер взял рюмку коньяку, но не бросил на поднос мелочь на чай; он стоял всего в двух шагах от меня; в своих бриджах и заштопанных чулках он походил на профессионального велогонщика, потерпевшего аварию; внезапно Швеврингер взглянул на меня, улыбнулся, отдал пустую рюмку и отправился в зал голландцев, где уже раньше скрылся Хубрих; и Швеврингер тоже не удостоил троих обиженных ни единым словом.

Из конференц-зала донесся шепот: должно быть, настоятель заговорил с Гральдуке; нам по-прежнему ничего не было видно, кроме зеленого стола, пепельницы, графина с водой; казнь отложили, но атмосфера оставалась накаленной, вероятно, судьбы все еще не пришли к единому мнению.

Гральдуке вышел, взял у Мезера с подноса две рюмки и, постояв секунду в нерешительности, бросил взгляд в ту сторону, куда раньше отправился Кроль; Гральдуке был высокий, грузный человек, куда более скромный, чем можно было предположить, судя по мешкам у него под глазами; Гральдуке являлся представителем права, он следил за юридической стороной процедуры голосования, вел протоколы. В свое время Гральдуке сам чуть было не стал монахом; два года подряд он пел грегорианскую литургию, к которой еще и сейчас питал слабость, а потом вернулся к мирской жизни

и женился на писаной красавице, родившей ему пять дочерей — тоже писаных красавиц; теперь он был обер-президентом целой области. Гральдуке вводил во владение участками, тяжелым, кропотливым трудом высвобождал поля и пастбища от налоговых пут, уламывая упрямых бургомистров, добивался лицензий на рыбную ловлю в жалких лужах, реализовывал закладные, улаживал конфликты с банками и страховыми обществами.

Гральдуке медленно направился обратно в конференц-зал; тонкая рука настоятеля сделала Мезеру знак войти; тот на полминуты исчез за дверью, потом снова появился и крикнул на весь коридор:

— Господа, члены жюри, мне поручено сообщить вам, что перерыв кончился.

Первым вышел из зала, где висели назарейцы, Кроль, на его лице уже ясно читалось «да»; потом из зала, где висели голландцы, появился Швебрингер и быстро прошел к остальным; следом за ним бледный, с убитым видом тащился Хубрих, проходя мимо трех обиженных, он покачал головой. Мезер закрыл за ним дверь; он посмотрел на свой поднос, где стояло девять пустых рюмок, и пренебрежительно побренчал мелочью; я подошел к нему и бросил на поднос талер — раздался громкий, неожиданно резкий звук; трое обиженных в испуге оглянулись; Мезер ухмыль-

нулся, приложил в знак благодарности руку к козырьку и шепнул мне:

— А ведь твой отец был всего-навсего рехнувшийся регент.

На улице уже не слышно было грохота пролетов, «Травиата» началась; ряды музейных служителей застыли между легионерами и матронами, между обломками колонн древних храмов. Гам ворвался в прохладу тихого вечера, подобно теплomu дуновению; газетчики смяли первого служителя, и вот уже второй служитель беспомощно поднял руки, а третий взглянул на Мезера, который свистящим шепотом призывал к тишине; молодой журналист, незаметно прошмыгнувший мимо Мезера, подошел ко мне, вытер нос рукавом и тихо сказал:

— Победа явно на вашей стороне.

Два более почтенных представителя прессы ждали поодаль; оба в черных шляпах, бородатые, оба одуревшие от душещипательных виршей. Эти газетчики удерживали недостойную журналистскую чернь — девушку в очках и тощего социалиста, но тут настоятель распахнул дверь, подошел ко мне, запыхавшись как мальчишка, и обнял меня; чей-то голос прокричал: «Фемель! Фемель!»

Внизу раздался шум; через десять минут после того как перестал сотрясаться подоконник, работницы, смеясь и переговариваясь,

потянулись из ворот; их ждал отдых, у них были гордые чувственные лица; в этот теплый осенний день трава у кладбищенской стены была бы особенно пахучей; сегодня Грецу не удалось сбить с рук кабанью тушу; окровавленная морда кабана казалась темной и сухой; в рамке окна был виден садик на крыше дома напротив: белый стол, зеленая деревянная скамья, беседка с поникшими настурциями; возможно, когда-нибудь там будут прогуливаться дети Йозефа и дети Рут и читать «Коварство и любовь». Гулял ли там Роберт? Нет, Роберт либо сидел у себя в комнате, либо тренировался в парках; для тех видов спорта, которыми занимался Роберт, — для лапты и бега на сто метров — садик на крыше был слишком мал.

Роберта я всегда немножко побаивался, ожидая от него чего-то необыкновенного; меня несколько не удивило, когда тот юноша с опущенными плечами забрал его в качестве заложника, хотелось бы только знать, как звали мальчика, который бросал к нам в почтовый ящик крохотные записочки от Роберта; так я этого никогда и не узнал. Иоганне тоже не удалось выпытать его имя у Дрёшера; памятник, который они когда-нибудь воздвигнут мне, следовало бы поставить этому мальчику; у меня не хватило решимости выгнать Неттлингера и запретить Вакере переступить порог

комнаты Отто; это они принесли в мой дом «причастие буйвола», превратили моего любимца, того самого малыша, которого я таскал с собой на стройки, с которым лазил по лесам, в чужого человека... Такси? Такси?... Быть может, пришлют ту же машину, на какой я ехал с Иоганной в тысяча девятьсот тридцать шестом году, направляясь к «Якорю» в Верхней гавани, или, быть может, я отвозил ее на этой машине в денклингенскую лечебницу? А может, я ездил на ней в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году в Кисслинген с Йозефом, чтобы показать ему строительство, где он, мой внук, сын Роберта и Эдит, должен будет заменить меня? Аббатство разрушили, на его месте высилась беспорядочная груда камней, щебня, известки; разумеется, Бремоккель, Грумпетер и Воллерзайн торжествовали бы, зато я не торжествовал; в тысяча девятьсот сорок пятом году я увидел эту груду развалин и задумался, хотя был спокойнее, чем, по-видимому, ожидали монахи. Чего они, собственно, хотели от меня: слез, возмущения?

— Мы разыщем виновного.

— Зачем? — спросил я. — Оставьте его в покое.

Я отдал бы двести аббатств за то, чтобы вернуть Эдит, Отто или незнакомого мальчика, который бросал записки к нам в почтовый ящик и так жестоко поплатился за это;

но если такая сделка и не могла состояться, я был рад отдать хоть что-то — пусть «творение моей юности» станет грудой развалин. Мысленно я приносил его в жертву Отто, Эдит, тому мальчику и подмастерью столяра, хотя знал, что им уже ничто не поможет, ведь они умерли. Наверное, эта груда обломков была тем непредвиденным, к которому я так страстно стремился. Монахи дивились моей улыбке, а я дивился их возмущению.

— Такси уже здесь? Иду, Леонора! Помните, что я вас пригласил к девяти часам в кафе «Кронер» на мой день рождения. Шампанского не будет, я ненавижу шампанское. Возьмите у швейцара цветы, коробки сигар и поздравительные телеграммы и не забудьте, милочка, что я просил вас плюнуть на мой памятник.

В сверхурочные часы они печатали на белых листах бумаги предвыборные плакаты; плакаты были навалены по всем коридорам и на лестнице; пачки складывали до самой его двери; каждая пачка была обклеена плакатом того же образца, изображенные на них безукоризненно одетые холеные господа улыбались ему в лицо; даже на плакатах было видно, что эти господа шили себе костюмы из первосортного сукна, с плакатов зывали бюргеры с серьезными лицами и бюргеры улыбающиеся,

они внушали доверие и будили надежду; среди них были молодые и старые, и молодые казались ему ужаснее старых.

Старый Фемель отмахнулся от швейцара, который приглашал его в свою каморку полюбоваться роскошными букетами и подарками и распечатать телеграммы: он сел в такси, дверцу которого открыл шофер.

— В Денклинген, пожалуйста, в лечебницу, — тихо сказал он.

5

Голубое небо, крашенная стена, обсаженная тополями, тени тополей сперва поднимаются кверху, словно ступеньки, а потом спускаются вниз, к площадке перед домом, где привратник сгребает листья в яму с компостом; стена была слишком высокая, а расстояние между ступеньками слишком большое; чтобы пройти от одной до другой, ему пришлось бы сделать шага три-четыре. Осторожно! Почему желтый автобус взобрался так высоко на гору, почему он ползет, как жук, ведь он привез сегодня всего одного пассажира — его. Так это он? Кто он? Лучше бы он карабкался по перекладинам, перебираясь с одной на другую. Но нет! Всегда надо ходить прямо, не сгибаясь, не унижая своего достоинства. Он всегда так и ходил;

только в церкви и на стартовой дорожке он опускался на колени. Так это он? Кто он?

На деревьях в саду и в Блессенфельдском парке были развешаны таблички с аккуратно выписанными цифрами: «25», «50», «75», «100»; на старте он опускался на колени, вполголоса говорил себе: «Приготовься, давай!» — бежал, потом, замедлив темп, возвращался, смотрел на секундомер, записывал время в толстую тетрадь в пестрой обложке, лежавшую на каменном столе, снова становился на старт, вполголоса произносил команду и бежал; каждый раз он понемногу увеличивал пройденную дистанцию; зачастую ему страшно долго не удавалось выйти за цифру «25», еще больше времени проходило, прежде чем он достигал «50», но напоследок он преодолевал всю дистанцию до «100» и записывал в тетрадку время — одиннадцать и две десятых секунды. Это напоминало фугу — размеренную и волнующую; но временами становилось ужасно скучным, словно в эти летние дни в саду или в Блессенфельдском парке разверзалась зияющая бесконечность; старт — возвращение; старт — небольшое ускорение темпа и возвращение; и даже те минуты, когда он сидел рядом с ней, поясняя и комментируя цифры в тетради и расхваливая свою систему, казались ей одновременно волнующими и скучными; его тренировки были слишком

фанатичными, его крепкое и стройное юношеское тело пахло тем истовым потом, каким пахнут мальчишки, еще не познавшие любви; так пахли ее братья Бруно и Фридрих, когда они слезали со своих велосипедов на высоких колесах и думали только о километрах и о минутах; с той же одержимостью проделывали они в саду сложные упражнения, чтобы расслабить мускулы ног; так пахло и от ее отца, когда он пел, с важным видом выпячивая грудь; дыхание они тоже превратили в спортивное упражнение; пение было для них не просто удовольствием — эти усатые бюргеры отдавались пению со всей серьезностью, пели истово, истово ездили на велосипедах, даже к мускулам они относились истово, к мускулам груди, мускулам ног, мускулам рта; судороги вычерчивали у них на коже ног и щек отвратительные лиловые зигзаги, похожие на молнии; в холодные осенние ночи они часами простаивали на ногах, чтобы подстрелить зайцев, которые прятались среди капустных кочерыжек, и только на рассвете, сжавшись над своими затекшими мускулами, решали поразмяться и бегали взад и вперед под морозящим дождем. «Зачемзачемзачем?» Куда делся тот, кто носил в себе смех, словно скрытую пружину в скрытом часовом механизме, тот, кто умел смягчить нестерпимое напряжение и вызвать разрядку; единственный, кто не принял

«причастие буйвола»? Она смеялась и читала в беседке «Коварство и любовь», перегнувшись через перила, она видела, как он выходит из ворот типографии; своим легким шагом он направлялся в кафе «Кронер»; он носил в себе смех, словно скрытую пружинку. Был ли он ее жертвой, или она стала его жертвой?

Осторожно! Осторожно! Почему ты всегда держишься так прямо и никогда не гнешься? Один неосторожный шаг, и ты полетишь в синюю бесконечность и разобьешься о бетонные стены ямы с компостом; сухие листья не смягчат удара, а гранитная облицовка лестницы — далеко не подушка. Так это он? Кто он? Привратник Хупертс смиренно встал в дверях.

— Что прикажете подать вашему гостю: чай, кофе, пиво, вино или коньяк?

Обождите секунду; будь это Фридрих, он прискакал бы верхом, он ни за что не сел бы в желтый автобус, который, как жук, пополз обратно вдоль стены, а Бруно никогда не ходил без трости; тростью он убивал время, рубил его на части, разбивал вдребезги; он рассекал время тростью или картами, кидая их все ночи напролет, все дни напролет, словно клинки; Фридрих прискакал бы верхом, а Бруно никогда бы не приехал без трости; значит, не надо ни коньяка для Фридриха, ни вина для Бруно; они пали под Эрби-ле-Юэтт; два без-

рассудных улана помчались прямо под пулеметный огонь; они надеялись, что бюргерские пороки избавят их от бюргерских добродетелей; скабрёзными анекдотами хотели они погасить свое ревностное благочестие, но голые балетные крысы, плясавшие в клубе на столах, вовсе не оскорбили памяти их почтенных предков, ведь и предки были далеко не такие почтенные, какими кажутся в портретной галерее. Коньяк и вино, милый Хупертс, вы можете навсегда вычеркнуть из карты напитков. Пиво? Походка Отто была не столь упругой, в ней слышался маршевый ритм, его башмаки выстукивали на каменных плитках лестницы слово «враг, враг»; и потом, когда он спускался вниз по Модестгассе, печатая шаг по мостовой, слышалось то же слово «враг»; уже в раннем возрасте он принял «причастие буйвола», или, может, его брат, умирая, завещал Отто имя Гинденбурга? Отто родился через две недели после смерти Генриха и погиб под Киевом; я не хочу больше себя обманывать, Хупертс, все они умерли: Бруно, Фридрих, Отто и Эдит, Иоганна и Генрих.

Кофе тоже не потребуется; пришел не тот, чей затаенный смех я угадывала в каждом его шаге, тот старше; принеси чаю, Хупертс, свежего, крепкого чаю с молоком, но без сахара, чаю для моего негнущегося и несгибаемого сына Роберта, который жить не может без тайн,

и сейчас он тоже хранит в своей груди тайну; его били, ему искромсали всю спину, но он не согнулся, никого не выдал, не предал моего двоюродного брата Георга, который приготовил ему в аптеке черный порох; повиснув между двумя стремянками, он сейчас спускается с перекладины на перекладину, парит в воздухе, раскинув руки, как Икар; Роберт направляется сюда; и он не упадет в яму с компостом, не разобьется о гранит. Подайте нам чаю, милый Хупертс, свежего крепкого чаю с молоком, но без сахара, и сигареты тоже, пожалуйста, для моего архангела; мой архангел приносил мне мрачные вести, пахнувшие кровью, мстью и мятежом; они убили того светловолосого мальчика; сто метров он пробегал за десять и девять десятых секунды; я всегда видела его смеющимся, но видела всего три раза, у него были ловкие руки, он починил крохотный замочек в моей шкатулке для драгоценностей; столяр и слесарь бились над этим замком лет сорок, и все без толку, а он только дотронулся — и сразу исправил; тот мальчик был не архангелом, а просто ангелом; его звали Ферди, у него были светлые волосы; этот дурачок думал, что людей, принявших «причастие буйвола», можно победить хлопущками; Ферди не пил ни чая, ни вина, ни пива, ни кофе, ни коньяка, он припадал губами к водопроводному крану и смеялся; если бы Ферди был жив, он достал

бы мне ружье, или тот, другой, темноволосый ангел, которому запретили смеяться, — тот бы тоже достал; это был брат Эдит; его фамилия была Шрелла, и он принадлежал к числу людей, которых никогда не зовут по имени; Ферди достал бы, он заплатил бы за меня выкуп, с оружием в руках освободил бы меня из заколдованного замка, но его нет, и я так и останусь заколдованной; выбраться отсюда можно только по гигантским стремянкам; вот мой сын спускается ко мне.

— Добрый день, Роберт, ты ведь выпьешь чаю? Не пугайся, дай я поцелую тебя в щеку; у тебя вид мужчины лет сорока, седина на висках, узкие брюки и бирюзовый, как небо, жилет, не слишком ли он бросается в глаза? Пожалуй, это правильно, что ты загримировался под господина средних лет, ты теперь похож на начальника, чьи подчиненные были бы рады услышать, как он кашляет, но он считает, что кашлять — ниже его достоинства; прости, что я смеюсь; какие искусники нынешние парикмахеры, твоя седина совсем как настоящая, а подбородок у тебя щетинистый, как у человека, который бреется только раз в день, хотя ему следовало бы бриться два раза; ловко сделано, только красный шрам остался

прежним; как бы он тебя не выдал; нет ли и тут какого-нибудь средства?

Не бойся, меня они не тронули, плеть осталась висеть на стене, они только спросили:

— Когда вы видели его в последний раз?

И я сказала им правду:

— Утром, он шел тогда к трамвайной остановке, чтобы поехать в гимназию.

— Но ведь в гимназию он так и не явился.

Я промолчала.

— Он пытался установить с вами связь?

И я опять сказала правду:

— Нет, не пытался.

Ты оставлял слишком много следов, Роберт; какая-то женщина из барачков у гравийного карьера принесла мне книгу с твоей фамилией и нашим адресом; это был Овидий в серо-зеленом картонном переплете, испачканном куриным пометом, а твою хрестоматию, в которой не хватало одной страницы, нашли в пяти километрах от этого места, ее принесла мне кассирша из кино: она пришла в контору, выдав себя за нашу клиентку, и Йозеф привел ее ко мне наверх.

Через неделю они опять принялись за свое:

— Вы установили с ним связь?

Я ответила «нет», потом пришел этот Неттлингер, который раньше так часто пользовался моим гостеприимством, и сказал:

— В ваших же собственных интересах говорить правду.

Но ведь я и так говорила правду; теперь я поняла, что тебе удалось бежать.

Долгие месяцы мы о тебе ничего не слышали, мальчик, а потом пришла Эдит и сообщила:

— Я жду ребенка.

Я испугалась, когда она сказала:

— Господь меня благословил.

Голос Эдит внушал мне страх; прости, я никогда не любила сектантов, но девушка была беременна, и она осталась одна; ее отца арестовали, брат скрылся, ты бежал, сама она две недели просидела в тюрьме, ее там допрашивали, нет, они ее не тронули; как легко оказалось рассеять нескольких агнцев, остался только один агнец — Эдит; я взяла ее к себе. По-видимому, дети, ваше безрассудство было угодно Богу, но вы по крайней мере должны были убить Вакеру, сейчас он стал полицей-президентом, Боже избави нас от уцелевших мучителей, таких, как Вакера; учитель гимнастики, ныне полицей-президент, разъезжает по городу на белом коне и лично руководит облавами на нищих. Почему вы его не убили — но, спрашивается, чем? Порохом в картонной обертке? Хлопушками не убивают, мальчик. Почему вы не спросили меня? Смерть заключают только в металл: в медную

гильзу, в свинец, в железо; ее несут металлические осколки, со свистом разрезая воздух по ночам, они, словно град, падают на крышу, с треском ударяют в беседку, летают по воздуху, как дикие птицы; «Дикие гуси с шумом несутся сквозь ночь»; они кидаются на агнцев; Эдит умерла; незадолго до этого я велела объявить ее сумасшедшей; заключение написали три знаменитых врача своими аристократически-неразборчивыми почерками на бланках с внушительным штампом; это спасло тогда Эдит. Прости, что я смеюсь: ну и агнец, в семнадцать лет она уже родила своего первенца, а в девятнадцать — второго ребенка, при этом с ее уст всегда были готовы сорваться слова: «Господь сделал это», «Господь сделал то», «Господь дал», «Господь взял»; все Господь и Господь! Она не знала, что Господь — брат наш, с братом можно спокойно шутить, а с господами — далеко не всегда; я и не предполагала, что дикие гуси губят агнцев, я думала, это мирные травоядные. Эдит лежала вот здесь; казалось, ожил наш фамильный герб — овечка, из груди которой бьет струя крови, — но никто не пришел ей поклониться, никто не стоял над ее гробом: ни великомученики, ни кардиналы, ни отшельники, ни рыцари, ни святые, только я одна. Да, она умерла, но не горюй, мой мальчик, старайся улыбаться, я старалась, правда, у меня это получалось не всегда, осо-

бенно с Генрихом. Вы играли вместе, он нацеплял на тебя саблю, нахлобучивал тебе на голову каску, ты должен был изображать то француза, то русского, то англичанина. Генрих был тихий мальчик, но он все напевал: «Хочу ружье, хочу ружье»; умирая, он прошептал мне этот их ужасный пароль — имя священного буйвола «Гинденбург». Он хотел выучить наизусть стихотворение о Гинденбурге, он всегда был вежливым и послушным мальчуганом, а я взяла и разорвала листок, и клочки бумаги посыпались, словно снежные хлопья, на Модестгассе.

Пей же, Роберт, чай остынет, вот сигареты, сядь ко мне поближе, мне придется говорить совсем тихо, никто не должен нас слышать, и уж во всяком случае не отец, он суший ребенок, отец не знает, сколько в мире зла и как мало на свете чистых душ; а у него у самого душа чистая, тише, на его душе не должно быть ни пятнышка; послушай, ты можешь мне помочь; я хочу ружье, я хочу ружье, и ты мне его достанешь; с крыши легко попасть в полицай-президента, вся наша беседка в дырах; когда он поедет мимо отеля «Принц Генрих» на своем белом коне и свернет за угол, у меня будет достаточно времени, чтобы спокойно прицелиться; надо сделать глубокий вдох — где-то я читала об этом, — и затем прицелиться и нажать на спусковой крючок; я прорепетировала

это с тростью Бруно; пока он завернет за угол, в моем распоряжении две с половиной минуты, не знаю только, удастся ли мне застрелить и того и другого. Когда первый упадет с лошади, поднимется суматоха, и мне уже не дадут еще раз сделать глубокий вдох, не дадут прицелиться и нажать на спусковой крючок; надо только решить, в кого стрелять — в учителя гимнастики или в этого Неттлингера; он ел мой хлеб, пил у нас чай, отец всегда говорил про него: «Какой бойкий мальчик. Посмотри, какой бойкий мальчик», — а он терзал агнцев, он избивал тебя и Шреллу бичом из колючей проволоки; Ферди дорого поплатился, а достиг немногого — подпалил ноги учителю гимнастики и разбил зеркало от гардероба; нет, тут нужен не порох в картонной обертке, а порох и металл, дружок...

Выпей, наконец, чаю, дружок, разве он тебе не по вкусу? Неужели табак в сигарете так пересох? Прости, в этих вещах я никогда ничего не смыслила. Ты красивый, тебе к лицу грим сорокалетнего мужчины с седыми висками, можно подумать, что ты родился нотариусом; мне смешно при мысли, что когда-нибудь ты действительно будешь так выглядеть, ну и искусники нынешние парикмахеры!

Не будь таким серьезным, все пройдет, мы опять начнем ездить за город, в Кисслинген — бабушка и дедушка, дети, внуки, весь наш

род, твой сынишка захочет руками поймать форель, мы будем есть чудесный монастырский хлеб, пить монастырское вино, слушать вечерню: «*Rorate coeli desuper et nubes plurant justum*»* и предрождественские службы; в горах выпадет снег, ручьи замерзнут, выбери себе время года по вкусу, мой мальчик; недели перед Рождеством больше всего нравятся Эдит, от нее так и веет рождественским духом; она еще не поняла, что Господь, явившись, стал нам братом; ее сердце обрадуется пению монахов и темной церкви, построенной твоим отцом, церкви Святого Антония в Киссатале, между двумя селениями — Штелингерс-Гротте и Гёрлинггерс-Штуль.

Когда освящали аббатство, мне не было и двадцати двух; я только совсем недавно дочитала до конца «Коварство и любовь»; чуть что — и я заливалась смехом, каким смеются подростки; в зеленом бархатном платье от Гермину Горушки я выглядела девчонкой, возвращающейся с урока танцев. Я уже не была девочкой, но еще не стала женщиной и казалась не замужней дамой, а девушкой, которую соблазнили; в тот день я надела белый воротничок и черную шляпу; было уже заметно, что я беременна, и слезы то и дело навертывались мне на глаза.

* Кропите, небеса, свыше, и облака да проливают правду (*лат.*).

— Вам следовало бы остаться дома, сударыня, — шепнул мне кардинал, — надеюсь, вы выдержите.

Я выдержала, я хотела быть с ним; когда открыли церковь и началась церемония освящения, мне стало страшно: он совсем побелел, мой маленький Давид, и я подумала — сейчас он разучится смеяться, эта торжественность убьет его смех, мой Давид слишком мал и слишком молод, ему не хватает мужской серьезности; я знала, что очень хороша — черноглазая, в зеленом платье с белоснежным воротничком; я решила никогда не забывать, что все это только игра. Я еще смеялась, вспоминая, как учитель немецкого языка сказал мне: «Вы должны получить у меня высший балл».

Но я так и не получила высшего балла, я все время думала только о нем, называла его Давидом, моим маленьким Давидом с пращой, я думала о его грустных глазах и затаенном смехе; я любила его, каждый день ждала минуты, когда он появится в большом окне мастерской, смотрела ему вслед, когда он выходил из ворот типографии; я тайком прокрадывалась на спевки хорового ферейна, чтобы посмотреть на него, но он не выпячивал грудь ради пения — этого серьезного мужского дела, и по его лицу было видно, что он не такой, как они; Бруно тайком проводил меня в отель «Принц Генрих», где собирались офицеры за-

паса, чтобы поиграть в бильярд; я видела, как он сгибал и разгибал руки, как белые шары катились по зеленому полю и как красные шары катились по зеленому полю; именно там я открыла его смех, который он запрятал глубоко в себе; нет, он никогда не принимал «причастие буйвола», но я боялась, что он не выдержит последнего, самого последнего и самого трудного испытания — испытания военным мундиром; в день рождения того дурака, в январе, они должны были пройти церемониальным маршем к памятнику у моста и участвовать в параде перед отелем, на балконе которого стоял генерал. И я спрашивала себя, как он пройдет там внизу, ведь его до предела напичкали историей и болтовней о «великой судьбе»; как он пройдет под гром литавр и бой барабанов, под звуки рожков, играющих сигнал атаки. Мне было страшно, я боялась, что он покажется смешным; этого я не хотела, над ним никто не должен смеяться, пусть он всегда смеется над другими. И вот я увидела его на параде — о боже! Видел бы ты, как он шел; казалось, каждым своим шагом он попирает голову кайзера.

Потом мне часто приходилось видеть его в мундире; годы исчислялись теперь только по производству в очередной чин; два года — обер-лейтенант, еще два года — капитан; я брала его саблю и всячески старалась опога-

нить ее, я снимала ею грязь с железных завитушек на перилах лестницы, соскребала ржавчину с садовых скамеек, рыла ямки для рассады; я только что не чистила ею картофель, и то потому, что это было несподручно.

Сабли надо топтать ногами, мой мальчик, как и все привилегии; привилегии только для того и созданы — это мздоимство; «И правая их рука полна подношений». Ешь то же, что едят все, читай то же, что читают все, носи платье, какое носят все, так ты скорее приблизишься к истине; благородное происхождение обязывает, оно обязывает есть хлеб из опилок, если все остальные едят его, читать урапатриотическое дерьмо в местных газетках, а не журналы для избранных, не этого Демеля и других; ты, Роберт, не принимай от них ничего — не принимай паштеты Греца и масло настоятеля, мед, золотые монеты и жаркое из зайцев; зачемзачемзачем, если у других всего этого нет. Простые люди могут спокойно есть мед и масло, их это не испортит, не засорит им ни желудка, ни мозгов, но ты, Роберт, не имеешь на это права, ты должен есть этот дерьмовый хлеб, тогда правда ослепит тебя своим сиянием; если хочешь чувствовать себя свободным, носи дешевые костюмы.

Я только раз воспользовалась своими привилегиями, один-единственный раз, и ты простишь мне это, больше я была не в силах тер-

петь, я должна была пойти к Дрёшеру, чтобы выхлопотать тебе амнистию, мы больше не в силах были терпеть, все мы: отец, я, Эдит. К тому времени у тебя уже родился сын; твои послания мы находили в почтовом ящике, крохотные клочки бумаги, свернутые, как порошки от кашля; первая записочка пришла через четыре месяца после твоего исчезновения: «Не беспокойтесь, я прилежно учусь в Амстердаме. Целую маму. Роберт».

Через семь дней пришла вторая записка: «Мне нужны деньги, заверните их в газету и передайте человеку по фамилии Гроль, кельнеру из «Якоря» в Верхней гавани. Целую маму. Роберт».

Мы отнесли деньги, кельнер по фамилии Гроль молча поставил перед нами пиво и лимонад, молча взял пакет с деньгами, молча отверг чаевые; казалось, он нас вообще не замечает, не слышит наших вопросов.

Твои крошечные записочки мы клеивали в блокнот, долгое время они больше не приходили, потом начали приходить чаще: «Деньги все три раза получил: 2-го, 4-го и 6-го. Целую маму. Роберт».

А Отто вдруг перестал быть самим собой, с ним случилось что-то страшное, какое-то превращение, он был Отто и все же не Отто, он приводил в дом Неттлингера и учителя гимнастики; Отто... я поняла, что это значит, когда

говорят: «От человека осталась одна только видимость»; от моего сына Отто осталась одна только видимость, одна оболочка, которая быстро наполнялась другим содержанием, он принял «причастие буйвола», принял огромные дозы его, у него высосали всю кровь и накачали ему новую; взгляд Отто стал взглядом убийцы, и я в страхе прятала от него твои записки.

Долгие месяцы мы не получали ни одной записки, я ползала по лестнице, выложенной плитками, осматривала каждую щелочку, каждый сантиметр холодного пола, залезала рукой в железные завитушки, соскребала с них грязь, я боялась, что бумажный шарик закатился за перила, что его сдуло туда ветром; ночью я отвинчивала почтовый ящик и разбирала его; по ночам возвращался Отто, припирал меня дверью к стене, наступал мне на пальцы и смеялся; долгие месяцы я не находила записок; ночи напролет я простаивала за занавеской в спальне, ожидая рассвета; я караулила парадную дверь, смотрела, не покажется ли кто на улице; завидев почтальона, я мчалась вниз, но весточки все не было; я перетряхивала пакетики с булочками, осторожно переливала молоко в кастрюлю, отклеивала этикетки от бутылок, но и там ничего не оказывалось. А по вечерам мы ходили в «Якорь», пробирались мимо людей, одетых в форму, туда, в самый

дальний угол, где обслуживал Гроль, но он все молчал, казалось, он не узнает нас, и только через много недель, после того как мы вечер за вечером просиживали в «Якоре» в напрасном ожидании, Гроль написал на картонной подставке для пива: «Будьте осторожны! Я ничего не знаю!»; он опрокинул кружку с пивом, вытер лужу тряпкой так, что не осталось ничего, кроме большого чернильного пятна, принес нам новую кружку, за которую не хотел брать денег. Гроль, кельнер в «Якоре», был юноша с худым лицом.

Мы, конечно, не знали, что мальчик, бросавший записочки в наш почтовый ящик, давно арестован, что за нами следят и что Гроля не арестовывают по одной причине — надеются, что он заговорит с нами. Кто может разобраться в этой высшей математике убийц? Все они сгнули — и Гроль, и мальчик с записочками, а ты, Роберт, не даешь мне ружья, не вызволяешь меня из заколдованного замка.

Мы перестали ходить в «Якорь», пять месяцев мы ничего не слышали о тебе, больше я не могла этого вынести, впервые я воспользовалась своими привилегиями, я обратилась к Дрёшеру, доктору Эмилю Дрёшеру, регирунгс-президенту; я училась в гимназии с его сестрой, мы с ним вместе ходили на уроки танцев, ездили на пикники, мы клали в экипажи пивные бочонки и на опушке леса вытаскивали

бутерброды с ветчиной, мы танцевали лендлер на свежескошенных лужайках; мой отец помог отцу Дрёшера вступить в научный союз, хотя у того не было высшего образования; но все это чепуха, Роберт, не придавай значения такой чепухе, когда речь заходит о серьезных вещах; я называла Дрёшера «Эм», это было уменьшительное от Эмиль, и называть так в те времена считалось особым шиком; а вот теперь, спустя тридцать лет, я попросила доложить ему о себе, надела серый костюм, серую шляпку с сиреневой вуалью, черные ботинки; Дрёшер сам вышел ко мне в переднюю, поцеловал мне руку, сказал:

— Ах, Иоганна, называй меня, как прежде, «Эм»!

И я ответила:

— Эм, я должна знать, где мой сын, вам же известно, где он!

В ту минуту мне показалось, Роберт, что наступил ледниковый период. По его лицу я сразу поняла, что он все знает, и почувствовала, как он весь подобрался, в его тоне появились официальные нотки, от страха его толстые губы завязтого выпивохи вытянулись в ниточку; он оглянулся, покачал головой и зашептал:

— Поступок твоего сына был не только предосудительным, но и политически крайне неблагоприятным. На это я ему ответила:

— К чему приводит политическое благо-
разумие, видно по тебе.

Я хотела уйти, но он удержал меня.

— О боже, значит, по-твоему, мы все долж-
ны повеситься?

— Вы — да! — ответила я.

— Будь же благоразумна, — сказал он, —
такого рода дела находятся в ведении полицей-
президента, а ты ведь сама знаешь, что сделал
ему твой сын.

— Нет, — сказала я, — мой сын ему ничего
не сделал. К сожалению, ничего, за исключе-
нием того, что он пять лет подряд выигрывал
ему все игры в лапту.

Тут этот трус прикусил губу.

— Спорт... спорт хорошее дело.

Тогда, Роберт, мы еще не подозревали, что
одно движение руки может стоить человеку
жизни: Вакера приговорил к смерти польского
военнопленного только за то, что тот поднял
на него руку; пленный даже не ударил Вакеру,
а только поднял руку.

Как-то утром за завтраком я нашла у себя
на тарелке записку от Отто: «Мне тоже нуж-
ны деньги. 12. Можете отдать мне их прямо в
руки». Я пошла в мастерскую отца, взяла из
сейфа двенадцать тысяч марок (мы пригото-
вили их на случай, если от тебя снова начнут
приходить записки) и бросила всю пачку на
стол перед Отто; я решила отправиться в Ам-

стердам и сказать тебе: не посылай больше записок, а то кто-нибудь обязательно поплатится за них головой. Но тут ты приехал к нам; я бы сошла с ума, если бы они тебя не амнистировали: останься здесь, разве не безразлично, где жить, ведь одно движение руки в этом мире может стоить человеку жизни. Ты же знаешь условия, которые Дрёшер выторговал для тебя: отказ от всякой политической деятельности и сразу же после экзаменов — военная служба; я заранее подготовила все, чтобы ты мог нагнать и получить аттестат зрелости, а потом статик Клем проэкзаменует тебя и скостит тебе столько семестров в университете, сколько сможет; ты обязательно хочешь учиться в университете? Хорошо, как знаешь. Статика? Почему статика? Хорошо, как знаешь. Эдит очень рада. Отчего ты не идешь к ней наверх? Иди! Скорей! Неужели тебе не хочется увидеть сынишку? Я отдала Эдит твою комнату, она ждет тебя наверху, иди же.

Он поднялся по лестнице, прошел мимо коричневых шкафов, тихо пробрался по безмолвным коридорам под самую крышу, в каморку на чердаке. Здесь пахло сигаретами, которые тайком выкуривали санитары, влажным постельным бельем, развешенным на чердаке для просушки; гнетущая тишина поднималась вверх по лестничной клетке, словно по трубе;

Роберт взглянул в чердачное окошко на аллею тополей, которая вела к автобусной остановке, — он увидел аккуратные клумбы, оранжерею, мраморный фонтан и часовню справа у стены; все это казалось идиллией, пахло идиллией, да и впрямь было идиллией; за оградой, через которую был пропущен электрический ток, наелись коровы, в отбросах рылись свиньи, чтобы в свою очередь стать отбросами; один из служителей выливал в корыто ведро громко булькающего жирного месива; проселочная дорога за стеной лечебницы, казалось, вела в царство беспредельной тишины.

Сколько раз он уже приходил сюда, в эту каморку? Мать всегда посылала его наверх, чтобы не прерывать нити своих воспоминаний. Он снова был двадцатидвухлетним, и он вернулся домой, приговорив себя к молчанию; он должен был поздороваться с Эдит и с их сыном Йозефом. Эдит и Йозеф — эти два слова были паролем, но оба они, мать и сын, казались ему чужими, и они тоже смутились, когда он вошел в комнату, Эдит еще больше, чем он; неужели они раньше говорили друг другу «ты»?

После той игры в лапту, когда они пришли к Шрелле, Эдит поставила на стол картошку с какой-то непонятной подливкой и зеленый салат, а потом заварила жидкий чай; он ненавидел жидкий чай, у него тогда были на этот счет

свои понятия: женщина, на которой он женится, должна уметь заваривать чай; Эдит этого явно не умела, и все же, глядя, как она ставит картофель, он знал, что затащит ее в кусты на обратном пути домой из кафе «Ценз», когда они будут проходить по Блессенфельдскому парку; Эдит была светловолосая девушка, на вид ей было лет шестнадцать; она уже не смеялась беспричинно, как смеются подростки, и в глазах у нее не светилось напрасное ожидание счастья, в глазах, которые она устремила на него. Перед едой Эдит произнесла молитву: «Господь... Господь». И Роберт подумал, что есть надо руками; вилка показалась ему нелепой, а ложка странной, и в первый раз он понял, что такое еда: еда — это божье благословение, данное нам, чтобы утолить голод, и больше ничего; только короли и бедняки едят руками. Даже тогда, когда они шли по Груффельштрассе и через Блессенфельдский парк в кафе «Цонз», они почти не разговаривали друг с другом; и ему было страшно; он поклялся ей никогда не принимать «причастие буйвола»; как ни глупо, но в этот момент ему было так же страшно, как бывает в церкви; однако, возвращаясь через парк, Роберт взял руку Эдит и задержал ее в своей, он дал Шрелле пройти вперед и потянул Эдит в кусты, он тянул Эдит, наблюдая за тем, как темно-серый силуэт Шреллы постепенно тает на фоне вечернего

неба; Эдит не сопротивлялась и не смеялась; и тут в нем пробудился древний инстинкт, он понял, как это делается: инстинкт пробудился в его руках и в его губах; он запомнил ее светлые волосы, блестящие от летнего дождя, запомнил корону из серебристых капель на ее волосах, похожую на скелет какого-то хрупкого морского животного, найденного на песке ржавого цвета, запомнил линии ее рта, повторенные в бесчисленных облачках одинаковой величины, запомнил шепот Эдит у себя на груди: «Они тебя убьют!»

Значит, Эдит все же была с ним на «ты» там, в парке, в кустах, и потом, на следующий день, в дешевой мебелированной комнате; он тащил Эдит, держа ее за запястье, он шел по городу, как лунатик, словно заколдованный, чутьем он разыскал нужный дом; под мышкой он держал пакетик с порохом для Ферди, с которым они должны были вечером встретиться. Тогда он узнал, что Эдит умеет улыбаться, она улыбнулась, смотрясь в зеркало, самое дешевое из всех, какие только могла раздобыть хозяйка этих подозрительных мебелирашек в лавке со стандартными ценами; Эдит улыбалась, открыв в себе тот же древний инстинкт; Роберт уже понял тогда, что пакетик с порохом, лежавший на подоконнике, — глупость, глупость, которую тем не менее надо совершить, ведь благоразумию грош цена в мире, где одно

движение руки может стоить человеку жизни; улыбка на лице Эдит, не привыкшем улыбаться, казалась чудом, а потом, когда они спустились по лестнице к хозяйке, Роберт удивился, как дешево им посчитали за комнату; он заплатил марку и пятьдесят пфеннигов. Но хозяйка отказалась взять пятьдесят пфеннигов, которые он хотел прибавить к плате.

— Нет, сударь, я не беру чаевых, не хочу ни от кого зависеть.

Значит, он все же был с Эдит на «ты», с той Эдит, что сидела сейчас в его комнате с ребенком на руках, с его сыном Йозефом; он взял мальчика, неловко подержал его с минуту, а потом положил на кровать, и древний инстинкт снова проснулся в нем, в его руках и губах. Эдит так и не научилась заваривать чай, даже после того, как они поселились в собственной квартире с кукольной мебелью; он приходил домой из университета или приезжал в отпуск — унтер-офицер инженерных войск; его обучили, и он стал подрывником, а потом он сам обучал команды подрывников; сеял формулы, которые несли с собой как раз то, чего он желал, — прах и развалины, месть за Ферди Прогульске, за кельнера по фамилии Гроль, за мальчика, бросавшего в почтовый ящик его записки. Эдит ходила с сумкой для провизии, получала продукты по продуктовым карточкам. Эдит читала поваренную

книгу, совала мальчику бутылочку с молоком, давала Рут грудь; он был молодой отец, Эдит — молодая мать; она приходила за ним к воротам казармы, толкая перед собой коляску; они вместе бродили по берегу реки, гуляли на лужайках, где гимназисты играли в лапту и в футбол; они сидели на бревнах в половодье, когда спадала вода; Йозеф играл на речном песочке, а Рут делала первые шажки; два года они играли в эту игру под названием «брак», но он так и не почувствовал себя мужем, хотя раз семьсот, если не больше, вешал в гардероб фуражку и пальто, снимал китель, садился за стол с Йозефом на коленях и слушал, как Эдит произносила застольную молитву: «Господь... Господь!» Только никаких привилегий, все должно быть, как у других; он — доктор Роберт Фемель, одаренный математик, — служил фельдфебелем в саперных частях; он ел гороховый суп, а соседи в это время слушали радио, принимая «причастие буйвола»; его отпуск из части продолжался до утра; с первым трамваем он ехал обратно в казарму; Эдит целовала его у порога, и он испытывал странное чувство, словно он опять обесчестил эту маленькую светловолосую женщину в красном халате; Йозефа она держала за руку, а Рут лежала в коляске; ему была запрещена политическая деятельность, но разве он когда-нибудь занимался политической деятельностью? Его

амнистировали, ему простили его юношеское сумасбродство; он считался одним из самых способных кандидатов на офицерское звание; он был заморожен тупостью начальства, не знавшего ничего, кроме уставов, он сеял вокруг себя прах и развалины, вбивая в мозги людям формулы взрывов.

— От Альфреда никаких известий?

Каждый раз он не понимал, о ком идет речь, забывая, что фамилия Эдит тоже Шрелла. Время исчислялось теперь только по производствам в очередной чин: полгода — ефрейтор, еще полгода — унтер-офицер, полгода — фельдфебель, еще полгода — лейтенант; а потом апатичная, серая, безрадостная масса солдат потянулась к вокзалу; не было ни цветов, ни смеха провожающих, ни улыбки кайзера, ни той залихватской удали, которая появляется у людей после длительного мира; серая масса была возбуждена и в то же время тупо покорна; он оставил кукольную комнату, где они оба играли в брак, и на вокзале снова повторил клятву никогда не принимать «причастие буйвола».

Отчего Роберта пробирал озноб — от влажного постельного белья или от сырых стен? Теперь он мог уйти наконец с чердака, куда она его отослала. Паролем этого места были Эдит и Йозеф. Он загасил ногой на полу сигарету,

опять спустился по лестнице; помедлив секунду, нажал на ручку двери и увидел свою мать; она говорила по телефону; улыбаясь, она знаком призвала его к молчанию.

— Я так рада, святой отец, что вы можете повенчать их в воскресенье, мы собрали все документы, гражданское бракосочетание состоится завтра.

Действительно ли он услышал ответ священника, или ему только так показалось?

— Да, милая госпожа Фемель, я сам рад, что это досадное недоразумение наконец-то будет улажено.

Эдит не захотела надеть белое платье и отказалась оставить дома Йозефа; мальчик был у нее на руках в ту минуту, когда они оба сказали священнику «да»; играл орган; он тоже не надел черного костюма, не к чему переодеваться; пора идти, шампанского не будет, отец ненавидит шампанское, а отец невесты, которого он видел всего раз в жизни, бесследно исчез, от шурина все еще нет никаких известий, его разыскивают, он обвиняется в покушении на убийство, хотя он возражал против пороха и хотел предотвратить покушение.

Мать повесила трубку, подошла к нему, положила ему руки на плечи, сказав:

— Какая прелесть твой сынишка, чудо, правда? Сразу же после свадьбы его надо усыновить, я напишу завещание в его пользу. Вы-

пей еще стакан чаю, ведь в Голландии все пьют чай; не бойся: Эдит будет хорошей женой, ты быстро сдашь экзамены на аттестат зрелости, я обставлю вам квартиру, а если тебе придется пойти на военную службу, не забывай втайне улыбаться; держись тихо и думай о том, что в мире, где одно движение руки может стоить человеку жизни, благородные чувства — еще не все; я обставлю вам квартиру, отец будет рад, он поехал в аббатство, как будто там можно найти утешение. «Дрожат дряхлые кости», мой мальчик... они убили затаенный смех отца, пружинка лопнула, она не могла выдержать такого гнета. Здесь не поможет громкое слово «тираны»; отец не в силах больше торчать в своей мастерской, Отто вселяет в него страх, вернее, оболочка Отто; попытайся помириться с Отто, пожалуйста, попытайся, ну, пожалуйста, иди же к нему.

Попытки примирения с Отто... Он не раз предпринимал их, он подымался по лестнице, стучал в дверь, ведь этот приземистый юноша не был ему чужим, да и Отто не смотрел на него, как на чужого; за широким бледным лбом Отто жажда власти воплотилась в простейшую формулу: Отто хотел властвовать над боязливymi школьными товарищами, над прохожими, которые не отдавали чести нацистскому знамени; эта жажда главенствовать

могла бы стать умильной причудой, если бы она распространялась только на спортивные стадионы, если бы Отто хотел получить три марки за выигранный боксерский матч или же, пользуясь правом победителя, сводить в кино какую-нибудь девицу в пестром платье, с тем чтобы на обратном пути поцеловать ее в парадном. Но в Отто не было ничего умильного, даже Неттлингер и тот казался более умильным; Отто не интересовали победы в боксерском матче, его не интересовали девицы в пестрых платьях; в мозгу Отто власть стала формулой, лишенной смысла, освобожденной от всего человеческого; в ней почти отсутствовала ненависть, власть приводилась в исполнение автоматически: удар за ударом.

«Брат» — великое слово, в пору Гёльдерлину, такое громадное, что даже смерть не может заполнить его, даже смерть Отто; известие о его гибели не заставило Роберта примириться с ним. «Пал под Киевом!» В этой фразе могли быть выражены трагизм, величие, братские чувства, в особенности если бы в ней был упомянут возраст погибшего, тогда она могла бы вызвать умиление, как надписи на могильных плитах: «Пал под Киевом двадцати пяти лет от роду», но ничего этого не случилось; напрасно Роберт старался примириться, когда ему говорили: «Ведь вы же братья»; да, они были братья, согласно книгам записей гражданско-

го состояния и по свидетельству акушерки; он мог бы скорее почувствовать умиление, если бы они с Отто действительно стали чужими, но этого не произошло; Роберт знал, как Отто ест, как он пьет чай, кофе, пиво; и все же Отто ел иной хлеб, чем он, пил иное молоко и кофе; еще хуже дело обстояло со словами, которые они оба произносили: в устах Отто слово «хлеб» звучало более чуждо, нежели слово «pain»*, когда он слышал его впервые и еще не имел понятия, что оно означает. Они родились от одной матери и от одного отца, они выросли в одном доме, вместе ели, пили, плакали, дышали одним и тем же воздухом, ходили по одной и той же дороге в школу, они смеялись и играли, он называл Отто «братиком», чувствовал, как рука брата обвивается вокруг его шеи, он знал, что Отто боится математики, помогал ему, зубрил с ним целыми днями, чтобы тот перестал бояться, и в самом деле ему удалось излечить брата от этого страха, но вот за два года его отсутствия от Отто осталась одна оболочка; нельзя сказать даже, что он стал ему чужим; думая об Отто, он не ощущал пафоса слова «брат», оно казалось неправдоподобным, оно не соответствовало истине, оно не звучало, и он в первый раз понял, что значили слова Эдит — принять «причастие

* Хлеб (фр.).

буйвола». Отто выдал бы свою мать палачам, если бы она им вдруг понадобилась.

Во время одной из попыток примирения, когда он поднялся по лестнице, открыл дверь и вошел в комнату Отто, тот, повернувшись к нему, спросил: «В чем дело?» Отто был прав: в чем дело? Ведь они не были друг другу чужими, они знали друг друга как свои пять пальцев, знали, что один не любит апельсинов, а другой предпочитает пить пиво вместо молока, знали, что один охотно курит сигареты, а другой — маленькие сигарки, знали, как каждый из них всовывает свою закладку в календарь Шотта.

Роберта не удивляло, что Бен Уэкс и Неттлингер нередко заходили к Отто, не удивляло, что он встречал их в коридоре; но внезапно он испугался, осознав, что Бен Уэкс и Неттлингер более понятны ему, чем собственный брат; ведь даже убийцы не всегда убивают, не во всякое время дня и ночи, у них тоже бывают свободные вечера, как, скажем, у железнодорожников; при встречах с ним Бен Уэкс и Неттлингер фамильярно хлопали его по плечу, и Неттлингер говорил: «Разве не я помог тебе убежать?» Они казнили Ферди, а Гроля, отца Шреллы и мальчика, который передавал записки, отправили туда, где люди бесследно исчезают. Но теперь они хотели, чтобы все поросло быльем, зачем ворошить старое. Живи

себе на здоровье. Роберт стал фельдфебелем в саперных частях, подрывником, женился, нанял квартиру, обзавелся сберегательной книжкой и двумя детьми.

— О жене можешь не беспокоиться, пока мы здесь, с ней ничего не случится.

— Ну? Ты говорил с Отто? Безуспешно? И все же не надо терять надежды; подойди ближе, тихо-тихо. Я должна тебе кое-что сказать: мне кажется, он проклят, заколдован, если это тебе больше по вкусу. Есть только одна возможность освободить его: хочу ружье, хочу ружье; Господь сказал: «Мне отмщение, и Аз воздам». Но разве я не могу стать орудием Господа?

Мать подошла к окну, достала из-за портьеры трость своего брата, умершего сорок три года назад, вскинула ее, словно ружье, и прицелилась; она взяла на мушку Бена Уэкса и Неттлингера, они ехали верхом по улице, один — на белой лошади, другой — на гнедой; трость следовала за всадниками; казалось, мать наблюдает за ними с секундомером в руках; вот лошади появились на углу, проехали мимо отеля, свернули на Модестгассе, поскакали прочь к Модестским воротам, которые заслонили от нее всадников; опустив трость, мать сказала:

— В моем распоряжении две с половиной минуты. За это время можно сделать вдох, прицелиться, нажать курок.

В картине, нарисованной ее фантазией, не было ни единой бреши, все было пригнано друг к другу и неуязвимо; она снова поставила трость в угол.

— Я это сделаю, Роберт. Я стану орудием Господа, терпения у меня хватит, время для меня ничего не значит, и я знаю, что хлопущки с порохом бесполезны; порох должен быть заключен в свинец; я буду мстить за последнее слово, которое слетело с невинных уст моего сына, за слово «Гинденбург», единственное, оставшееся после него в мире. Я должна стереть это слово с лица земли. Неужто мы только для того родим детей, чтобы они умерли через семь лет, прошептав перед смертью имя Гинденбурга?

Я порвала листок со стихотворением и выбросила на улицу клочки бумаги; Генрих был такой аккуратный мальчуган, он молил достать ему копию, но я отказалась, я не хотела слышать из его уст эту чушь; в бреду он пытался восстановить в памяти строчку за строчкой, а я затыкала уши, но все равно слышала: «Господь да пребудет с тобой», я пыталась вызволить его из бреда, разбудить, заставить посмотреть мне в глаза, взять меня за руки, услышать мой голос, но он продолжал шептать: «Покуда немецкие роши растут, покуда немецкие флаги цветут, покуда немецкое слово звучит, не будет наш Гинденбург нами забыт»; меня убива-

ло, что и в бреду он делал ударение на слове «наш». Я собрала все игрушки в доме, твои тоже, хотя ты громко заревел, и сложила их на одеяле Генриха, но он так и не вернулся ко мне, даже не взглянул на меня, Генрих, Генрих! Я кричала, молилась, шептала, но он ушел в страну кошмарных сновидений, где ничего не осталось, кроме одной-единственной строки; только эта одна строка жила в нем: «С Гинденбургом вперед! Ура!» Последнее слово, слетевшее с его уст, было «Гинденбург».

Я должна отомстить за оскверненные уста моего семилетнего сына; неужели ты меня не понимаешь. Роберт? Я должна отомстить тем, кто ездит верхом мимо нашего дома, направляясь к памятнику Гинденбургу; после смерти за ними понесут венки с золотыми, черными и лиловыми лентами; я спрашивала себя: неужели Гинденбург никогда не умрет? Неужели мы вечно будем видеть на почтовых марках этого буйвола, чье имя стало для моего сына всем? Ты достанешь мне ружье?

Я ловлю тебя на слове; пусть это будет не сегодня и не завтра, но все же скоро; я наберусь терпения, неужели ты не помнишь твоего брата Генриха?

Когда Генрих умер, тебе было уже почти два года, мы держали тогда собаку по кличке Бром, ты ее вряд ли помнишь; Бром был такой старый и мудрый, что боль, которую вы

ему причиняли, не вызывала в нем злобы, а только грусть; вы, сорванцы, изо всей силы цеплялись за его хвост, и пес тащил вас по комнате, помнишь Брома? Цветы, которые тебе надо было положить на могилу Генриха, ты выбросил из окна кареты; мы оставили тебя, не доезжая до кладбища, мы разрешили тебе сесть наверх, на козлы, и подержать вожжи, они были черные, кожаные и потрескались по краям. Вот видишь, Роберт, ты помнишь и собаку, и вожжи, и брата, и... солдат, солдат, бесконечные шеренги солдат; ты ведь помнишь все это; они поднимались вверх по Модестгассе, сворачивали у отеля к вокзалу, волоча за собой пушки; ты сидел у отца на руках, и отец говорил:

— Война кончилась.

Плитка шоколада стоила триллион, потом конфета стоила два триллиона, пушка стоила столько же, сколько полбуханки хлеба, лошадь — столько же, сколько яблоко, цены все росли, а потом у людей не осталось ни гроша, чтобы купить самый дешевый кусок мыла; это не могло хорошо кончиться, да они, Роберт, и не хотели вовсе, чтобы это хорошо кончилось; люди все шли и шли через Модестские ворота и устало сворачивали к вокзалу; все было благопристойно, вполне благопристойно, и они несли перед собой знамя с именем главного буйвола — Гинденбурга; буйвол до последне-

го вздоха заботился о порядке. Ведь правда он умер, Роберт? Мне все еще не верится!

Герой! Для тебя наши бьются сердца,
А славе героя не будет конца.
С Гинденбургом вперед! Ура!

На почтовых марках у этого буйвола с отвислыми щеками был такой вид, словно он призывает к единению; уверяю тебя, он еще доставит нам немало хлопот, он еще покажет, куда ведет благоразумие политиков и благоразумие богачей; лошадь стоила столько же, сколько яблоко, конфета стоила триллион, а потом у людей не осталось ни гроша, чтобы купить себе кусок мыла, но порядок был незыблем, я все это видела своими глазами, и я слышала, как они выкрикивали его имя; он был глуп как пробка, глух как тетерев, но насаждал порядок; все было прилично, вполне прилично. Честь и верность, железо и сталь, деньги и разоренная деревня. Осторожно, мальчик, там, где над пашнями подымается туман, где шумят леса, — там принимают «причастие буйвола», будь осторожен!

Не думай, что я сумасшедшая, я хорошо знаю, что мы находимся сейчас в Денклингене; вот дорога, она вьется меж деревьев вдоль синей стены и поднимается до того места, где ползут желтые автобусы, похожие на жуков;

меня привезли сюда потому, что я морила голодом твоих детей, после того как порхающие птицы умертвили последнего агнца; шла война, время исчислялось по производствам в очередной чин, ты ушел на фронт лейтенантом, но за два года дослужился до обер-лейтенанта. Ты все еще не стал капитаном? Для этого тебе понадобится не меньше четырех лет, может быть, даже шесть, а потом ты станешь майором; прости, что я смеюсь; смотри, как бы от твоих формул у тебя не зашел ум за разум, сохраняй терпение и не пользуйся привилегиями; мы не едим ни крошки сверх того, что выдается по карточкам; Эдит согласна со мной: ешь то же, что едят все, надевай то же, что надевают все, читай то же, что читают все, не принимай ничего сверх положенного — ни масла, ни платьев, ни стихотворений, ничего, что тебе предлагает буйвол, пусть с самым изящным поклоном; «и правая их рука полна подношений»; все это не что иное, как взятки, данные под тем или иным соусом. Я не хотела, чтобы твои дети пользовались привилегиями, пусть они почувствуют вкус правды на своих губах. Но меня увезли от детей; этот дом называется санаторием, здесь сумасшедших не избивают, здесь тебе не станут лить холодную воду на голое тело и не наденут без согласия родственников смиренную рубашку, надеюсь, вы не согласитесь, чтобы мне ее надели; мне

позволено даже выходить, если я захочу, потому что я не опасна, нисколько не опасна, но я, мальчик, не хочу выходить, я не хочу глядеть на этот мир, не хочу снова и снова сознавать, что они убили затаенный смех отца, что скрытая пружинка в скрытом часовом механизме лопнула; отец вдруг начал принимать себя всерьез; он стал таким торжественным; ведь он нагромоздил целые горы кирпичей, срубил много лесов на стройматериалы и уложил столько бетона, столько бетона, что им можно было бы забетонировать Боденское озеро; такие, как он, строя, хотели забыться, для них это было вроде опиума; трудно себе представить, сколько может понастроить за сорок лет архитектор; я щеткой счищала следы известки с его брюк и гипсовые пятна с его шляпы; положив голову ко мне на колени, он курил сигару, и мы без конца повторяли, как причитание: «Помнишь ли ты... Помнишь ли ты, как в тысяча девятьсот седьмом году... как в тысяча девятьсот четырнадцатом году... как в двадцать первом году, как в двадцать восьмом году, как в тридцать пятом году...» И в ответ на этот вопрос мы вспоминали либо какое-нибудь сооружение, либо чью-нибудь смерть; помнишь, как умерла мать, помнишь, как умер отец, Иоганна, Генрих? Помнишь, как я строил аббатство Святого Антония, церковь Святого Серватия и Бонифация, церковь Модеста, дамбу между

Хайлигенфельдом и Блессенфельдом, помнишь, как я строил монастырь для белых братьев, и монастырь для коричневых братьев, и санаторий для сестер милосердия; каждый мой ответ, казалось, звучал как молитва: «Господи помилуй»! Отец строил одно сооружение за другим, и одна смерть следовала за другой; он стал рабом им же самим созданной легенды, его держал в плену им же выдуманный ритуал; каждое утро он завтракал в кафе «Кронер», хотя охотнее посидел бы с нами, выпил бы кофе с молоком и съел кусок хлеба, он прекрасно мог обойтись без яйца всмятку, без гренков и без этого отвратительного сыра с перцем, но он уже начал думать, что не может без них обойтись; он сердился, если не получал крупного заказа, а ведь раньше было иначе: он радовался, когда получал заказ, понимаешь? Все это очень сложная математика, особенно когда тебе под пятьдесят или под шестьдесят и ты стоишь перед выбором: либо ты должен справиться нужду на собственный памятник, либо взирать на него с благоговением; здесь не может быть никаких компромиссов. Тебе минуло тогда восемнадцать, Отто — шестнадцать лет, и мне было страшно за вас; я стояла вместе с вами наверху в беседке и зорко глядела вокруг, словно вещая птица. Когда вы были младенцами, я носила вас на руках, когда вы стали маленькими детьми — держала за руку, а когда вы

переросли меня — стояла с вами рядом; я наблюдала за жизнью, которая проходила внизу: все бурлило, люди дрались и платили триллион за конфету, а потом у них не было трех пфеннигов, чтобы купить себе булочку; я не желала слышать имени их «избавителя», но они носили этого буйвола на руках, наклеивали марки с его изображением, без конца повторяли, словно причитая: приличия, приличия, честь, верность, «побежденные и все же непобедимые», порядок; он был глуп как пробка и глух как тетерев; внизу, в конторе отца, Жозефина проводила маркой по влажной губке и наклеивала на письма его портреты всех цветов; а мой маленький Давид спал; он проснулся только после того, как ты скрылся, лишь тогда он понял, как опасно бывает передать из рук в руки пачку денег, собственных денег, завернутых в газетную бумагу, — это может стоить человеку жизни; лишь тогда он увидел, что от его сына осталась одна оболочка; верность, честь, приличия — он понял цену всему этому; я предупредила его насчет Греца, но он говорил мне:

— Грец — человек безобидный.

— Как бы не так, — отвечала я ему, — ты еще увидишь, на что способны такие безобидные люди, как он. Грец готов предать собственную мать.

Позднее меня приводила в ужас моя прозорливость: Грец действительно предал мать;

да, Роберт, он предал собственную мать, донес на старуху в полицию, потому что она все время повторяла одну и ту же фразу: «Это грех и позор». Больше она ничего не говорила, только эту фразу, и вот в один прекрасный день ее сын объявил:

— Я не желаю дольше терпеть, моя честь не позволяет мне этого.

Они забрали мать Греца и поместили ее в богадельню; чтобы спасти ей жизнь, они объявили ее сумасшедшей, но это-то как раз и погубило старуху; ей сделали соответствующий укол. Разве ты не помнишь мать Греца? Она еще бросала вам через забор пустые пленки из-под грибов, вы ломали их и строили тростниковые хижины; после сильного дождя хижины становились бурыми от грязи; вы их высушивали, а потом, с моего разрешения, сжигали; неужели ты ничего не помнишь, не помнишь старуху, на которую донес Грец, его собственную мать? Разумеется, он все еще стоит за прилавком и поглаживает ломти сырой печенки. Они пришли и за Эдит, но я ее не отдала, я огрызалась, я кричала, и им пришлось отступить; я спасала Эдит до той поры, пока порхающая птица не убила ее; я пыталась помешать птице, я слышала шелест ее крыльев, слышала, как она камнем падала вниз, я знала, что птица несет смерть; она с торжеством влетела к нам через окно в коридоре; я сло-

жила ладони, чтобы поймать ее, но она пролетела у меня между рук; прости, Роберт, за то, что я не сумела спасти агнца, и помни, что ты обещал достать мне ружье. Не забывай этого. Соблюдай осторожность, мальчик, когда будешь подниматься по стремянке, иди сюда, дай я тебя поцелую и прости, что я смеюсь; какие искусники нынешние парикмахеры.

Почти не сгибаясь, он поднимался по стремянке, ступая в серую бесконечность между перекладинами, а сверху ему навстречу спускался Давид, маленький Давид; всю жизнь ему годились костюмы, которые он купил себе в молодости. Осторожно! Зачем стоять между ступенями, неужели вы не можете хотя бы сесть на перекладыны, чтобы поговорить друг с другом; как прямо держатся они оба: не правда ли, они обнялись, не правда ли, сын положил руку на плечо отца, а отец на плечо сына?

Принесите кофе, Хупертс, крепкий горячий кофе и побольше сахара, после обеда мой повелитель любит пить крепкий сладкий кофе, а по утрам — жидкий; он является ко мне из серой бесконечности, из бесконечности, куда потом исчезает тот, другой, негнущийся и негниблемый, куда он уходит большими шагами; оба они — и муж и сын — мужественные люди, они спускаются ко мне вниз, в мой заколдо-

ванный замок, сын — дважды в неделю, а мой повелитель — только раз в неделю; он приносит с собой ощущение субботнего вечера, в его глазах — мера времени, и я не могу утешить себя даже тем, что его внешность — дело рук искусных парикмахеров; ему уже восемьдесят лет, сегодня у него день рождения, который торжественно отпразднуют в кафе «Кронер», но только без шампанского, он всегда ненавидел шампанское — я так и не узнала почему.

Когда-то ты мечтал устроить в этот день грандиозный пир, на нем должны были присутствовать семь семь внуков, да еще правнуки, невестки, жены внуков, мужья внучек; ты ведь всегда казался себе Авраамом, основателем огромного рода; в своих грезах ты видел себя с двадцать девятым правнуком на руках. Ты хотел продолжить свой род, продолжить его до бесконечности, но сегодня будет грустный праздник: у тебя всего один сын, светловолосый внук и черноволосая внучка, их подарила тебе Эдит, а родоначальница семьи — в заколдованном замке, куда можно спуститься лишь по бесконечно длинным лестницам с гигантскими ступенями.

— Иди сюда, пусть с тобой войдет счастье, старый Давид, твоя талия и теперь не шире, чем в дни юности, пощади меня — я не хочу быть в настоящем; давай лучше я поплыву в

прошлое на крохотном листке календаря, где стоит дата «31 мая 1942 года», но не рви мой кораблик, сжался надо мной, возлюбленный, не рви бумажное суденышко, сделанное из листка календаря, и не бросай меня в океан прошлого, того, что случилось шестнадцать лет назад. Помнишь ли ты лозунг: «Победу надо завоевать, ее нам никто не подарит»; горе людям, не принявшим «причастие буйвола», ты же знаешь, что причастия обладают ужасным свойством, их действие бесконечно; люди страдали от голода, а чуда не случилось — хлеб и рыбы не приумножились, «причастие агнца» не могло утолить голод, зато «причастие буйвола» давало людям обильную пищу; считать они так и не научились: они платили триллион за конфету, яблоко стоило столько же, сколько лошадь, а потом у людей не оказалось даже трех пфеннигов, чтобы купить себе булочку, но они все равно полагали, что приличия и благопристойность, честь и верность превыше всего; когда людей напичкают «причастием буйвола», они мнят себя бессмертными; оставь, Давид, зачем таскать за собой прошлое, будь милосердным, погаси время в твоих глазах, пусть другие делают историю, кафе «Кронер» сохраняет тебе верность, и когда-нибудь тебе поставят памятник — небольшая бронзовая статуя будет изображать тебя с бумажным свитком в руках, маленького, хрупкого, улы-

бающегося, похожего не то на молодого раввина, не то на художника, чем-то неуловимо напоминающего провинциала, ты уже видел, к чему приводит политическое благоразумие... неужели ты хочешь лишить меня политического неразумия?

Из окна мастерской ты обещал мне: «Не горюй, я буду тебя любить, я избавлю тебя от всех ужасов, о которых рассказывают твои школьные подруги, от ужасов, происходящих якобы в брачную ночь; не верь нашептываниям этих дур; когда придет наше время, мы будем смеяться, непременно, обещаю тебе, но пока подожди, подожди две-три недели, самое большее месяц; я куплю букет, найму экипаж и подъеду к вашему дому. Мы отправимся путешествовать, поглядим свет, и ты родишь мне детей — пятерых, шестерых, а то и семерых, а потом дети подарят мне внуков, их будет пятью, шестью, семью семь; ты даже не заметишь, как я работаю, я избавлю тебя от запаха мужского пота, от истовых мускулов и от военной формы, все мне дается легко. В свое время я учился и кое-что узнал, я уже заранее пролил свой пот. Я не художник, на этот счет не обольщайся, я не обладаю ни мнимым, ни истинным демонизмом; то, о чем твои приятельницы рассказывают страшные сказки, мы будем делать не в спальне, а на вольном воздухе; над собою ты увидишь небо, на лицо тебе

будут падать листья и травинки, ты вдохнешь аромат осеннего вечера, и у тебя не появится такого чувства, будто ты участвуешь в отвратительном акробатическом номере, в котором обязана участвовать; ты будешь вдыхать аромат осенних трав, лежа на песке у воды среди верб, там, где разлившаяся в паводок река оставила свои следы — стебли камыша, пробки, баночки из-под гуталина, бусинку от четок, которую жена моряка уронила за борт, и бутылки из-под лимонада с вложенными в них записками; в воздухе запахнет горьким дымом из пароходных труб, раздастся звяканье якорных цепей; мы будем это делать не всерьез, малой кровью, хоть это серьезное и кровавое дело».

Помнишь, как я схватила босыми пальцами ног пробку и преподнесла ее тебе на память? Я подняла эту пробку и подарила ее тебе, потому что ты избавил меня от супружеской спальни, от этой темной камеры пыток, о которой я знала из романов, из нашептываний приятельниц и предостережений монахинь; ветки ивы свешивались мне на лоб, серебристо-зеленые листья падали на глаза, которые стали совсем темными и блестящими; пароходы гудели в мою честь, возвещали, что я перестала быть девственницей; спускались сумерки, наступал осенний вечер, все катера уже давно стали на якорь, матросы и их жены перешли по шатким мосткам на берег, и я уже сама жаждала того,

чего еще совсем недавно так боялась, но все же из моих глаз скатилось несколько слезинок, я сочла себя недостойной своих предков, которые стыдились превращать обязанность в удовольствие; ты налепил листья ивы мне на лоб и на влажные следы слез; мы лежали на берегу реки, и мои ноги касались стеблей камыша и бутылок с записками, в которых дачники посылали привет горожанам; откуда только взялись все эти банки из-под гуталина, кто набросал их — готовящиеся сойти на берег матросы в начищенных до блеска ботинках, или жены речников с черными хозяйственными сумками, или парни в фуражках с блестящими козырьками? Когда мы пришли в сумерках в кафе Тришлера и уселись на красные стулья, блики на козырьках вспыхивали то тут, то там. Я любовалась прекрасными руками молодой хозяйки кафе, подавшей нам жареную рыбу, вино и такой зеленый салат, что глазам было больно, я любовалась руками молодой женщины, которые через двадцать восемь лет обмыли вином истерзанную спину моего сына. Зачем ты накричал на Тришлера, когда он позвонил по телефону, чтобы сообщить о несчастном случае с Робертом? Половодье, половодье, меня всегда тянуло броситься в вышедшую из берегов реку и дать отнести себя к серому горизонту. Иди сюда, пусть с тобой войдет счастье, только не целуй меня, не рви моего кораблика; вот тебе

кофе, он сладкий и горячий, такой, какой ты пьешь после обеда, крепкий кофе без молока; вот тебе сигары по шестьдесят пфеннигов за штуку, мне принес их Хупертс; не гляди так, старик, я ведь не слепая, я всего лишь сумасшедшая, и конечно же могу прочесть внизу в вестибюле на календаре сегодняшнее число: «6 сентября 1958 года»; я не слепая, я знаю, что твой облик нельзя приписать искусству парикмахеров; давай играть с тобой вместе, отврати глаза от прошлого, но не рассказывай мне снова о твоём лучезарном белокурое внуке, который унаследовал сердце матери и разум отца. Теперь, когда аббатство восстанавливают, он находится там вместо тебя. Сдал ли он уже экзамен на аттестат зрелости? Он тоже будет изучать архитектуру? А сейчас он проходит практику? Прости, что я смеюсь; я никогда не относилась серьезно к постройкам; все это — прах, уплотненный прах, который превращается в камень; оптический обман, фата-моргана, обреченная на то, чтобы со временем стать развалинами; «победу надо завоевывать, ее нам никто не подарит» — я прочла это в газете сегодня утром, перед тем как меня привезли сюда: «...Все ликовали... люди, преисполненные веры и надежды, прислушивались к словам... восторг и воодушевление охватили всех...»

Хочешь, я прочту тебе вслух — это напечатано в местной газетке?

У тебя не семью семь внуков, а всего дважды один или единожды два; они не будут пользоваться привилегиями, я обещала это Эдит, агнцу, они не будут принимать «причастие буйвола», и мальчик не станет учить в гимназии стихотворение:

Благословен любой удар, что ниспослал нам рок,
Он единенье наших душ нам укрепить помог..

Ты читаешь слишком много центральных газет, которые преподносят тебе «буйвола» под сладким или под кислым соусом, в сухарях и еще бог знает в каком виде, ты прочел слишком много газет для сверхобразованных; если хочешь, чтобы тебя каждый день обливали ушатами помоев, помоев без всяких примесей и подделок, — читай статейки в местных листках, они печатают их с самыми лучшими намерениями, какие себе только можно представить, а вот у твоих центральных газет нет таких намерений, они просто трусливы, зато мои листки все делают с наилучшими намерениями; пожалуйста, не пользуйся привилегиями и не щади себя, смотри, что пишет обо мне моя газетенка в стихотворении «Матери павших...»:

Вас, как святых, народ германский чтит,
Но ваше сердце о сынах скорбит.

Я — святая, и моя душа скорбит, мой сын Отто Фемель пал... Приличия, приличия, честь, верность, а он донес на нас полиции, в один прекрасный день от нашего сына Отто не осталось ничего, кроме оболочки, не щади себя и не пользуйся привилегиями; настоятеля они, разумеется, пощадили, ведь и он принял «причастие буйвола»... приличия, благопристойность, честь; наверху, на холме, с которого открывается вид на очаровательную долину Киссаталь, они вместе с монахами, державшими в руках факелы, отпраздновали наступление новой эры, эры «жертв и страданий»; у людей опять появились пфенниги на булочки и на то, чтобы купить себе кусок мыла; настоятель был поражен тем, что Роберт не захотел участвовать в церемонии; монахи на взмыленных конях во весь опор взлетели на вершину холма, они хотели зажечь там костер; они праздновали солнцеворот; зажечь поленницу разрешили Отто; он сунул горящий факел в кучу хвороста, на холме зазвучали голоса, которые так прекрасно умели петь «*gocate coeli*», но теперь они пели песню, которую, я надеюсь, никогда не запоет мой внук: «Дрожат дряхлые кости»; ну как, твои кости еще не дрожат, старик?

Иди сюда, положи голову мне на колени, закури сигару, чашка кофе стоит рядом с тобой, тебе ее легко достать; закрой глаза, хва-

тит, подремли, забудем счет времени, давай повторять без конца, как причитание, «помнишь ли ты?..». Вспомни годы, когда мы жили за городом в Блессенфельде, где каждый вечер казался субботним, где народ угощался жареной рыбой в закусочных, а пирожными и мороженым прямо у тележек продавцов; этим счастливицам позволялось есть руками, а мне этого никогда не позволяли, пока я жила дома; но ты мне позволил; вокруг визжали шарманки и поскрипывали карусели, мои глаза и уши были открыты, и я проникалась сознанием того, что только непостоянное может быть постоянным; ты вызволил меня из страшного дома, где семья Кильб прожила четыреста лет, тщетно пытаюсь вырваться на волю; до знакомства с тобой я проводила летние вечера в садике на крыше, а они сидели внизу и пили вино; там собиралось то мужское, то дамское общество, но в визгливом женском смехе я слышала то же, что и в громком гоготе мужчин, — отчаяние; их отчаяние становилось явным, когда вино развязывало им языки, когда они преступали табу и аромат летнего вечера высвобождал их из оков ханжества; все они не были ни достаточно богатыми, ни достаточно бедными, чтобы открыть единственно постоянное на земле — непостоянство; я тосковала по нему, хотя и меня воспитали в духе вечных категорий... брак, верность, честь, супружеская

спальня, где все совершается по обязанности, а не по склонности; солидность строительных сооружений — все это прах, уплотненный прах, который снова превращается в пыль; в ушах у меня все время звучало, подобно зову бурлящей в половодье реки: «зачемзачемзачем», я не хотела проникаться их отчаянием, не хотела принять в наследство тот мрак, который они передавали из поколения в поколение; я тосковала по белому невесомому «причастию агнца», и когда пели «*теа суфра, теа суфра, теа тахита суфра*», я старалась вырвать из своей груди наследие пращуров — тьму и насилие; возвращаясь от мессы, я оставляла в передней молитвенник, отец еще успевал запечатлеть на моем лице приветственный поцелуй, а потом я слышала, как постепенно удалялся его густой бас, пока он шел через двор к своей конторе; мне было пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать лет; по жестким глазам матери я видела, что она поджидает моего совершеннолетия; когда-то ее бросили на съедение волкам, так стоит ли щадить меня? Эти волки уже подрастали — выпивохи в форменных фуражках, красивые и некрасивые; на мне тяготело страшное проклятие: глядя на их руки и глаза, я знала, что станет с ними лет в сорок или в шестьдесят, я видела на их лицах и руках вздувшиеся лиловые вены; от этих людей никогда не пахло

субботним вечером... серьезность, мужское достоинство, ответственность; они будут стоять на страже законов, преподавать детям историю, подсчитывать барыши; решив раз и навсегда сохранить политическое благоразумие, все они так же, как и мои братья, осуждены принимать «причастие буйвола»; уже смолоду они не бывают молоды, лишь смерть сулит всем им блеск и величие, окутывая их легендарной дымкой; время было для этих людей только средством приближения к смерти, они принюхивались ко всякой мертвечине, и им нравилось все, что пахло гнилью, они сами пахли гнилью; тление... я ощущала его в отчем доме и в глазах тех, кому меня предназначали на съедение; господа в форменных фуражках, стражи законов; только две вещи были под запретом — жажда жизни и игра. Ты понимаешь меня, старик? Игра считалась смертным грехом; не спорт — его они терпели, ведь спорт сохраняет живость, придает грацию, красоту, улучшает аппетит, аппетит волков; комнаты с кукольной мебелью — это уже хорошо, они воспитывают женские и материнские инстинкты; танцевать опять-таки хорошо, так полагается, но зато грех танцевать в полном одиночестве в одной рубашке у себя в комнате, это ведь не обязательно; на балах и в темных коридорах господам в форменных фуражках разрешалось тискать меня, они имели также

право расточать мне не очень рискованные ласки в лесных сумерках, когда мы возвращались с пикников; такие вещи были дозволены, ведь мы не ханжи! Я молилась, чтобы явился избавитель и спас меня от смерти в волчьем логове, я молилась и принимала белое участие, я видела тебя в окне мастерской; если бы ты только знал, как я тебя любила, если бы ты только догадывался, ты не стал бы сейчас так смотреть на меня, не показал бы мне счет времени; лучше расскажи, как выросли за эти годы мои внуки, расскажи, спрашивают ли они обо мне, не забывают ли меня. Нет, я не хочу их видеть, я знаю, они меня любят, знаю также, что была лишь одна возможность спасти меня от убийц — объявить сумасшедшей. Но ведь со мной могло случиться то же, что с матерью Греца, правда? Мне повезло, очень повезло; в мире, где одно движение руки стоит человеку жизни, где, объявив человека сумасшедшим, можно либо погубить его, либо спасти; нет, пока я еще не собираюсь изрыгнуть годы, которые меня заставили проглотить, я не хочу видеть Йозефа двадцатидвухлетним молодым человеком со следами известки на брюках, с пятнами гипса на пиджаке, не хочу видеть, как он, сияя, размахивает линейкой или идет, держа под мышкой скатанные в трубку чертежи, не хочу видеть девятнадцатилетнюю Рут, читающую «Коварство и лю-

бовь»; закрой глаза, старый Давид, захлопни календарь, вот тебе кофе.

Я в самом деле боюсь, поверь мне, это не ложь, пусть мой кораблик плывет, не топи его, не будь озорным мальчишкой, который все разрушает; сколько в мире зла, и как мало на свете чистых душ; Роберт тоже участвует в игре, он послушно отправляется повсюду, куда я его посылаю: от тысяча девятьсот семнадцатого до тысяча девятьсот сорок второго года — ни шагу дальше; он держится всегда прямо, не гнется, он истый немец; я знаю, что он тосковал по родине, что на чужбине ничто не приносило ему счастья — ни игра в бильярд, ни зубрежка формул, знаю, что он вернулся не только ради Эдит; он истый немец, он читает Гёльдерлина и никогда не принимал «причастие буйвола»; Роберт принадлежит к числу избранных, он не агнец, а пастырь. Хотелось бы только знать, что он делал во время войны, но об этом он никогда не рассказывает; он стал архитектором, но не выстроил ни одного дома, на его брюках никогда не было следов известки, он всегда выглядел безукоризненно, всегда был кабинетным ученым, никогда не мечтал попировать на празднике по случаю окончания стройки. А где же мой другой сын, Отто? Пал под Киевом; наша плоть и кровь; откуда он взялся такой и куда ушел? Правда ли, что он был похож на твоего отца? Неуже-

ли ты ни разу не встретил Отто с девушкой? Мне бы так хотелось узнать что-нибудь о нем; я помню, что он с удовольствием пил пиво и не любил огурцов, помню все его жесты, когда он причесывался и когда надевал пальто; он донес на нас полицию, он пошел в армию, не закончив даже гимназии, и писал нам убийственно насмешливые открытки: «Мне живется хорошо, чего и вам желаю; пришлите три тысячи».

Даже в отпуск он и то не приезжал домой. Где он проводил свои отпуска? Какой сыщик сумел бы нам рассказать об этом? Я знаю номера его полков и номера полевых почт, знаю его воинские звания; он был обер-лейтенантом, майором и подполковником; подполковник Фемель; последний удар был, как всегда, нанесен нам с помощью цифр: «пал 12/1.1942». Я собственными глазами видела, как он сбивал с ног прохожих за то, что они не отдавали честь нацистскому знамени, видела, как он поднимал руку и бил их, он и меня ударил бы, если бы я не поспешила свернуть в переулок. Как он попал в наш дом? Я не могу придумать никакого глупого утешения, не могу даже внушить себе, что Отто подменили при рождении — он родился дома, в нашей спальне наверху, через две недели после смерти Генриха, он родился в темный октябрьский день тысяча девятьсот семнадцатого года и был похож на твоего отца.

Тише, старик, ничего не говори, не открывай глаза, не показывай, что тебе уже восемьдесят лет. «Memento quia pulvis es et in pulverem reverteris»*. Нам сказано это достаточно ясно, все прах — и известковая пыль, и закладные, и дома, и поместья, и усадьбы, и памятник в тихом пригороде, где дети, играя, будут спрашивать: «Кто же он такой?»

Когда я была молодой матерью, цветущей и жизнерадостной, и гуляла в Блессенфельдском парке, я уже понимала, что ворчливые пенсионеры, которые бранят шумных ребятишек, бранят тех, кто когда-нибудь тоже станет ворчливым пенсионером, ругающим шумных ребятишек, которые в свою очередь тоже превратятся в угрюмых пенсионеров; я вела за руки двоих мальчиков, младшему было четыре года, старшему шесть, потом младшему исполнилось шесть, а старшему — восемь, еще позже младшему стало восемь, а старшему — десять, я помню железные таблички с аккуратно выведенными черными цифрами на белой эмали: «25», «50», «75», «100», такие же таблички висели на трамвайных остановках; по вечерам ты клал голову мне на колени, чашка кофе всегда была у тебя под рукой, мы тщетно ждали счастья, мы не были счастливы ни в купе вагонов, ни в отелях; чужой человек

* Прах ты и в прах возвратишься (*лат.*).

ходил по нашему дому, носил наше имя, пил наше молоко, ел наш хлеб, покупал за наши деньги сперва какао в детской группе, а потом школьные тетради.

Отнеси меня снова на берег реки, чтобы мои босые ноги коснулись мусора, выброшенного рекою в половодье, отнеси меня к реке, где гудят пароходы и пахнет дымом, отведи меня в кафе, где на стол подает женщина с прекрасными руками; тише, старик, не плачь; я жила во внутренней эмиграции; у тебя есть сын, двое внуков, быть может, они скоро подарят тебе правнуков; не в моей власти вернуться к тебе и каждый день делать себе новый кораблик из листка календаря, чтобы весело плавать на нем до полуночи; сегодня шестое сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, настало будущее — немецкое будущее, я сама читала о нем в местной газетке:

«Один из эпизодов немецкого будущего: 1958 год; двадцатилетний унтер-офицер Моргнер стал тридцатипятилетним крестьянином Моргнером, он поселился на берегу Волги; его рабочий день кончился, Моргнер наслаждается заслуженным отдыхом, покуривая свою трубочку, на руках у него один из его белокурых малышей; Моргнер задумчиво смотрит на свою жену, которая как раз в этот момент доит последнюю корову... Немецкое молоко на берегу Волги...»

Ты не желаешь слушать дальше? Ладно, но с меня хватит будущего; не хочу знать, каким оно становится, превращаясь в настоящее, разве немцы не живут на берегу Волги? Не плачь, старик, внеси за меня выкуп, и я вернусь к тебе из заколдованного замка, хочу ружье, хочу ружье.

Будь осторожен, когда начнешь взбираться вверх по стремянке, вынь изо рта сигару, тебе уже не тридцать лет, и у тебя может закружиться голова; ведь сегодня вечером ты устраиваешь в кафе «Кронер» семейное торжество. Может быть, я приду поздравить тебя с днем рождения, прости, что я смеюсь; Иоганне исполнилось бы сорок восемь, Генриху сорок семь; они унесли в могилу свое будущее; не плачь, старый, ты сам все это затеял, будь осторожен, когда начнешь карабкаться по стремянке.

6

Черно-желтый автобус остановился у въезда в деревню, а потом свернул с шоссе, направляясь к Додрингену; в облаке пыли, которое поднял автобус, Роберт увидел отца; казалось, старик вынырнул из густого тумана; его тело все еще было гибким, да и полдневный зной почти не отразился на нем; старик повернул

на главную улицу, прошел мимо «Лебедя»; деревенские парни на крыльце трактира провожали его скучающими взглядами; среди них были пятнадцатилетние и шестнадцатилетние подростки, возможно, те самые, что подкарауливали Гуго в глухих закоулках и темных сараях, когда он шел из школы, те самые, что избивали его, называя агнцем божьим.

Старик миновал канцелярию бургомистра и подошел к военному обелиску; усталый самшит, выросший на кислой деревенской почве, простирал свои ветви над обелиском в честь погибших в трех войнах; старик остановился у кладбищенской стены, вытащил носовой платок, одернул пиджак и пошел дальше; при каждом шаге старого Фемеля его правая штанина описывала затейливую кривую, на секунду Роберту становилась видна темно-синяя подшивка брюк, а потом нога старика снова опускалась на землю и снова поднималась, чтобы вновь описать кокетливую кривую; Роберт посмотрел на вокзальные часы — было без двенадцати четыре, а поезд прибудет только в двадцать минут пятого, до него больше получаса; насколько Роберт помнил, они с отцом никогда не оставались так долго вдвоем; он надеялся, что старик задержится в лечебнице подольше и ему не придется вести с ним сыновнюю беседу. Зал ожидания на вокзале в Денклингене был самым неподходящим

местом для встречи, о которой отец мечтал, возможно, уже лет двадцать, а то и тридцать, мечтал о встрече с взрослым сыном, давно вышедшим из детского возраста, сыном, которого уже не возьмешь за ручку, не повезешь на морские купанья и не пригласишь в кафе съесть кусок торта или мороженое. Поцелуй на сон грядущий, поцелуй по утрам, вопрос «приготовил ли ты уроки?» и несколько сентенций, вроде «честному мужу честен и поклон» или «у Бога милости много»; отец давал сыну деньги и по-ребячески гордился его спортивными грамотами и хорошими гимназическими табелями; немного смущенные, они разговаривали об архитектуре, ездили за город в аббатство Святого Антония; отец ни слова не сказал в день его бегства и в день возвращения; их трапезы в присутствии Отто проходили в гнетущем молчании, даже о погоде и то немислимо было говорить; они резали мясо серебряными ножами, брали подливку серебряными ложками, мать цепенела, как кролик перед удавом, старик смотрел в окно, крошил хлеб, машинально подносил ложку ко рту, у Эдит дрожали руки, а Отто с презрительной миной накладывал себе самые большие куски мяса, он единственный за столом отдавал должное каждому блюду; тот самый Отто — отцовский любимец, который так радовался в детстве семейным прогулкам и увеселительным поезд-

кам и был таким милым озорником, веселым мальчиком с безоблачным будущим, мальчиком, созданным для того, чтобы составить счастье отца, дать ему ощутить полноту жизни; время от времени Отто весело говорил: «Вы можете выгнать меня», но никто ему не отвечал. После этих трапез Роберт шел с отцом в его мастерскую — просторное помещение, где по-прежнему стояли пять чертежных столов для помощников, которых уже не было; в мастерской Роберт чертил и проделывал разные манипуляции с формулами, пока старый Фемель медленно надевал рабочий халат и рылся в кипе чертежей, время от времени подходя к большому чертежу Святого Антония; потом он отправлялся гулять, пил кофе, навещал старых коллег, старых врагов; в тех домах, где Фемель вот уже сорок лет был желанным гостем: в одних из-за старшего сына, в других из-за младшего, — вновь, казалось, наступил ледниковый период, и все же он никогда не терял жизнерадостности, этот старик, которому на роду было написано жить весело, пить вино и кофе, путешествовать и рассматривать каждую хорошенькую девушку, встреченную на улице или в поезде, как возможную невестку; нередко он часами прогуливался с Эдит, которая толкала перед собой детскую колясочку; у старика было в то время мало работы, он считал за счастье, если ему поручали небольшие

перестройки в больницах, когда-то им же созданных, он чертил проекты и наблюдал за ходом работ; если же представлялся случай отремонтировать какую-нибудь стену в аббатстве, он ездил в Киссаталь; старый Фемель считал, что Роберт на него сердит, Роберт полагал, что старик сердится на него.

Теперь Роберт стал уже совсем зрелым человеком, отцом взрослых детей; он перенес тяжелый удар — смерть жены, побывал в эмиграции, опять вернулся на родину, был на войне, пережил и предательство, и истязания, стал вполне самостоятельным, нашел свое место в жизни: «Доктор Роберт Фемель. Контора по статическим расчетам. После обеда закрыто»; наконец-то они могли беседовать, как равный с равным.

— Вам еще кружку пива? — спросил хозяин, стирая пивную пену с никелированной стойки; потом он вынул из витрины с холодильной установкой две тарелки — биточки с горчицей — и подал их парочке, сидевшей в углу; парочка, разгоряченная прогулкой на свежем воздухе, пребывала в блаженной истоме.

— Да, — сказал Роберт, — еще кружку, пожалуйста. — Он раздвинул занавеску и увидел, что отец свернул направо, миновал ворота кладбища, перешел через улицу и остановился у палисадника перед домом начальника стан-

ции, чтобы полюбоваться лиловыми, только что распустившимися астрами; он, видимо, медлил.

— Нет, — сказал Роберт хозяину за стойкой, — мне, пожалуйста, две кружки пива и десяток сигарет «Виргиния».

Там, где сейчас ворковала парочка, сидел тогда американский офицер; из-за светлых, коротко стриженных волос он казался еще моложе, чем был на самом деле; его голубые глаза излучали веру, веру в будущее, в котором все станет ясным; мысленно он разбил будущее на одинаковые квадраты, как карту, оставалось только выяснить масштаб этой карты — один к одному или же один к трем миллионам. На столе рядом с тонким карандашом, которым время от времени постукивал офицер, лежала топографическая карта округа Кисслинген.

За прошедшие тридцать лет стол не претерпел никаких изменений; на правой ножке, в которую теперь пытались упереться пыльные сандалии молодого человека, все еще виднелись инициалы, вырезанные от скуки кем-то из учащихся шоферских курсов, — Й. Д., наверное, парня звали Йозеф Додрингер; даже скатерть была такой же — в красную и белую клетку; эти стулья пережили две мировые войны, буквое дерево, соответствующим образом

обработанное, превратилось в прочное сиденье; вот уже семьдесят лет, как на этих стульях покоились зады крестьян, ожидающих поезда; только витрина с холодильной установкой была недавнего происхождения, в ней лежали полузасохшие биточки, холодные котлеты и крутые яйца, предназначенные для проголодавшихся или же скучающих пассажиров.

— Пожалуйста, сударь, две кружки пива и десяток сигарет.

— Большое спасибо.

На стене висели те же картины, что и прежде; на одной было изображено аббатство Святого Антония, вид сверху, сфотографированное еще с помощью старой доброй фотопластинки и черного покрывала; очевидно, аббатство снимали с Козакенхюгеля: на фотографии были видны крытая галерея, трапезная, огромная церковь, хозяйственные постройки; рядом с аббатством висела выцветшая олеография с изображением любовной парочки, отдыхающей в поле на меже: колосья, васильки, изжелта-коричневая глинистая дорога, пересохшая от зноя; шаловливая деревенская красотка щекочет соломинкой за ухом своего ухажера, голова которого покоится у нее на коленях.

«Поймите меня правильно, господин капитан, мы бы очень хотели знать, почему вы это сделали, ясно? Разумеется, нам известен при-

каз о выжженной земле... не оставлять врагу ничего, кроме развалин и трупов... не правда ли? Но я не думаю, что вы сделали это в порядке выполнения приказа, простите, но вы слишком... интеллигентны для этого. Почему же, почему вы взорвали аббатство? Оно было в своем роде культурно-историческим памятником первостепенного значения; сейчас военные действия в этом районе прекращены, и вы находитесь у нас в плену, так что вам навряд ли удастся рассказать своим о наших колебаниях, поэтому я могу признаться, что наш командующий скорее пошел бы на двух- или трехдневную проволочку, на замедление темпа наступления, чем согласился бы хоть пальцем тронуть аббатство. Почему же вы в таком случае взорвали его? Ведь и в тактическом, и в стратегическом отношении это было явно бессмыслицей. Вы не только не помешали нашему наступлению, напротив, вы ему содействовали. Хотите закурить?»

Сигарета «Виргиния» была приятной на вкус — ароматной и крепкой.

«Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Пожалуйста, скажите хоть слово, я вижу, мы почти однолетки, вам двадцать девять, мне двадцать семь. Я хотел бы вас понять. А может, вы не желаете говорить, потому что боитесь последствий — с нашей стороны или со стороны своих соотечественников?»

Нет, просто если бы Роберт попытался облечь свои мысли в слова, они перестали бы соответствовать истине, а если бы эти слова занесли в протоколы, они и вовсе потеряли бы всякое сходство с правдой. Как мог он сказать, что ждал этого момента пять с половиной лет войны, ждал, когда аббатство, словно по мановению волшебного жезла, станет его добычей; он хотел воздвигнуть памятник из праха и развалин тем, кто не представлял собой «культурно-исторической ценности», тем, кого никто не щадил: Эдит, убитой осколком во время бомбежки; Ферди, которому за покушение был вынесен «законный» приговор; мальчику, бросавшему крошечные записочки в почтовый ящик; бесследно исчезнувшему отцу Шреллы; самому Шрелле, обреченному жить вдали от страны Гельдерлина; Гролю — кельнеру из «Якоря», и тысячам юношей, которые умерли с песней «Дрожат дряхлые кости»; за них ни у кого не потребовали отчета, ни у кого из тех людей, кто не научил этих юношей ничему лучшему; в распоряжении Роберта были динамит и несколько формул, с их помощью он воздвигал свои «памятники»; у него под началом была команда подрывников, славившаяся своей исполнительностью: Шрит, Хохбрет, Кандерс.

«Нам доподлинно известно, что вы не могли принимать всерьез своего начальника

Отто Кёстерса; наши армейские психиатры единодушно признали его сумасшедшим... а вы даже не представляете, как трудно добиться единодушия среди наших армейских психиатров, — так вот, они признали генерала Кёстерса сумасшедшим, человеком, который не несет ответственности за свои поступки, таким образом, господин капитан, вся ответственность за взрыв падает на вас, ведь вы, бесспорно, не сумасшедший и... должен признаться, вы сильно скомпрометированы показаниями ваших же коллег. Я не намерен спрашивать о ваших политических взглядах, я привык к торжественным заверениям в полной невиновности, честно говоря, они уже успели мне приесться; как-то я сказал своим товарищам: в этой чудесной стране найдется не больше пяти, шести, на худой конец девяти виновных, и нам невольно придется спросить себя: против кого же, собственно говоря, велась эта война, неужели против одних только рассудительных, симпатичных, интеллигентных, я бы сказал даже сверхинтеллигентных, людей... так, пожалуйста, ответьте на мой вопрос! Зачем, зачем вы это сделали?»

Там, где сидел когда-то американский офицер, молодая девушка ела биточки и, хихикая, прихлебывала пиво маленькими глотками; на

горизонте виднелась темно-серая стройная башня Святого Северина; она уцелела.

Возможно, Роберт должен был сказать, что уважение к культурно-историческим памятникам кажется ему таким же умилительным, как и та ошибка, в которую впали американцы и англичане, считавшие, что они встретят одних лишь извергов, а не симпатичных и рассудительных людей. Он воздвиг памятник Эдит и Ферди, Шрелле и его отцу, Гролю и мальчику, который бросал в почтовый ящик его записки, памятник поляку Антону, поднявшему руку на Вакеру и убитому за это, памятник тысячам юношей, которые пели «Дрожат дряхлые кости», потому что их не научили ничему лучшему, памятник овцам, которых никто не пас.

Если его дочь Рут намерена поспеть на поезд, она пробегает сейчас мимо портала Святого Северина, направляясь к вокзалу; на темных волосах Рут — зеленая шапочка, она в розовом джемпере, разгоряченная и счастливая; ведь ей предстоит встреча с отцом, братом и дедушкой, поездка в аббатство Святого Антония, где они выпьют кофе перед большим семейным торжеством, назначенным на вечер.

Старик стоял в тени у здания вокзала и изучал расписание поездов; его худое лицо покраснелось; отец был неизменно любезен,

щедр и приветлив, вот уж кто никогда не принимал «причастия буйвола» и на старости лет не озлобился. Знал ли старик правду об аббатстве? Или еще узнает? А Йозеф, его сын, — сможет ли он ему это объяснить? И все-таки молчать лучше, чем высказывать мысли и чувства, которые занесут в протоколы и покажут психиатрам.

Роберт так и не сумел ничего объяснить любезному молодому человеку, который смотрел на него, качая головой; потом американец подвинул к нему распечатанную пачку сигарет; он взял ее со стола, сказав «спасибо», сунул в карман, а сам снял с груди Железный крест, положил на стол и подвинул к молодому человеку; скатерть в красную и белую клетку слегка смялась на этом месте, но он ее опять разгладил; молодой человек покраснел.

— Да нет, — сказал Роберт, — простите, если это вышло неловко; я не хотел вас обидеть, просто у меня вдруг возникло желание подарить вам на память Железный крест, на память о человеке, который взорвал аббатство Святого Антония и получил за это орден, взорвал, хотя знал, что его начальник сумасшедший и что взрыв и в тактическом, и в стратегическом отношении совершенно бессмыслен. Я с удовольствием возьму сигареты,

но, прошу вас, считайте, что мы просто обменялись подарками, ведь мы ровесники.

Быть может, он взорвал аббатство потому, что на празднике солнцеворота десять монахов взобрались на Козакенхюгель и, когда костер разгорелся, затянули песню «Дрожат дряхлые кости», огонь развел Отто, а он с маленьким сыном на руках стоял тут же; его мальчик, белокурый Йозеф, захлопал в ладоши от радости, любуясь ярким пламенем; рядом с ним стояла Эдит, сжимая его правую руку; быть может, он взорвал аббатство также и потому, что Отто никогда не был ему чужим в этом мире, где одно движение руки стоит человеку жизни; вокруг костра, зажженного в честь солнцеворота, толпилась деревенская молодежь из Додрингена, Шаклингена, Кисслингена и Денклингена; костер бросал диковинные отсветы на разгоряченные лица парней и девушек; Отто выпала честь зажечь этот костер, и все вокруг запели то же, что запел почтенный монах, вонзивший шпоры в бока своей почтенной крестьянской лошади: «Дрожат дряхлые кости». Молодежь с факелами в руках, горланя песню, спустилась с холма; возможно, он должен был сказать американскому офицеру, что взорвал аббатство потому, что монахи не следовали заповеди «паси овец Моих», и еще объяснить ему, что он не чувствует ни малейшего раскаяния; но вслух он произнес только:

— Быть может, это была всего лишь шутка, игра.

— Удивительные шутки, удивительные игры. Ведь вы — архитектор?

— Нет, я занимаюсь статикой.

— Пусть так, особой разницы я не вижу.

— Взрыв, — сказал Роберт, — нечто противоположное статике. Так сказать, ее обратная величина.

— Извините, — прервал его молодой человек, — я всегда был слаб в точных науках.

— А мне они всегда доставляли величайшее удовольствие.

— Ваше дело начинает интересовать меня уже не по служебной линии. Как понимать ваши слова о любви к точным наукам, значит ли это, что взрыв представлял для вас интерес как для специалиста?

— Весьма возможно. Разумеется, архитектору небезынтересно знать, какие силы требуются для того, чтобы парализовать действие статических законов. Согласитесь, взрыв был первоклассный.

— Неужели вы всерьез утверждаете, что здесь сыграл свою роль, так сказать, чисто абстрактный интерес к взрывам?

— Да.

— По-моему, я все же не вправе пренебречь обычным допросом; обращаю ваше внимание на то, что ложные показания давать бесполезно; в

нашем распоряжении вся необходимая документация, мы всегда можем проверить ваши слова.

Только в эту секунду Роберт вспомнил, что аббатство тридцать пять лет назад построил его отец; когда-то ему так часто повторяли эту истину, так упорно ее вдавливали, что он вообще перестал ее воспринимать. Но сейчас Роберту стало страшно, как бы молодой человек не докопался до нее и не подумал, что он нашел правильное объяснение взрыву — «отцовский комплекс». Наверное, лучше всего было бы сказать молодому человеку: я взорвал потому, что они «не пасли овец Его». Тем самым у офицера появилось бы веское основание считать Роберта сумасшедшим. Пока молодой человек задавал ему вопросы, на которые он, не задумываясь, отвечал «нет», Роберт продолжал смотреть в окно на стройную башню Святого Северина, как на ускользнувшую от него добычу.

Девушка отодвинула от себя грязную тарелку и взяла тарелку кавалера; в ту минуту, когда она левой рукой ставила его тарелку на свою, она держала обе вилки в правой руке, а потом положила их на верхнюю тарелку, после чего пожала освободившейся правой рукой локоть юноши и, улыбнувшись, посмотрела ему в глаза.

— Значит, вы не состояли ни в какой организации? Любите Гельдерлина? Хорошо. Завтра я, может быть, вызову вас опять.

«И, сострадавая, сердце Всевышнего твердым останется».

Когда отец появился в зале, Роберт покраснел, он тут же подошел к старику, взял у него из рук тяжелую шляпу и сказал:

— Я забыл поздравить тебя с днем рождения, отец. Извини. Я заказал для тебя пиво, надеюсь, оно еще не очень нагрелось.

— Спасибо, — сказал отец. — Спасибо за поздравление; насчет пива не беспокойся, я вовсе не такой уж любитель холодного пива.

Отец положил руку ему на плечо, и Роберт снова покраснел, вспомнив о том интимном жесте, которым они обменялись в аллее у лечебницы; когда они уславливались о встрече на вокзале в Денклингене, он вдруг ощутил потребность положить руку на плечо отца, и отец сделал то же самое.

— Иди сюда, — сказал Роберт, — сядем за столик, до поезда еще двадцать пять минут.

Они подняли кружки, кивнули друг другу и выпили.

— Хочешь сигару, отец?

— Нет, спасибо. А знаешь ли ты, между прочим, что за последние пятьдесят лет расписание поездов почти не изменилось? Даже таблички, где обозначены часы и минуты, остались прежние, только эмаль на некоторых чуточку облупилась.

— Здесь все как прежде: стулья, столы, картины, — сказал Роберт, — все как в те погожие летние вечера, когда мы пешком приходили сюда из Кисслингена и ждали здесь поезда.

— Да, — ответил отец, — здесь ничего не изменилось. Ты звонил Рут, она приедет? Я ее так давно не видел.

— Конечно, приедет, надо полагать, она уже сидит в вагоне.

— В Кисслингене мы будем в половине пятого или немного позже; как раз успеем выпить кофе и не спеша вернуться домой к семи. Вы ведь приедете на мой день рождения?

— Ну разумеется, отец, как ты можешь сомневаться?

— Да нет, я просто подумал, не отменить ли праздник, не отказаться ли от него... хотя, может быть, этого не стоит делать из-за детей, и вообще я ведь так долго готовился к этому дню.

Старик опустил глаза на скатерть в красную и белую клетку, на которой он описывал круги своей пивной кружкой; Роберта поразила гладкая кожа на руках отца; у старика были руки невинного младенца. Отец поднял глаза и посмотрел Роберту в лицо.

— Я думал о Рут и о Йозефе; ты ведь знаешь, что у Йозефа есть девушка?

— Нет, не знаю.

Старик опять опустил глаза и снова начал водить по скатерти кружкой.

— Когда-то я надеялся, что обе мои здешние усадьбы станут для вас чем-то вроде отчего дома, но все вы предпочитали жить в городе, даже Эдит... только Йозеф, кажется, воплотит мою мечту в жизнь. Странно, почему все считают, что он похож на Эдит и ровно ничего не унаследовал от нашей семьи. Мальчик так похож на Генриха, что иногда я просто пугаюсь; вылитый Генрих, таким бы он стал с годами... Ты помнишь Генриха?

Нашу собаку звали Бром, и мне дали поддержать вожжи, они были черные, кожаные, и кожа потрескалась по краям; хочу ружье, хочу ружье; Гинденбург.

— Да, помню.

— После смерти Генриха усадьба, которую я ему подарил, снова вернулась ко мне, кому мне подарить ее теперь? Йозефу или Рут? А может, тебе? Ты хотел бы ее получить? Ты хотел бы иметь коров и пастбища, центрифуги и корморезки, тракторы и сеноворошилки? Или, может, лучше передать все это добро монастырю? Обе усадьбы я купил на свой первый гонорар; когда я строил аббатство, мне было всего двадцать девять лет, ты даже не можешь себе представить, что значило для молодого архитектора получить такой заказ. Скандал! Сенсация! Но я езжу туда так часто не только чтобы представить себе будущее, которое уже давным-давно стало прошлым.

Когда-то я мечтал сделаться на старости лет чем-то вроде крестьянина. Но из этого ничего не вышло, я просто старый дурак, который играет в жмурки с собственной женой; мы попеременно закрываем глаза и мысленно меняем дату, как меняют пластинки в проекционных фонарях, с помощью которых на стене показывают разные картины; вот, пожалуйста, тысяча девятьсот двадцать восьмой год — мать держит за руку двух красивых сыновей, одному из них тринадцать, другому одиннадцать, рядом стоит отец с сигарой во рту, он улыбается; на заднем плане виднеется не то Эйфелева башня, не то замок Святого Ангела, не то Бранденбургские ворота; выбери себе сам декорацию по вкусу; быть может, это берег моря в Остенде, или башня Святого Северина, или же киоск, где продается лимонад, в Блессенфельдском парке. Да нет же, разумеется, на заднем плане — аббатство Святого Антония; в нашем фотоальбоме оно запечатлено во все времена года, меняется только одежда людей в соответствии с модой: на матери шляпа то с большими полями, то с маленькими; сама она то стриженная, то с высокой прической, иногда на ней узкая юбка, иногда широкая; есть карточка, где младшему из вас три, а старшему пять, на другой — младшему пять, а старшему семь; потом в альбоме появляется незнакомка: светловолосая молодая женщина с ребенком

на руках, второй ребенок стоит рядом с ней, одному ребенку годик, другому три года; знаешь ли ты, что я любил Эдит, как навряд ли полюбил бы родную дочь; я никак не мог себе представить, что у нее были отец, мать и брат. Она казалась мне вестницей Бога; пока Эдит жила у нас в доме, я мог опять произносить Его имя вслух и молиться без краски стыда; какую весть она принесла оттуда, что сказала тебе, как учила мстить за агнцев? Надеюсь, ты точно выполнил веление божье, не посчитался ни с одним из тех ложных аргументов, с коими всегда считался я, надеюсь, ты не стал цепляться за чувство собственного превосходства, сохраняя его на льду иронии, как это делал я? У Эдит на самом деле был брат? Этот брат и сейчас жив? Он действительно существует?

Старик водил кружкой по скатерти, уставившись на красные и белые клетки; не поднимая головы, он спросил:

— Скажи, ее брат действительно существует? Ведь он был твоим другом, я как-то видел его, я стоял у окна в спальне — он шел по двору к тебе; с тех пор я не могу его забыть, я часто думаю о нем, хотя видел его всего несколько секунд; я испугался, словно он был грозным ангелом. Он действительно существует?

— Да.

— Он жив?

— Да. Ты его боишься?

— Да. И тебя тоже. Неужели ты этого не знал? Я не спрашиваю, какую весть тебе принесла Эдит, скажи только — ты исполнил ее наказ?

— Да.

— Хорошо. Ты удивлен тем, что я боялся тебя и еще до сих пор немножко побаиваюсь. Ваши детские заговоры смешили меня, но я перестал смеяться, когда узнал, что они убили того мальчика; он мог быть братом Эдит; только потом я понял, что его казнь была с их стороны чуть ли не гуманным поступком, ведь Ферди все-таки бросил бомбу, по его вине учитель гимнастики получил ожоги; ну а что сделал мальчик, который опускал в наш почтовый ящик твои записки, или поляк, осмелившийся всего лишь поднять руку на того же учителя гимнастики... достаточно было не вовремя моргнуть, достаточно было иметь волосы не того цвета, как надо, или нос не той формы, как надо... впрочем, и этого не требовалось — им вполне хватало метрического свидетельства отца или метрики бабушки; долгие годы мне помогал смех, но потом все кончилось, он перестал действовать; лед растаял, Роберт, моя ирония скисла, и я выбросил ее, как выбрасывают старый хлам, казавшийся в давние времена очень ценным; я всегда считал, что люблю и понимаю твою мать... но только в то время я

ее по-настоящему понял и полюбил; только в то время я понял и полюбил вас, хотя осознал это позднее; когда война кончилась, я оказался в чести, меня назначили уполномоченным по строительству всего округа; наконец-то настал мир, думал я, все миновало, началась новая жизнь... но как-то в один прекрасный день английский комендант решил принести мне, так сказать, свои извинения, он извинялся за то, что англичане разбомбили Гонориускирхе и уничтожили скульптурную группу «Распятие», созданную в двенадцатом веке, комендант извинялся не за Эдит, а за скульптурную группу двенадцатого века, «Sorry»*, — говорил он; впервые за десять лет я снова рассмеялся, но это был недобрый смех, Роберт... я отказался от своего поста. Уполномоченный по строительству! К чему это? Ведь я охотно пожертвовал бы всеми скульптурными группами всех веков, чтобы еще хоть раз увидеть улыбку Эдит, ощутить пожатие ее руки; что значит для меня изображение Господа в сравнении с подлинной улыбкой Его вестницы? Я бы пожертвовал Святым Северином ради мальчика, который доставлял нам твои записки, а ведь я его никогда не видел и так и не узнал его имени, я отдал бы за него Святой Северин, хотя понимаю, что это смехотворная цена, так же

* Сожалею (англ.).

как медаль — смехотворная цена за спасение человеческой жизни. Встречал ли ты у кого-нибудь еще улыбку Эдит, улыбку Ферди или улыбку подмастерья столяра? Пусть бы слабый отблеск их улыбки! Ах, Роберт, Роберт!

Старик поставил пивную кружку и облокотился на стол.

— Видел ли ты когда-нибудь потом такую улыбку? — пробормотал он, закрывая лицо руками.

— Да, видел, — сказал Роберт, — так улыбается бой в отеле, его зовут Гуго... Как-нибудь я тебе его покажу.

— Я подарю этому мальчику усадьбу, которую не взял Генрих; напиши его имя и адрес на подставке для пива; на этих картонных кружочках пишутся самые важные вещи; сообщи мне также, если ты что-нибудь услышишь о брате Эдит. Он жив?

— Жив. Ты все еще боишься Шреллы?

— Да. Страшнее всего то, что в нем нет ничего, вызывающего жалость; глядя, как он шел по двору, я сразу понял, что это сильный человек и что его поступки определяются отнюдь не теми причинами, которые так важны для всех остальных людей; какая разница, беден он или богат, уродлив или красив, колотила ли его мать в детстве или *не* колотила. Других людей все эти причины толкают в ту или иную сторону, они начинают либо стро-

ить церкви, либо, скажем, убивать женщин, становятся либо хорошими учителями, либо плохими органистами. Но поступки Шреллы, я это сразу понял, нельзя было объяснить ни одной из этих причин; в те времена я еще не разучился смеяться, но в нем я не нашел ничего, ни единого пунктика, который мог бы вызвать смех; и мне стало страшно, казалось, по двору прошел грозный ангел, посланец Бога, который хочет взять тебя в залог; он так и сделал — взял тебя заложником; в Шрелле не было ничего, вызывающего жалость; даже после того как я узнал, что его избивали и хотели уничтожить, он не пробудил во мне жалости.

— Господин советник, я только сейчас узнал вас; рад, что вы в добром здравии; много воды утекло с тех пор, как вы приходили сюда в последний раз.

— Муль, это вы? Ваша матушка еще жива?

— Нет, господин советник, она ушла от нас. Похороны были грандиозные. Мать прожила хорошую жизнь, у нее было семеро детей, тридцать шесть внуков и одиннадцать правнуков, она хорошо прожила свою жизнь. Окажите мне честь, господа, выпейте в память моей покойной матери.

— С удовольствием, милый Муль, она была превосходная женщина.

Хозяин подошел к стойке и наполнил кружки, старик встал, вслед за ним поднялся и Роберт; на вокзальных часах было всего десять минут пятого; у стойки стояли двое крестьян, они со скучающим видом запихивали себе в рот биточки, обмазанные горчицей, и, удовлетворенно побрякивая, пили пиво; хозяин вернулся к столику, его лицо покраснело, а глаза увлажнились; составив пивные кружки с подноса на стол, он сам взял одну из них.

— В память вашей матушки, Муль, — сказал старый Фемель. Они подняли кружки, кивнули друг другу и, осушив их, поставили обратно.

— А знаете ли вы, — спросил старик, — что пятьдесят лет назад ваша мать предоставила мне кредит; я явился сюда из Кисслингена, умирая от жажды и голода; железнодорожный путь ремонтировали, но в то время мне еще ничего не стоило отмахать четыре километра пешком; за ваше здоровье, Муль, и за вашу матушку. Это — мой сын, вы с ним не знакомы?

— Фемель... очень приятно...

— Муль... очень приятно...

— Вас здесь знает каждый ребенок, господин советник, все знают, что вы построили аббатство, а старушки еще помнят немало занятных историй про вас, они могут рассказать, как вы заказывали для каменщиков пиво целыми вагонами, как плясали на празднике

по случаю окончания строительства. Пью за ваше здоровье, господин советник!

Они выпили стоя. Хозяин направился обратно к стойке, мимоходом собрал грязные тарелки со столика, где сидела парочка, и задвинул их в окошко на кухню; молодой человек начал с ним рассчитывать, Роберт все еще стоял с пустой кружкой в руках и пристально смотрел на Муля. Отец потянул его за пиджак.

— Садись, — сказал старик, — садись, в нашем распоряжении целых десять минут. Мули — прекрасная семья, хорошие люди.

— Ты не боишься их, отец?

Старик без тени улыбки посмотрел в глаза сыну; на его худом лице все еще не было морщин.

— Эти люди, — сказал Роберт, — мучили Гуго, может быть, один из них был палачом Ферди.

— Пока тебя здесь не было и мы ждали от тебя весточки, я боялся всех и каждого... но бояться Муля? Теперь? Ты его боишься?

— При виде нового человека я всегда спрашиваю себя, хотел бы я оказаться в его власти, и знаешь, на свете совсем немного людей, про которых я мог бы сказать: «Да, хотел бы».

— Ты был во власти брата Эдит?

— Нет. Просто мы жили с ним вместе в Голландии, в одной комнате, и делили все, что у нас было. Полдня мы играли в бильярд, другую половину учились, он — немецкому

языку, я — математике; я не был в его власти, но в любое время согласился бы оказаться... И в твоей власти тоже. — Роберт вынул изо рта сигарету. — Я бы с удовольствием подарил тебе что-нибудь в день твоего восьмидесятилетия... я хотел бы тебе сказать... может, ты и сам догадываешься, что именно я хотел бы тебе сказать?

— Догадываюсь. — Старик положил руку на руку сына. — Можешь не говорить.

Ради тебя я с удовольствием пролил бы несколько слезинок — слез раскаяния, но не могу заставить себя плакать; башня Святого Северина все еще кажется мне добычей, которая от меня ускользнула; жаль, что аббатство было детищем твоей юности, твоей большой судьбой, твоим счастливым жребием; ты его хорошо построил, это было прочное сооружение из камня, с точки зрения статики просто великолепное; мне пришлось затребовать два грузовика взрывчатки; я обошел все аббатство и повсюду начертил мелом свои формулы и цифры: на стенах, на колоннах, на опорах свода; я начертил их на большой картине Тайной Вечери между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра; ведь я знал аббатство как свои пять пальцев; ты мне часто рассказывал о нем и в ту пору, когда я был совсем ребенком, и в ту пору, когда подрос, и после, когда я стал юношей; я чертил на стенах формулы, а рядом

со мной семенил настоятель, единственный не покинувший аббатства, он взывал к моему разуму и к моей набожности; на счастье, это был новый настоятель, для которого я был чужой. Тщетно апеллировал священник к моей совести. Хорошо, что он не знал, как я приезжал по субботам к ним в гости, ел форель и мед, не знал, что я был сыном их архитектора и уплетал когда-то деревенский хлеб с маслом; он смотрел на меня, как на безумного, но я прошептал ему: «Дрожат дряхлые кости»; мне тогда было двадцать девять лет, как раз столько же, сколько было тебе во время строительства аббатства, втайне я уже поджидал новую добычу, ту, что вырисовывалась вдали на горизонте, — серую и стройную башню Святого Северина, но я попал в плен, и именно здесь, на вокзале в Денклингене, за тем столиком, где сейчас никого нет, меня допрашивал молодой офицер.

— О чем ты думаешь? — спросил старик.

— Об аббатстве Святого Антония, я там так давно не был.

— Ты рад, что едешь туда?

— Я рад, что встречу с Йозефом, мы очень давно не виделись.

— Сказать по чести, я им горжусь, — начал старик, — он так непринужденно и непосредственно держит себя; когда-нибудь он станет дельным архитектором, правда, он, пожалуй,

чересчур строг с рабочими и слишком нетерпелив, но разве можно ожидать терпения от двадцатидвухлетнего юноши? Сейчас его подгоняют сроки, монахам очень хочется отслужить предРождественские мессы уже в новой церкви; разумеется, на освящение пригласят всех нас.

— А настоятель у них все тот же?

— Кто?

— Отец Грегор?

— Нет, он умер в сорок седьмом году; отец Грегор не смог перенести взрыва аббатства.

— А ты, ты смог это перенести?

— В первый момент, когда мне сообщили, что аббатство разрушено, я очень огорчился; потом я поехал туда, увидел развалины, увидел расстроенных монахов, которые собирались создать специальную комиссию для розыска виновного, и отсоветовал им это, я не хотел мстить за уничтоженные здания, я боялся, что они таки найдут виновного и он начнет извиняться передо мной; я с ужасом вспомнил англичан, слово «sorry» все еще звучало у меня в ушах; в конце концов, любое здание можно отстроить заново. Да, Роберт, я это перенес. Не знаю, поверишь ли ты, но я никогда не дорожил зданиями, которые проектировал и строил; на бумаге они мне нравились, я работал над ними, можно сказать, с увлечением, но я не был художником, понимаешь, и не

обольщался на этот счет; когда они предложили мне восстанавливать аббатство, я разыскал старые чертежи. Твоему сыну работа в аббатстве дает великолепную возможность применить свои силы на практике, он станет хорошим организатором, научится обуздывать свое нетерпение. Разве нам еще не пора?

— Осталось четыре минуты, отец. Пожалуй, можно уже выйти на перрон.

Роберт встал, кивнул хозяину и полез в карман за бумажником, но Муль вышел из-за стойки и, минуя Роберта, подошел к старому Фемелю, улыбнулся, положил ему руку на плечо.

— Нет, нет, господин советник... — сказал он, — на этот раз вы мои гости, тут уж я не отступлюсь, это я делаю в память моей матушки.

На улице все еще было тепло, белые клочья паровозного дыма развевались уже над Додрингеном.

— У тебя есть билеты? — спросил старик.

— Да, — сказал Роберт, глядя на поезд, который спускался с возвышенности позади Додрингена; казалось, он летит на них прямо со светло-голубого неба; поезд был темный, старый и трогательный; из служебного помещения вышел начальник станции, на его лице играла праздничная улыбка.

— Сюда, отец, сюда! — закричала Рут, махая рукой. На площадке вагона мелькнула ее

зеленая шапочка и розовый пух джемпера; Рут схватила дедушку за руки, помогла ему подняться на ступеньки, обняла старика, осторожно толкнула его к открытой двери купе, потом потянула отца, поцеловала его в щеку.

— Я страшно рада, — сказала Рут, — правда, страшно рада и встрече с аббатством, и сегодняшнему вечеру в городе.

Начальник станции засвистел и подал знак к отправлению.

7

Когда они подошли к окошку, Неттлингер вынул изо рта сигару и ободряюще кивнул Шрелле; окошко открыли изнутри, надзиратель с листком бумаги в руках высунул голову и спросил:

— Вы заключенный Шрелла?

— Да, — сказал Шрелла.

Надзиратель выкрикивал названия предметов в той последовательности, в какой вынимал их из ящика и клал перед Шреллой.

— Карманные часы из нержавеющей стали без цепочки.

— Кошелек, черный кожаный, содержимое — пять английских шиллингов, тридцать бельгийских франков, десять немецких марок и восемьдесят пфеннигов.

— Галстук, зеленого цвета.
— Шариковая ручка, без марки, цвет — серый.

— Два носовых платка — белых.

— Плащ непромокаемый, с поясом.

— Шляпа черного цвета.

— Безопасная бритва марки «Жилетт».

— Шесть сигарет «Бельга».

— Рубашка, нижнее белье, мыло и зубная щетка были при вас, правда? Распишитесь, пожалуйста, здесь, засвидетельствуйте, что личное имущество возвращено вам полностью.

Шрелла надел плащ, положил в карман возвращенные ему вещи и подписал бумагу, где была проставлена дата: «6 сентября 1958 года, 15 ч. 30 м.».

— Все в порядке, — сказал надзиратель и захлопнул окошко.

Неттлингер снова сунул сигарету в рот и дотронулся до плеча Шреллы.

— Пошли, — сказал он, — выход здесь, или ты опять хочешь в кутузку? Может, ты все же завяжешь галстук?

Шрелла взял сигарету, поправил очки, поднял воротничок рубашки и надел галстук; он вздрогнул, когда Неттлингер внезапно поднес ему к носу зажигалку.

— Да, — сказал Неттлингер, — в этом все заключенные одинаковы, кто бы они ни были — знатные или незнатные, виновные

или невиновные, бедные или богатые, политические или уголовники, — первым делом они хотят закурить.

Шрелла сделал глубокую затяжку; завязывая галстук и опуская воротничок рубашки, он глядел поверх очков на Неттлингера.

— У тебя, видимо, в этом вопросе большой опыт, верно?

— А у тебя нет? — спросил Неттлингер. — Пошли. От прощальных напутствий начальника тюрьмы я тебя, к сожалению, не могу избавить.

Шрелла надел шляпу, вынул изо рта сигарету и последовал за Неттлингером, открывшим дверь во двор. Начальник тюрьмы стоял у окошка, перед которым выстроилась длинная очередь, так как здесь выдавались разрешения на воскресные свидания; это был крупный мужчина, одетый не слишком элегантно, но вполне солидно; его движения были подчеркнута штатскими.

— Надеюсь, — сказал начальник Неттлингеру, направляясь к ним, — все окончилось, к общему удовольствию, быстро и корректно.

— Спасибо, — поблагодарил Неттлингер, — все действительно уладилось в два счета.

— Ну и хорошо, — сказал начальник и, повернувшись к Шрелле, продолжал: — Не обессудьте, если я скажу вам несколько слов на прощанье, хотя вы и были всего один-

единственный день моим... — он засмеялся, — подопечным и по ошибке попали вместо следственной тюрьмы в исправительную. Видите ли, — начал он, указывая на внутренние ворота тюрьмы, — за этими воротами вас ждут вторые ворота, а за теми воротами нечто прекрасное, то, что является для всех нас величайшим благом, а именно — свобода. Не знаю, было ли обоснованным подозрение, которое лежит на вас, во всяком случае... — он опять засмеялся, — в моих гостеприимных стенах вам пришлось познакомиться с тем, что является противоположностью свободы. Так сумейте же правильно использовать свою свободу. Правда, все мы только узники, до той поры, пока наша душа не освободится от телесной оболочки и не вознесется к Создателю, но быть узником в моих гостеприимных стенах — это не фигуральное понятие. Так вот, господин Шрелла, я отпускаю вас на свободу...

Шрелла в смущении протянул ему руку, но быстро отдернул ее; по лицу начальника тюрьмы он понял, что рукопожатие не входило в процедуру прощания; Шрелла смущенно молчал, переложил сигарету из правой руки в левую и, прищурившись, поглядел на Неттлингера. Тюремные стены и клочок неба над этим тюремным двором — вот последнее, что видели глаза Ферди, а голос начальника был, возможно, последним человеческим голосом,

который он слышал; и все происходило на том же самом дворе, таком тесном, что аромат неттлингеровской сигары заполнил его целиком; принюхиваясь, начальник подумал: о боже, в сигарах он всегда знал толк, надо ему отдать справедливость.

— Можно было обойтись и без напутственной речи. Ну, спасибо и до свидания, — заявил Неттлингер, не вынимая изо рта сигары.

Он взял Шреллу за плечи и подтолкнул его к внутренним воротам тюрьмы, которые в этот момент открыли перед ними, потом он медленно повел Шреллу к наружным воротам; Шрелла показал документы тюремному служителю, тот внимательно сверил фотографию, кивнул и открыл ворота.

— Ну, вот она — свобода, — смеясь, произнес Неттлингер. — Там стоит моя машина. Скажи, куда тебя отвезти.

Шрелла перешел через улицу вместе с Неттлингером, но когда шофер распахнул перед ним дверцу машины, он вдруг заколебался.

— Садись, садись, — сказал Неттлингер.

Шрелла снял шляпу, сел в машину, откинулся назад и посмотрел на Неттлингера, который уселся рядом с ним.

— Куда тебя отвезти?

— На вокзал, — сказал Шрелла.

— У тебя там багаж?

— Нет.

— Ты что же, собираешься уже покинуть наш гостеприимный город? — спросил Неттлингер. Наклонившись вперед, он крикнул шоферу: — На Главный вокзал.

— Нет, — сказал Шрелла, — пока что я еще не собираюсь покидать этот гостеприимный город. Ты разыскал Роберта?

— Не удалось, — ответил Неттлингер, — он неуловим. Целый день я пытался с ним связаться, но он уклонился от встречи со мной; я уже почти настиг его в отеле «Принц Генрих», но он успел скрыться через боковую дверь; из-за него мне пришлось пережить в высшей степени неприятные минуты.

— Ты и прежде с ним не встречался?

— Нет, — сказал Неттлингер, — ни разу; он ведет очень замкнутый образ жизни.

Машина остановилась у светофора, Шрелла снял очки, протер их носовым платком и подвинулся ближе к окну.

— Наверное, — сказал Неттлингер, — ты испытываешь очень странное чувство, снова оказавшись в Германии после столь долгой разлуки, да еще при таких обстоятельствах, — ты ее просто не узнаешь.

— Нет, я ее узнаю, — сказал Шрелла, — приблизительно так, как узнаешь женщину, которую любил совсем молодой, а увидел лет через двадцать; как водится, она здорово растолстела. У нее сильное ожирение; очевидно,

ее муж человек не только состоятельный, но и преуспевающий: он купил ей виллу в пригороде, машину, дорогие кольца; после такой встречи на старую любовь неизбежно взираться с иронией.

— По правде говоря, картина, которую ты нарисовал, довольно-таки неудачна, — сказал Неттлингер.

— Это только одна картина, — возразил Шрелла, — а если у тебя их наберется тысячи три, то, может быть, ты познаешь маленькую частичку истины.

— Сомневаюсь, что у тебя правильный взгляд на вещи, ведь ты пробыл в стране всего двадцать четыре часа, из них двадцать три — за решеткой.

— Ты не представляешь себе, как много можно узнать о стране, сидя за решеткой; ведь чаще всего в ваши тюрьмы попадают за обман; самообман, к сожалению, уголовно не наказуем; может, тебе еще неизвестно, что из последних двадцати двух лет я четыре года просидел в тюрьме.

Их машина медленно двигалась вперед в длинном потоке других машин, скопившихся у светофора.

— Нет, — сказал Неттлингер, — это мне не известно. В Голландии?

— Да, — сказал Шрелла, — и в Англии.

— За какие же такие преступления?

— За действия в состоянии аффекта, вызванного любовной тоской; но я сражался вовсе не с ветряными мельницами, а с реально существующими явлениями.

— Нельзя ли узнать подробности? — спросил Неттлингер.

— Нет, — сказал Шрелла, — ты бы все равно ничего не понял; мои действия ты воспринял бы как своего рода комплимент. Я угрожал одному голландскому политику, который заявил, что надо уничтожить всех немцев, это был очень популярный политик; когда немцы оккупировали Голландию, они выпустили меня из тюрьмы — я показался им чем-то вроде мученика за Германию, но потом они обнаружили мою фамилию в списке преследуемых лиц, тогда я удрал от их любви в Англию и там угрожал английскому политику, который также заявил, что всех немцев надо уничтожить, сохранив лишь созданные ими произведения искусства; это был очень популярный политик; впрочем, скоро они меня амнистировали, они считали, что обязаны уважать чувства, которых я вовсе не испытывал, когда угрожал их политику; так людей сперва по ошибке сажают в тюрьму, а потом по ошибке выпускают.

Неттлингер засмеялся.

— Если ты собираешь картины, мне придется прибавить к твоей коллекции еще одну. Как ты отнесешься к такой вот картине... Два

школьных товарища... политическая вражда не на жизнь, а на смерть, преследования, допрос, бегство, ненависть до гроба... но вот прошло двадцать два года, и не кто иной, как прежний преследователь, этот злодей, освобождает беглеца, вернувшегося на родину. Разве эта картина не достойна того, чтобы попасть в твою коллекцию?

— Это не картина, — сказал Шрелла, — а история, и недостаток ее в том, что она к тому же еще и правдивая... Но если я переведу эту историю в образно-абстрактный план и соответственно истолкую, ты услышишь мало лестного для себя.

— Может показаться странным, — тихо сказал Неттлингер, вынимая изо рта сигару, — что я ищу у тебя понимания, но поверь, когда я увидел твою фамилию в списке преследуемых лиц, когда я проверил сообщение и узнал, что они действительно арестовали тебя на границе, я, ни секунды не колеблясь, пустил в ход все, чтобы освободить тебя.

— Очень жаль, — сказал Шрелла, — если ты думаешь, что я сомневаюсь в искренности твоих побуждений и чувств. Даже в твоём раскаянии я и то не сомневаюсь. Но в каждой картине — а ты просил рассматривать эту историю как картину для моей коллекции, — в каждой есть некая отвлеченная идея, и в данном случае она заключается в той роли, кото-

рую ты играл тогда и играешь теперь в моей жизни, эта роль — извини меня — одна и та же, ведь в те времена меня следовало засадить в тюрьму, чтобы обезвредить, а теперь наоборот — выпустить на свободу с той же целью; боюсь, что Роберт, у которого гораздо более отвлеченное мышление, чем у меня, как раз по этой причине и не желает с тобой встречаться. Надеюсь, ты согласишься, что и в те времена я не сомневался в искренности твоих побуждений и чувств; ты меня не понимаешь, да и не старайся понять, ты играл свои роли, не отдавая себе в них отчета, иначе ты был бы циником или преступником, а ты не стал ни тем ни другим.

— Теперь я и впрямь не понимаю, считать ли это комплиментом или чем-то совсем иным.

— И тем и другим, — сказал Шрелла, смеясь.

— Ты, наверное, не знаешь, что я помогал твоей сестре?

— Ты помогал Эдит?

— Да, Вакера хотел ее арестовать; он каждый раз вносил ее в списки, а я каждый раз вычеркивал.

— Ваши благодеяния, — тихо сказал Шрелла, — пожалуй, еще страшнее ваших злодеяний.

— А вы еще более неумолимы, чем сам Господь Бог: Он прощает грехи, в которых человек раскаивается.

— Да, я не Бог и не притязаяю ни на божественную мудрость, ни на божественное милосердие.

Покачав головой, Неттлингер откинулся назад; Шрелла вынул из кармана сигарету, сунул ее в рот и снова испугался, когда Неттлингер неожиданно шелкнул зажигалкой у самого его носа; чистое светло-синее пламя чуть было не опалило ему ресницы. А твоя теперешняя вежливость, подумал он, еще хуже, чем тогдашняя невежливость. С тем же рвением, с каким ты бросал мне прежде в лицо мяч, ты теперь назойливо пристаешь ко мне со своей зажигалкой.

— Когда я могу встретиться с Робертом? — спросил он.

— По-видимому, только в понедельник, мне не удалось выяснить, куда он уехал на воскресенье; его отец и дочь уехали с ним, может быть, сегодня вечером ты застанешь его дома или же завтра в половине десятого в отеле «Принц Генрих», там он каждый день играет в бильярд от половины десятого до одиннадцати. Надеюсь, в тюрьме было сносно?

— Да, — сказал Шрелла, — со мной обращались вежливо.

— Если тебе понадобятся деньги, скажи мне. С тем, что у тебя есть, не очень-то разгуляешься.

— Думаю, мне хватит до понедельника, а потом у меня будут деньги.

Чем ближе к вокзалу, тем длиннее и гуще становился поток машин. Шрелла попытался было открыть окно, но не сумел справиться с ручкой; перегнувшись через него, Неттлингер опустил стекло.

— Боюсь, — сказал он, — что на улице воздух не чище того, каким мы дышим в машине.

— Спасибо, — поблагодарил Шрелла. Он посмотрел на Неттлингера и переложил сигарету из левой руки в правую, а потом из правой руки в левую. — Послушай, — сказал он, — тот мяч, который тогда забил Роберт... что с ним, собственно говоря, случилось? Он нашелся?.. Помнишь?

— Да, — сказал Неттлингер, — конечно, хорошо помню, ведь о нем было столько толков, они так и не нашли его; в тот день они искали мяч до поздней ночи и на завтра тоже, хотя было воскресенье; они никак не могли успокоиться; позже некоторые утверждали, что Роберт схитрил, он будто бы вовсе не ударил по мячу, а только воспроизвел звук удара и спрятал мяч.

— Но ведь все видели, как мяч летел. Разве нет?

— Ну конечно, этой версии никто не поверил; многие полагали, что мяч упал на повозку, которая стояла во дворе пивоварни; ты, может быть, помнишь, что со двора выехала повозка.

— Она уехала раньше, задолго до того, как Роберт ударил по мячу, — сказал Шрелла.

— Мне кажется, что ты ошибаешься, — возразил Неттлингер.

— Нет-нет, — сказал Шрелла, — я ведь стоял и ждал мяча и внимательно следил за всем; повозка уехала раньше, чем Роберт забил мяч.

— Ну хорошо, — сказал Неттлингер, — во всяком случае, мяч так и не нашелся. Вот и вокзал... Ты в самом деле не хочешь, чтобы я тебе помог?

— Спасибо, мне ничего не надо.

— Позволь мне по крайней мере пригласить тебя пообедать.

— Хорошо, — сказал Шрелла, — пойдём обедать.

Шофер подержал дверцу машины, Шрелла вышел первый; засунув руки в карманы, он подждал Неттлингера, который взял с сиденья свою папку, застегнул пальто и сказал шоферу:

— Пожалуйста, заезжайте за мной к половине шестого в отель «Принц Генрих».

Шофер приложил руку к козырьку фуражки, сел в машину и взялся за руль.

Шрелла по-прежнему носил очки, и плечи у него по-прежнему были вислые, на его губах блуждала все та же странная улыбка, светлые волосы были, как встарь, зачесаны назад — они не поредели от времени, а всего лишь

слегка посеребрились; знакомым движением он отер лоб и засунул носовой платок обратно; казалось, Шрелла совсем не изменился, просто он стал старше на несколько лет.

— Зачем ты вернулся? — тихо спросил Неттлингер.

Шрелла посмотрел на него, прищурившись и прикусив нижнюю губу, как всегда смотрел; в правой руке он держал сигарету, в левой — шляпу; он долго не спускал глаз с Неттлингера. Шрелла ждал, тщетно ждал того, к чему стремился уже больше двадцати лет, — ждал ненависти; он всегда мечтал о самой обыкновенной драке, о том, чтобы ударить врага в лицо или дать ему пинка в зад, крикнув: «Свинья, подлая свинья!» Шрелла завидовал людям, способным на простые чувства, но сам он не в силах был ударить в это круглое, смущенно улыбающееся лицо, сам он не в силах был дать Неттлингеру пинка в зад; на школьной лестнице ему подставляли ножку, он летел вниз, и дужка его очков вонзалась в мочку уха; когда он шел домой, его поджидали, затаскивали в парадные и били, его избивали бичом из колючей проволоки, его и Роберта; они допрашивали его; на них лежала вина в смерти Ферди, но они пощадили Эдит и дали бежать Роберту.

Он перевел глаза с Неттлингера на вокзальную площадь, кишмя кишевшую людьми;

светило солнце, была субботняя толчея, такси подъезжали и отъезжали, продавцы мороженого выкрикивали свой товар, мальчики из отеля в лиловых ливреях тащили чемоданы вслед за постояльцами; Шрелла увидел серый величественный фасад Святого Северина, отель «Принц Генрих», кафе «Кронер» и вздрогнул — Неттлингер кинулся в толпу, размахивая руками и восклицая: «Алло, фройляйн Рут!» — потом он вернулся, покачивая головой.

— Ты видел эту девушку, — спросил он, — в зеленой шапочке и в розовом джемпере? Красивая, на нее все оглядываются... Это дочь Роберта. Я не догнал ее, а то бы она сказала нам, где найти Фемеля. Жаль... Ты ее не видел?

— Нет, — тихо сказал Шрелла, — дочь Эдит?

— Конечно, — подтвердил Неттлингер, — твоя племянница. Черт побери... ну а теперь пошли обедать.

Он пересек вокзальную площадь и пошел по улице к отелю «Принц Генрих»; Шрелла следовал за ним; бой в лиловой ливрее толкнул дверь; когда они прошли, дверь бесшумно качнулась еще несколько раз и легла в пазы, обитые войлоком.

— Местечко у окна? — спросил Йохен. — С удовольствием! И чтобы не очень много солнца? Значит, на восточной стороне. Гуго, изволь позаботиться, чтобы гостям приготовили столик на восточной стороне... Не за что...

Чаевым мы всегда рады, марка — это честная кругленькая монетка; чаевые — душа нашей профессии. А ведь, что ни говори, я победил, мой милый, ты его так и не увидел... Как он сказал: играет ли господин доктор Фемель по воскресеньям в бильярд? Шрелла? Господи! Я и так все знаю, можно не смотреть в красную карточку.

— Боже мой, надеюсь, вы разрешите старику сказать несколько слов, не относящихся к его служебным обязанностям, благо здесь сейчас тихо. Я, господин Шрелла, хорошо знал вашего отца, очень хорошо: он работал у нас год, как раз в те времена, когда отмечался всегерманский спортивный праздник. Неужели вы помните? Ну конечно, вам тогда было лет десять-одиннадцать; вот вам моя рука, мне будет очень приятно, если вы ее пожмете; Боже мой, надеюсь, вы извините меня за эти чувства, которые, так сказать, не относятся к моим служебным обязанностям; я достаточно стар, чтобы позволить себе такие чувства; ваш отец был серьезный человек и держал себя достойно! Боже мой, он не мирился с хамством, зато с теми, кто не позволял себе хамства, он был тихий как овечка; я не раз вспоминал вашего отца, простите, если я тревожу старые раны; Боже избави... я совсем забыл, Боже мой, счастье еще, что эти свиньи здесь больше не хозяйничают; впрочем, будьте осторожны, господин Шрелла, будьте осторожны; иногда

мне кажется, что они все же победили. Будьте осторожны, не доверяйте этой видимости мира и спокойствия... и простите старика за чувства, не относящиеся к его служебным обязанностям... Гуго, посади господ за самый лучший столик на восточной стороне, за самый лучший... Нет, господин Шрелла, по воскресеньям господин доктор Фемель не играет в бильярд, нет, по воскресеньям он к нам не приходит; то-то он обрадуется, вы ведь были друзьями юности и единомышленниками, не правда ли? Не думайте, что у всех людей короткая память. Если он по какой-либо причине все же появится у нас, я сообщу вам, оставьте мне свой адрес, я pošлю вам посылного, телеграмму, если хотите, позвоню... для наших клиентов мы делаем все.

А Гуго и бровью не повел. Клиентов узнают, только когда им этого хочется. Вот этот ломился в бильярдную!.. Отель хранит секреты гостей... Бич из колючей проволоки... Ему, Гуго, следует остерегаться неуместной фамильярности и ненужных умозаключений; сохранение тайны — знамя профессии. Меню? Пожалуйста, господа. Устраивает ли уважаемых господ этот столик? Он на восточной стороне, у окна, солнца, кажется, не слишком много... Отсюда вам будет виден восточный придел Святого Северина, ранний романский

стиль, одиннадцатый или двенадцатый век, основатель герцог Генрих Святой, по прозвищу Необузданный. Да, сударь, горячие блюда подаются весь день; все блюда, которые значатся в меню, подаются с двенадцати до двадцати четырех часов... Что я советую выбрать? Ах так, вы желаете отпраздновать встречу? При столь доверительном сообщении можно позволить себе чуть заметную понимающую улыбку... Только не вспоминать... Шрелла... Неттлингер... Фемель; никаких умозаключений... Шрамы на спине... Да, официант сейчас подойдет к вам и примет заказ.

— Ты тоже выпьешь рюмочку мартини? — спросил Неттлингер.

— Да, пожалуйста, — сказал Шрелла. Он отдал бою пальто и шляпу, пригладил рукой волосы и сел; в зале было не много посетителей, только в дальнем углу тихо ворковала какая-то парочка, журчащий смех вторил нежному звону бокалов; за тем столиком пили шампанское.

Шрелла взял рюмку мартини с подноса, который держал перед ним кельнер, и подождал, пока Неттлингер тоже возьмет свою; он поднял рюмку, кивнул Неттлингеру и выпил. Неттлингер как-то некрасиво состарился; в памяти Шреллы он оставался ослепительным светловолосым юношей — даже в жесткой линии его рта было что-то располагающее, он

легко брал метр шестьдесят семь высоты, пробегал стометровку за одиннадцать и пять десятых секунды — тип жестокого, но обаятельного победителя. Эти люди, думал Шрелла, видно, не умели радоваться ничему, даже своим победам, к тому же они были плохо воспитаны, питались не так, как нужно, не понимали, что такое выдержка; вероятно, Неттлингер слишком много жрал, он уже почти облысел, в его влажных глазах по-стариковски сентиментальное выражение. Сейчас Неттлингер склонился над меню с гримасой знатока, одна из его белых манжет поднялась кверху; Шрелла увидел золотые часы с браслетом, на безымянном пальце Неттлингер носил обручальное кольцо. О боже, думал Шрелла, даже если бы он не сделал всего того, что он сделал, и то у Роберта вряд ли появилось бы желание пить с ним пиво и водить своих детей на его виллу для игры в бадминтон, которая, как говорят, способствует семейному сближению.

— Позволь мне кое-что предложить тебе, — сказал Неттлингер.

— Пожалуйста, — ответил Шрелла, — предлагай.

— Так вот, — начал Неттлингер, — на закуску можно взять великолепную семгу, на второе цыплят с *rommes frites** и салатом; я

* Жареный картофель (*фр.*).

думаю, что десерт мы выберем потом; знаешь, аппетит к десерту приходит ко мне уже во время еды, тут я полагаюсь на свой инстинкт, он мне подскажет, что взять — сыр, пирожное, мороженое или омлет, но насчет одного я уверен заранее — насчет кофе.

Неттлингер говорил так, словно читал лекцию из цикла «Как сделаться гурманом»; он все еще не желал оборвать монотонное перечисление блюд, казалось, он им гордился; обращаясь к Шрелле, он повторял, как слова молитвы:

— Entrecôte à deux, отварная форель, медальоны из телятины.

Шрелла наблюдал, как Неттлингер с благоговением водил пальцем по меню; на некоторых блюдах он останавливался, прищелкивал языком и нерешительно качал головой.

— Когда я вижу слово «roularde», я, ей-богу, не в силах устоять.

Шрелла закурил, радуясь, что на этот раз ему удалось избежать зажигалки Неттлингера; потягивая мартини, он следил глазами за указательным пальцем Неттлингера, который добрался наконец до третьих блюд. Черт бы побрал их основательность, думал он, она может испортить человеку аппетит, даже если перед ним такое разумное и вкусное кушанье, как жареная курица; они хотят все делать лучше других, и весьма преуспели в этом; даже в свя-

щеннодействию, которым обставляется жратва, они и то хотят перещегоолять итальянцев и французов.

— Я все же закажу курочку, — сказал он.

— А семгу?

— Нет, спасибо.

— Ты зря отказываешься от такого деликатеса, ведь ты, наверное, голоден как волк.

— Так оно и есть, — сказал Шрелла, — но я налягу на десерт.

— Воля твоя.

Официант принес еще две рюмки мартини на подносе, который, наверное, стоил больше, чем целый спальный гарнитур; Неттлингер взял с подноса рюмку и передал ее Шрелле, потом взял свой мартини, наклонился вперед и сказал:

— Пью за твое здоровье, эта рюмка — за тебя.

— Спасибо, — ответил Шрелла, кивнул головой и выпил. — Одно мне еще не ясно, — добавил он, — как случилось, что они арестовали меня сразу же на границе?

— Дурацкое недоразумение, твое имя все еще значится в списках преследуемых лиц, а между тем обвинение в покушении на убийство теряет силу через двадцать лет; тебя следовало вычеркнуть еще два года назад.

— Покушение на убийство? — спросил Шрелла.

— Да, так был квалифицирован ваш поступок с Вакерой.

— Ты, по-видимому, не в курсе, ведь в этом деле я не участвовал и даже не одобрял его.

— Да ну, — сказал Неттлингер, — тем лучше; в таком случае легко раз и навсегда вычеркнуть твое имя из списков преследуемых; пока что мне удалось только поручиться за тебя и выхлопотать тебе временное освобождение; твое имя в списке я не мог похерить, но теперь это становится чистой формальностью. Ты не возражаешь, если я приступлю к супу?

— Пожалуйста, — сказал Шрелла.

Он отвел взгляд от Неттлингера и посмотрел в сторону вокзала; Неттлингер наливал разливательной ложкой суп из серебряной суповой миски; разумеется, бледно-желтые клецки в этом супе были замешаны на костном мозге самого лучшего, отборнейшего скота, который когда-либо пасся на немецких пастбищах; семга в окружении свежих салатных листьев отливала золотом, ломтики подсушенного хлеба нежно подрумянились, на шариках масла блестяли серебристые капельки воды; при виде Неттлингера, поглощавшего пищу, Шрелла заставил себя побороть невольное чувство жалости к нему; для Шреллы еда была высоким актом братства; он вспомнил дружеские трапезы в плохих и хороших гостиницах; вынужденное одиночество во время еды всегда казалось

ему проклятием; когда Шрелла видел в при- вокзальных ресторанах и в столовых многочис- ленных пансионеров, где ему приходилось жить, людей, в одиночестве поглощавших пищу, он считал, что они прокляты Богом; сам он всегда искал общества; охотней всего он подсаживался к какой-нибудь женщине и, отломив кусок хлеба, перебрасывался с ней двумя-тремя сло- вами; улыбка и несколько дружеских фраз в тот момент, когда человек склоняется над тарел- кой, — только это делало чисто биологический процесс поглощения пищи сносным и даже приятным; такие люди, как Неттлингер, — а Шрелла встречал их во множестве, — казались ему изгоями, их трапезы были трапезами пала- чей; правда, они знали и соблюдали за столом все правила хорошего тона, но еда тем не менее не являлась для них приятным времяпрепро- вождением, они вкушали пищу с убийственной серьезностью, которая губила и гороховый суп, и пулярку; кроме того, они не могли не думать о цене каждого куска, который проглатывали. Шрелла снова отвел взгляд от Неттлингера, посмотрел в сторону вокзала и прочел большой плакат, который висел над входом:

«Добро пожаловать, земляки, возвращаю- щиеся на родину».

— Послушай-ка, — сказал он, — нельзя ли сделать так, чтобы я сошел за репатри- рованного?

Положив на стол ломтик поджаренного хлеба, который он в этот момент намазывал маслом, Неттлингер поднял глаза; казалось, он возвращается к действительности из пучины скорби.

— Это зависит от того, — сказал он, — являешься ли ты все еще германским подданным.

— Нет, — сказал Шрелла, — у меня нет подданства.

— Жаль, — сказал Неттлингер. Он снова склонился над поджаренным хлебом, потом взял кусок семги и разделил его на несколько частей. — Если бы удалось доказать, что ты бежал не по уголовным мотивам, а по политическим, ты смог бы получить кругленькую сумму в качестве компенсации. Хочешь, я выясню всю юридическую сторону дела?

— Да нет, — сказал Шрелла.

Когда Неттлингер отодвинул от себя блюдо с семгой, Шрелла склонился над столом и спросил:

— Неужели ты позволишь унести обратно эту прекрасную семгу?

— Разумеется, — сказал Неттлингер, — нельзя же...

Он испуганно оглянулся по сторонам, потому что Шрелла руками взял с тарелки поджаренный хлеб, а потом руками же схватил с серебряного блюда кусок семги и положил его на хлеб.

— ...нельзя же...

— Да нет, можно; как ни странно, но именно в самом фешенебельном ресторане все дозволено; мой отец был кельнером, и он служил, между прочим, здесь тоже; в этой святой святых гастрономии кельнеры и бровью не повели бы, если бы ты стал есть гороховый суп руками, хотя это неестественно и непрактично, но как раз все неестественное и непрактичное меньше всего привлекает внимание в подобных ресторанах; высокие цены тут из-за кельнеров; ни при каких обстоятельствах здешние кельнеры и бровью не поведут. Впрочем, брать хлеб руками и класть на него руками рыбу не может считаться неестественным или непрактичным.

Шрелла, улыбаясь, взял с блюда последний кусочек семги, снова разнял два сложенных вместе ломтика хлеба и засунул туда рыбу. Неттлингер сердито посмотрел на него.

— Кажется, — сказал Шрелла, — ты готов убить меня на месте, правда, надо признаться, не по тем мотивам, по каким хотел убить раньше, но цель остается та же; слушай, что хочет возвестить тебе сын кельнера: истинно благородный человек никогда не подчиняется тирании кельнеров, хотя среди кельнеров есть, разумеется, люди с благородным образом мыслей.

Пока Шрелла ел хлеб с семгой, кельнер и мальчик, помогавший ему, накрывали стол

для основного блюда; на маленьких столиках они воздвигали сложные приспособления для хранения тепла, а на большом столе разложили приборы и расставили тарелки, предварительно убрав всю посуду; Неттлингеру подали вино, Шрелле — пиво. Неттлингер пригубил свою рюмку.

— Чуть-чуть теплее, чем следует, — сказал он.

Шрелла подождал, пока ему положили курицу с картофелем и салатом, кивнул Неттлингеру и поднял свой стакан с пивом, наблюдая за тем, как кельнер поливал кусок филе на тарелке Неттлингера густым темно-коричневым соусом.

— А что, Вакера еще жив?

— Разумеется, — ответил Неттлингер, — ему ведь всего пятьдесят восемь лет, но... в моих устах это слово, очевидно, покажется тебе смешным... Вакера из числа неисправимых.

— Как прикажешь понять тебя? — спросил Шрелла. — Неужели это действительно возможно, неужели есть неисправимые немцы?

— Он стоит на тех же самых позициях, на которых стоял в тысяча девятьсот тридцать пятом году.

— Гинденбург и все такое прочее? Приличия и еще раз приличия, верность, честь... так, что ли?

— Точно. Его лозунгом и сейчас был бы Гинденбург.

— А каков твой лозунг?

Неттлингер оторвал взгляд от тарелки; в руке он держал вилку, на которую был насажен только что отрезанный кусочек мяса.

— Я хочу, чтобы ты меня понял, — сказал он, — я демократ, демократ по убеждению.

Неттлингер опять склонил голову над своим филе, потом поднял вилку с насаженным на нее кусочком мяса, сунул его в рот, вытер губы салфеткой и, качая головой, протянул руку к фужеру с вином.

— Что случилось с Тришлером? — спросил Шрелла.

— Тришлер? Не помню такого.

— Старик Тришлер — он жил в Нижней гавани, где позднее устроили кладбище кораблей. Неужели ты не помнишь Алоиза, он учился у нас в классе.

— Ах да, — сказал Неттлингер, положив себе на тарелку нарезанный сельдерей, — теперь вспомнил. Алоиза мы разыскивали тогда много недель подряд, но так и не нашли, а старика Тришлера Вакера сам допрашивал, но не вытянул из него ни слова, ни единого слова, и из его жены тоже.

— Ты не знаешь, они еще живы?

— Не знаю, но те места у реки часто бомбили. Если хочешь, я выясню, что с ними. О боже, — тихо прибавил он, — что случилось? Что ты задумал?

— Я хочу уйти, — сказал Шрелла, — извини, но я должен уйти.

Он встал, стоя допил пиво, махнул рукой кельнеру, и когда тот, беззвучно ступая, подошел к нему, Шрелла показал на серебряное блюдо, где еще лежали три куска жареной курицы в растопленном масле, которое слегка шипело.

— Будьте добры, — сказал Шрелла, — не можете ли вы завернуть все это, но так, чтобы жир не просочился наружу.

— С удовольствием, — ответил кельнер, снимая блюдо с электрической жаровни; он наклонил голову, собравшись уходить, но потом выпрямился и спросил: — Картофель вам тоже завернуть, сударь, и немножко салата?

— Нет, спасибо, — сказал Шрелла, улыбаясь, — rommes frites станет мягким, а салат потом тоже невозможно будет есть.

Шрелла напрасно пытался уловить хоть малейший признак иронии на холеном лице седовласого кельнера.

Зато Неттлингер, оторвав взгляд от тарелки, сердито посмотрел на Шреллу.

— Хорошо, — сказал он, — ты хочешь мне отомстить, это понятно, но неужели надо мстить таким образом?

— Ты предпочитаешь, чтобы я тебя убил?

Неттлингер промолчал.

— Впрочем, это вовсе не месть, — сказал Шрелла, — просто я должен уйти отсюда, я

больше не могу выдержать, но я бы всю жизнь упрекал себя за то, что оставил здесь курицу; можешь приписать этот акт моим финансовым обстоятельствам; я бы не взял курицу, если бы знал, что кельнерам и боям разрешают доедать остатки, но мне известно, что здесь это не полагается.

Шрелла поблагодарил боя, который принес ему пальто и помог его надеть; он взял шляпу, снова присел и сказал:

— Ты знаешь господина Фемеля?

— Да, — ответил Гуго.

— И номер его телефона тоже?

— Да.

— Тогда сделай мне одолжение, звони ему через каждые полчаса, хорошо? И если он подойдет к телефону, передай, что его хочет видеть некий господин Шрелла.

— Хорошо.

— Я не уверен, что там, куда мне надо идти, есть телефоны-автоматы, иначе я бы сам ему звонил. Ты запомнил мое имя?

— Шрелла, — сказал Гуго.

— Да. Я позвоню сюда около половины седьмого и вызову тебя. Как тебя зовут?

— Гуго.

— Большое спасибо, Гуго.

Шрелла встал и посмотрел сверху вниз на Неттлингера; Неттлингер взял с блюда кусочек филе.

— Сожалею, — сказал Шрелла, — что ты рассматриваешь мой безобидный поступок как акт мести. Я ни секунды не думал о мести, но пойми, что мне хочется уйти отсюда; видишь ли, я не собираюсь долго пробыть в этом гостеприимном городе, а мне еще надо уладить кое-какие дела. Однако позволь снова напомнить тебе о списке, в котором я значусь.

— Разумеется, я готов принять тебя в любое время, дома или на службе, как угодно.

Шрелла взял из рук кельнера аккуратно перевязанный белый пакетик и дал кельнеру на чай.

— Жир не просочится, сударь, — сказал кельнер, — все запаковано в целлофан и лежит в нашей фирменной коробке для пикников.

— До свидания, — сказал Шрелла.

Неттлингер слегка приподнял голову и пробормотал:

— До свидания.

— Да, — объяснял Йохен, — с удовольствием, уважаемая госпожа, и тут вы увидите стрелку: «К древнеримским детским гробницам», они открыты до восьми, после наступления темноты зажигается свет. Не за что, большое спасибо.

Прихрамывая, он вышел из-за конторки и подошел к Шрелле, которому бой уже открыл дверь.

— Господин Шрелла, — сказал он тихо, — я сделаю все, чтобы разузнать, где найти господина доктора Фемеля; за это время я уже кое-что выяснил в кафе «Кронер»; в семь часов там состоится семейное торжество в честь старого господина Фемеля; значит, вы его там наверняка застанете.

— Спасибо, — сказал Шрелла. — Большое вам спасибо. — Он знал, что чаевые здесь неуместны. Улыбнувшись старику, он вышел на улицу; дверь бесшумно качнулась еще несколько раз и легла в пазы, обитые войлоком.

8

Автостраду во всю ее ширину перекрыли массивными щитами; мост, переброшенный когда-то в этом месте через реку, был разрушен, взрыв вчистую снес его с быков; обрывки ржавых тросов свисали с высоких пилонов; щиты трехметровой высоты возвещали о том, что за ними притаилась «смерть»; на случай, если бы одного этого слова оказалось недостаточно, на щитах были изображены скрещенные кости и увеличенный для устрашения раз в десять череп — ослепительно белый на густо-черном фоне.

На этой мертвой дороге особо рьяные начинающие автомобилисты упражнялись в переключении скоростей, привыкали к быстрой езде, терзали коробку скоростей, давали задний ход и направляли машину то влево, то вправо, осваивая повороты; по насыпи, которая проходила среди небольших огородиков, вдоль площадки для игры в гольф прогуливались хорошо одетые мужчины и женщины с праздничными лицами, они норовили подойти вплотную к реке, к страшным щитам, за которыми прятались прозаические бараки строителей, казалось, насмехавшиеся над смертью; за словом «смерть» подымался синий дымок, он шел из печурок, на которых ночные сторожа грели котелки, сушили сухари и разжигали свои трубочки от скрученной бумажки; помпезная лестница совсем не была разрушена, в погожие летние вечера на ее ступенях отдыхали уставшие путники; отсюда, с двадцатиметровой высоты, они могли наблюдать за ходом восстановительных работ, водолазы в желтых водолазных костюмах медленно спускались на дно реки, подводили петли тросов к бетонным обломкам моста, краны вытаскивали на поверхность свою добычу, с которой стекала вода, а потом грузили ее на баржи. На высоких лесах и на шатких мостках, в люльках, подвешенных к пилонам, рабочие разрезали сварочными аппаратами, вспыхивавшими си-

неватым пламенем, покореженные стальные конструкции, искривленные заклепки, обрывки железных тросов: быки с их боковыми опорами казались гигантскими воротами, замыкавшими целый гектар голубой пустоты; гудела сирена, подавая сигналы: «Путь открыт», «Путь закрыт»; зажигались то красные, то зеленые огни; караваны барж, перевозившие уголь и дрова, сновали взад и вперед.

Зеленая река... мирные радости... пологие берега, поросшие ивняком... пестрые суденышки... синие вспышки сварочных аппаратов. Положив на плечо палки для гольфа, мускулистые мужчины и хорошо натренированные женщины с серьезными лицами ходили по великолепно подстриженному газону вслед за мячами — восемнадцать лунок; над огородами подымался дымок, там превращались в дым стебли гороха и фасоли, равно как и старые колышки от заборов, дым гулял по небу, и его изящные завитки походили на эльфов в стиле модерн, потом завитки уплотнялись, образуя причудливые узоры, которые в свою очередь превращались в расплывчатые фигуры — светло-серые на фоне яркого неба, и, наконец, воздушные течения разрывали эти фигуры в клочья и угоняли их к самому горизонту; дети, катавшиеся на самокатах по дорожкам парка, выложенным неровными камнями, разбивали себе в кровь руки и колени

и показывали свои ссадины испуганным матерям, вымогая у них лимонад или мороженое; парочки, взявшись за руки, стремились скрыться в ивняке, где уже давно исчезли следы половодья — стебли камыша, пробки, бутылки и баночки из-под гуталина; речники сходили по шатким мосткам на берег, за ними шли их жены с хозяйственными сумками, уверенные в себе; на отдраенных до блеска баржах на веревках висело белье — вечерний ветер развевал зеленые штаны, красные кофточки и белоснежные простыни на фоне густо-черной свежей смолы, блестящей, как японский лак; на поверхности реки время от времени показывались поднятые кранами обломки моста в иле и водорослях, а за всем этим виднелся серый стройный силуэт Святого Северина. В кафе «Бельвю» сбившаяся с ног грубоватая кельнерша объявила:

— Пирожных со сливками больше нет, — отерла пот и пошарила в кожаной сумке в поисках мелочи, — ...есть только песочные пирожные... нет, мороженого тоже нет.

Йозеф протянул руку, кельнерша положила в его раскрытую ладонь сдачу; он сунул мелочь в карман брюк, а бумажку — в кармашек рубахи, повернулся к Марианне и провел по ее темным волосам растопыренными пальцами, чтобы снять с них кусочки камыша, а потом смахнул песок с зеленого джемпера девушки.

— Ты ведь так радовался сегодняшнему празднику, — сказала Марианна, — что произошло?

— Ничего не произошло, — ответил Йозеф.

— Но я чувствую. Что-нибудь изменилось?

— Да.

— Ты не хочешь сказать, что именно?

— Потом, — пообещал он, — может быть, я скажу тебе через несколько лет, а может быть, скоро. Сам не знаю.

— Это связано с нами обоими?

— Нет.

— Точно нет?

— Нет.

— С тобой одним?

— Да.

— Значит, все же с нами обоими.

Йозеф улыбнулся.

— Разумеется, поскольку я связан с тобой.

— Случилось что-нибудь неприятное?

— Да.

— Это связано с твоей работой?

— Да. Дай мне твою расческу, но только не верти головой, маленькие песчинки руками не вынешь.

Марианна вытащила из сумочки расческу и передала ее через плечо Йозефу, на секунду Йозеф сжал руку девушки.

— Я ведь знаю, — сказала Марианна, — что по вечерам, после того как уходили рабочие, ты разгуливал около высоких штабелей

кирпича и ощупывал новенькие кирпичи, тебе было приятно касаться их, а вчера и позавчера ты этого не делал; я все узнаю по твоим рукам; и ты так рано уехал сегодня утром.

— Мне надо было получить подарок для дедушки.

— Ты уехал не из-за подарка; где ты был?

— В городе, — сказал он, — рамка для фото все еще не была готова, мне пришлось ждать. Ты помнишь эту фотографию: мать держит меня за руку. Рут у нее на коленях, а за нами стоит дедушка. Я дал ее увеличить. Я знаю, дедушка обрадуется моему подарку.

А потом я отправился на Модестгассе и дождался, когда отец, высокий и прямой, вышел из конторы; я отправился за ним следом до отеля и простоял там полчаса перед дверьми, но он так и не появился, а я не решился войти туда и справиться о нем; мне просто хотелось увидеть его, и я его увидел, он хорошо сохранился и сейчас в расцвете сил.

Йозеф сунул расческу в карман брюк, положил руки на плечи девушки и сказал:

— Не поворачивайся, пожалуйста, так удобнее разговаривать.

— Удобнее лгать, — возразила она.

— Может быть, и так, — сказал он, — точнее говоря, умалчивать.

У самого его лица было ухо девушки, а дальше виднелась балюстрада летнего кафе,

над нею синела река; юноша позавидовал рабочему, который висел в люльке на верхушке пилона на высоте почти шестидесяти метров от земли и вычерчивал сварочным аппаратом синие зигзаги; выли сирены; внизу, вдоль откоса, ходил мороженщик и накладывал мороженое в ломкие вафли; за рекой высился серый силуэт Святого Северина.

— Должно быть, случилась какая-то очень неприятная история, — сказала Марианна.

— Да, — подтвердил Йозеф, — довольно-таки неприятная, а может, и нет; пока трудно сказать.

— Это касается внешних обстоятельств или внутренних?

— Внутренних, — ответил юноша. — Как бы то ни было, сегодня днем я сообщил Клубрингеру, что отказываюсь от места; не обращайся, а то не скажу больше ни слова.

Йозеф снял руки с плеч Марианны, крепко сжал голову девушки и повернул ее в сторону моста.

— А что скажет на это дедушка? Ведь он так тобою гордился; каждая похвала Клубрингера была для него как бальзам, да и вообще он привязан к аббатству; не говори ему ничего, хотя бы сегодня.

— Ему доложат и без меня, еще до нашего приезда; ты же знаешь, что он отправился с отцом в аббатство — выпить чашку кофе перед сегодняшним торжеством.

— Да, — сказала она.

— Мне самому жаль дедушку; ты ведь знаешь, как я его люблю; но все обязательно выплывет наружу уже сегодня днем, когда он вернется от бабушки; тем не менее я больше не могу видеть кирпичи и слышать запах извести. Пока что, во всяком случае.

— Пока что?

— Да.

— А что скажет твой отец?

— О, — быстро ответил Йозеф, — он огорчится только из-за дедушки; сам он никогда не интересовался созидательной стороной архитектуры, его занимали только формулы; обожди, не оборачивайся.

— Значит, это касается твоего отца, так я и чувствовала; я жду не дождусь увидеть его; по телефону я уже несколько раз говорила с ним, мне почему-то кажется, что он мне понравится.

— Он тебе понравится. И ты увидишь его не позже сегодняшнего вечера.

— Мне тоже надо идти с тобой на день рождения?

— Непременно. Ты даже не представляешь, как обрадуется дедушка, к тому же он ведь пригласил тебя по всей форме.

Марианна попыталась было высвободить свою голову, но Йозеф, смеясь, все так же крепко держал ее.

— Не надо, — сказал он, — так гораздо удобнее беседовать.

— И лгать.

— Умалчивать, — возразил он.

— Ты любишь своего отца?

— Да, особенно с тех пор, как узнал, что он еще такой, в сущности, молодой.

— Ты не знал, сколько ему лет?

— Нет. Мне всегда казалось, что ему лет пятьдесят — пятьдесят пять. Смешно, но я никогда не интересовался тем, сколько ему в действительности лет; только позавчера, получив свою метрику, я узнал, что отцу всего сорок три года, и прямо-таки испугался; не правда ли, он еще совсем молодой?

— Да, — сказала она, — тебе ведь уже двадцать два.

— Вот именно. До двух лет меня звали не Фемель, а Шрелла, странная фамилия, да?

— Ты на него сердишься за это?

— Я на него не сержусь.

— Что же он мог такого сделать, из-за чего ты вдруг потерял желание строить?

— Я тебя не понимаю.

— Хорошо... Почему в таком случае он ни разу не навестил тебя в аббатстве Святого Антония?

— Очевидно, стройки не представляют для него интереса, быть может также, он слишком часто ездил туда в детстве, понимаешь,

во время воскресных прогулок с родителями... Взрослые люди отправляются в те места, где прошло их детство, только если им хочется погрустить.

— А ты тоже совершал когда-нибудь воскресные прогулки с родителями?

— Не так уж часто; обычно мы гуляли с мамой, бабушкой и дедушкой, но когда отец приезжал в отпуск, он тоже присоединялся к нам.

— Вы ездили в аббатство Святого Антония?

— Да, случалось.

— Все-таки я не понимаю, почему он ни разу не навестил тебя.

— Просто-напросто стройки ему не по душе; быть может, он немного чудаковат; в те дни, когда я неожиданно возвращаюсь домой, он сидит в гостиной за письменным столом и царапает что-то на светокопиях чертежей — у него их целая коллекция. Но я думаю, отец тебе все же понравится.

— Ты мне ни разу не показывал его карточку.

— У меня нет его последних фотографий; знаешь, в его облике чувствуется что-то трогательно-старомодное — в одежде и в манере держать себя; он очень корректный и любезный, но гораздо старомоднее дедушки.

— Я жду не дождусь увидеть его. А теперь мне можно обернуться?

— Да.

Йозеф отпустил ее голову и, когда Марианна быстро обернулась, попытался изобразить на своем лице улыбку, но под взглядом ее круглых светло-серых глаз эта вымученная улыбка скоро погасла.

— Почему ты не скажешь мне, в чем дело?

— Потому, что я сам еще ничего не понимаю. Как только я пойму, я тебе скажу, но это будет, возможно, не скоро. Пошли?

— Да, — сказала она, — пора. Твой дедушка уже должен приехать, не заставляй его ждать; ему будет тяжело, если монахи расскажут ему о тебе до того, как вы встретитесь... и, пожалуйста, обещай мне, что ты не помчишься снова на этот ужасный щит! Нельзя тормозить в самую последнюю секунду.

— А я как раз подумал — налечу на щит, снесу с лица земли бараки строителей и прыгну в воду с пустой площадки, как с трамплина...

— Значит, ты меня не любишь...

— О боже, — сказал он, — но ведь это только шутка. Он помог Марианне встать, и они начали спускаться по лестнице на берег реки.

— Мне в самом деле жаль, — сказал Йозеф, останавливаясь, — что дедушка узнает это как раз сегодня, в день своего восьмидесятилетия.

— И его нельзя от этого избавить?

— От самого факта — нельзя, а от сообщения — можно, если ему еще не успели ничего сказать.

Йозеф отпер машину, сел в нее и открыл изнутри дверцу, чтобы впустить Марианну; когда девушка села рядом с ним, он положил руку ей на плечо.

— Ну а теперь послушай, — сказал он, — это совсем просто; вся дистанция равняется точно четырем с половиной километрам, мне нужен разгон в триста метров, чтобы развить скорость сто двадцать километров в час, и еще триста метров для того, чтобы затормозить; причем я считаю с большим запасом; значит, можно спокойно проехать почти четыре километра, на это уйдет ровно две минуты; от тебя требуется только одно — следить за часами и сказать мне, когда пройдут эти две минуты, тогда я тут же начну тормозить. Неужели ты не понимаешь? Мне хотелось бы наконец узнать, что можно выжать из нашего драндулета.

— Какая ужасная игра! — сказала Марианна.

— Если бы мне удалось разогнать машину до ста восьмидесяти километров, то на всю дистанцию понадобилось бы только двадцать секунд... правда, тогда придется затормозить раньше.

— Перестань, прошу тебя.

— Ты боишься?

— Да.

— Хорошо, пусть будет по-твоему. Но позволь мне по крайней мере ехать со скоростью восемьдесят километров.

— Как знаешь, если тебе так уж хочется.

— При этом можно даже не смотреть на часы, я увижу сам, где тормозить, а потом измерю, на каком расстоянии я начал торможение; понимаешь, мне просто хочется узнать, не надула ли нас фирма со спидометром.

Он включил мотор, медленно проехал по узеньким переулочкам живописного пригорода, быстро миновал забор, окружавший площадку для игры в гольф, и остановил машину у въезда на автостраду.

— Послушай, — сказал он, — при восьмидесяти километрах нужно ровно три минуты, это совершенно безопасно, поверь мне, а если ты боишься, выходи и подожди меня здесь.

— Нет, одного я тебя ни в коем случае не пущу.

— Но ведь это в последний раз, — сказал он, — уже завтра я, наверное, уеду отсюда, и больше мне никогда не представится такая возможность.

— На обычном шоссе гораздо удобнее проводить эти эксперименты.

— Да нет, меня привлекает именно то, что перед щитом волей-неволей надо остановиться. — Он поцеловал Марианну в щеку. — Знаешь, что я сделаю?

— Нет.

— Поеду со скоростью сорок километров.

Когда машина тронулась, Марианна улыбнулась, но все же посмотрела на спидометр.

— А теперь — внимание, — сказал он, миновав километровый столбик с цифрой пять, — посмотри на часы и сосчитай, сколько времени нам понадобится до столбика с цифрой девять; я еду со скоростью ровно сорок километров.

Далеко впереди, подобно задвижке на гигантских воротах, виднелись щиты; вначале они казались Марианне низкими, как плетень, но потом стали выше; они вырастали с удручающей неизбежностью; то, что издали походило на черного паука, превратилось в скрещенные кости, а что напоминало какую-то диковинную пуговицу, оказалось черепом; череп вырастал так же стремительно, как вырастало слово «смерть», летевшее ей навстречу, чуть было не задевшее за радиатор их машины; буква «с» в слове «смерть» казалась ей зияющей пастью, которая пыталась крикнуть им что-то ужасное; стрелка спидометра колебалась между «90» и «100»; мимо них пролетали дети на самокатах, мужчины и женщины, лица которых уже отнюдь не были праздничными; предостерегающе подняв руки, они пронзительно кричали, и казалось, это кричат черные птицы, вестники смерти.

— Это ты, ты еще здесь? — спросила она тихо.

— Конечно, и я точно знаю, где нахожусь, — ответил он, улыбаясь и в упор глядя на букву «с» в слове «смерть». — Не волнуйся!

Незадолго до окончания рабочего дня десятник конторы, ведающей расчисткой развалин, повел его в трапезную, в углу которой лежала груда щебня; щебень перекладывали на ленту транспортера, а транспортер забрасывал его на грузовики; влага, скопившаяся во всем этом мусоре, превратила осколки кирпичей, куски штукатурки и неизвестно откуда взявшуюся грязь в клейкие комья; по мере того как гора щебня уменьшалась, на стенах проступала сырость — сперва появлялись темные, а потом светлые пятна, похожие на сыпь; под этими пятнами виднелось что-то красное, синее и золотое — остатки стеной росписи, которая показалась десятнику ценной, — там была изображена Тайная Вечеря; фреску покрывал сплошной налет сырости; Йозеф увидел золотую чашу, ослепительно белую облатку, лицо Христа, светлое, с темной бородкой, и каштановые волосы святого Иоанна.

— Посмотрите, господин Фемель, сюда, здесь нарисовано что-то темное, это кожаный кошелек Иуды. — Десятник осторожно

стер сухой тряпкой белые пятна, благоговейно очистив кусок картины: двенадцать апостолов сидели вокруг стола, покрытого парчовой скатертью; Йозеф увидел ноги апостолов, края скатерти, пол зала Тайной Вечери, вымощенный плитами; он с улыбкой положил руку на плечо десятника и сказал:

— Молодец, что позвал меня, фреску надо, конечно, сохранить, прикажите очистить и высушить ее, прежде чем предпринимать что-нибудь дальше. И он уже собрался было уходить; на столе его ждали чай, хлеб и селедка; была пятница, и это можно было определить по тому, что в монастыре кормили рыбой. Марианна уже выехала из Штелингерс-Гротте, чтобы погулять вместе с ним, но вдруг, за секунду перед тем как отвернуться, он увидел в углу картины, в самом низу, буквы «XYZX»: сотни раз, когда отец помогал ему готовить уроки по математике, он видел написанные его рукой «X», «Y» «Z», и сейчас он увидел их вновь над пробоиной от взрыва между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра; колонны трапезной были взорваны, высокие своды разрушены; уцелели только остатки стены с фреской Тайной Вечери и буквы «XYZX».

— Что-нибудь случилось, господин Фемель? — спросил десятник и положил ему руку на плечо. — У вас ни кровинки в лице, или это из-за вашей зазнобы?

— Да, из-за нее, — ответил он, — из-за нее. Можете не беспокоиться, большое спасибо, что позвали меня.

Чай показался Йозефу невкусным, хлеб, масло и селедка тоже; была пятница, и это можно было определить по тому, что в монастыре кормили рыбой; даже сигарета показалась ему невкусной; он прошел через все здание, обогнув монастырскую церковь, вошел в подворье для паломников, осматривая все места, важные с точки зрения статики, но не нашел ничего, кроме одной-единственной маленькой буквы «х» в подвале монастырского подворья; почерк отца нельзя было спутать ни с каким другим, так же как его лицо, походку, улыбку, так же как чопорную вежливость, с какой он наливал вино или передавал за столом хлеб; то был его маленький «х», «х» доктора Роберта Фемеля, владельца конторы по статическим расчетам.

— Прошу тебя, прошу тебя, — сказала Марианна, — опомнись.

— Я и так опомнился, — ответил он, отпустил акселератор, поставил левую ногу на педаль сцепления, а правой нажал на тормоз; машина заскрежетала и, вихляя во все стороны, придвинулась вплотную к большой букве «с» в слове «смерть»; пыль поднялась столбом, завизжали тормоза, к машине, махая руками,

бежали встревоженные пешеходы, между словом «смерть» и скрещенными костями появился усталый ночной сторож, державший в руках котелок с кофе.

— О боже, — сказала Марианна, — неужели надо было так пугать меня?

— Прости, — сказал он тихо, — пожалуйста, прости меня. Я потерял контроль над собой. — Он быстро развернулся и уехал, прежде чем вокруг машины успели столпиться зеваки; четыре километра он вел машину с нормальной скоростью, держа руль одной левой рукой, а правой обнимал Марианну; так они миновали площадку для игры в гольф, где хорошо натренированные женщины и мускулистые мужчины старались добраться кто до шестнадцатой, кто до семнадцатой, а кто и до восемнадцатой лунки.

— Прости, — сказал Йозеф, — ей-богу, я больше никогда не буду. — Он свернул с автострасы, и теперь они ехали мимо живописных полей, вдоль тихой опушки леса.

«XYZX» — эти же самые буквы он видел на фотокопиях чертежей величиной с две почтовые открытки, которые его отец тасовал по вечерам, как колоду карт; «Вилла на опушке леса для издателя» — «XxX»; «Перестройка здания общества «Все для общего блага» — «YxY»; «Жилой дом для учителя на берегу реки» — один только «Y»; сегодня Йозеф увидел эти же

самые буквы между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра.

Машина медленно проезжала по свекловичным полям, из-под широких зеленых листьев уже вылезали толстые корнеплоды, за жнивьем и лугами виднелся Козакенхюгель.

— Почему ты не хочешь мне сказать, что случилось? — спросила Марианна.

— Потому что я сам еще не разобрался, потому что не знаю, прав ли я. Может быть, это просто дурной сон; может быть, немного погодя я все тебе объясню, а может, и нет.

— Но ты уже не хочешь быть архитектором?

— Нет, — сказал он.

— И потому мчался прямо на щиты?

— Возможно, — ответил он.

— Я всегда ненавидела людей, которые не знают цены деньгам, — сказала Марианна, — которые бессмысленно мчатся с недозволенной скоростью прямо на щит со словом «смерть» и без всяких оснований заставляют волноваться тех, кто наслаждается заслуженным отдыхом после трудового дня.

— Но у меня были основания мчаться на щиты. — Йозеф поехал медленней, а потом остановил машину на песчаной дороге у подножия холма; он поставил машину у сосны с нависшими над дорогой ветвями.

— Зачем ты остановился? — спросила она.

— Пошли, — сказал он, — давай еще немножко погуляем.

— Уже поздно, — возразила она, — твой дедушка наверняка приедет поездом четыре тридцать, а сейчас уже четыре двадцать.

Йозеф вышел из машины, взбежал вверх по склону и, приставив руку к глазам, посмотрел в сторону Денклингена.

— Да, — закричал он, — я вижу, поезд уже выходит из Додрингена; все та же старая пыхтелка, как в дни моего детства, и отходит она в то же время. Пошли, четверть часика они подождут.

Он снова подбежал к машине, потянул Марианну с сиденья, а потом, взяв за руку, потащил за собой по песчаной тропинке вверх, они уселись на прогалине; Йозеф показал на равнину, его палец следовал за поездом, который шел мимо свекловичных полей, мимо лугов и жнивья к Кисслингену.

— Ты даже не представляешь себе, — сказал он, — как хорошо я знаю окрестные деревни и как часто мы приезжали сюда этим поездом; после смерти матери мы почти все время жили в Штелингене или Гёрлингене, и я ходил в школу в Кисслингене; по вечерам мы бегали к этому поезду, потому что с ним приезжал из города дедушка, к этому самому поезду. Ты его видишь? Он как раз отходит от Денклингена; как ни странно, но мне всегда казалось, что

мы бедные; пока была жива мать и пока бабушка жила с нами, нам давали меньше еды, чем другим детям, которых мы знали, и мне не разрешали надевать хорошую одежду, я носил только перешитые вещи, в нашем присутствии бабушка раздаривала чужим людям все хорошее, что мы получали из аббатства и из наших усадеб, — хлеб, масло, мед; нам самим приходилось есть искусственный мед.

— И ты ненавидел свою бабушку?

— Нет, сам не знаю почему, но у меня не было к ней ненависти; может быть, потому, что дедушка водил нас к себе в мастерскую и тайком угощал вкусными вещами; и еще он водил нас в кафе «Кронер» и кормил до отвала; он всегда повторял: «Мать и бабушка делают большое дело, очень большое дело... не знаю только, достаточно ли вы уже большие для таких больших дел».

— В самом деле он так говорил?

— Да. — Йозеф засмеялся. — Когда мать умерла, а бабушку увезли, мы остались с дедушкой, и с тех пор нам хватало еды; под конец войны мы почти все время жили в Штелингене; я слышал, как ночью взорвали аббатство; мы сидели тогда в Штелингене на кухне; крестьяне и все наши соседи кляли немецкого генерала, который приказал взорвать монастырь, и бормотали себе под нос «зачемзачемзачем». Через несколько дней к нам явился

отец, он приехал в американском автомобиле, и его сопровождал американский офицер; отцу разрешили побыть с нами всего три часа; отец привез нам шоколад, но нас испугала эта клейкая темно-коричневая масса, мы никогда не ели шоколада и согласились его попробовать только после госпожи Клошграбе, жены управляющего; отец привез госпоже Клошграбе кофе, и она сказала ему: «Не беспокойтесь, господин доктор, мы следим за вашими детьми, как за своими собственными», а потом прибавила: «Какой позор, что они взорвали аббатство, да еще перед самым концом войны»; отец ответил: «Да, позор, но, быть может, на то была воля Божья»; госпожа Клошграбе возразила отцу: «Бывает, что люди выполняют не Божью волю, а волю дьявола», отец засмеялся, и американский офицер тоже засмеялся; отец был с нами ласков, и я в первый раз увидел слезы у него на глазах; он заплакал, когда ему надо было уходить от нас; раньше я не предполагал, что он может плакать; он был всегда сдержан, не проявлял своих чувств; отец не плакал даже тогда, когда ему надо было возвращаться из отпуска в свою часть и мы провожали его; на вокзале все плакали: мать, бабушка, дедушка и мы с сестрой, — все, кроме него... Видишь, — сказал Йозеф, показывая на дым от паровоза, похожий на развевающийся флаг, — он только что прибыл в Кисслинген.

— Сейчас дедушка отправится в аббатство, и там ему скажут то, что, собственно говоря, ты должен был сказать сам.

Я стер меловые буквы между ногой святого Иоанна и ногой святого Петра, а также маленький «х» в погребке подворья для паломников; он их не найдет, никогда не обнаружит и ничего не узнает от меня.

— Три дня фронт проходил между Денклингенем и городом, — сказал Йозеф, — и мы с госпожой Клошграбе молились по вечерам за дедушку; потом он явился вечером из города, бледный и грустный, таким я его еще никогда не видел; он ходил с нами смотреть на развалины аббатства, бормоча то же, что бормотали крестьяне, то же, что бабушка постоянно бормотала в бомбоубежище : «зачем-зачемзачем».

— Наверное, он был счастлив, что ты помогаешь восстанавливать аббатство?

— Да, — сказал Йозеф, — но я не могу больше давать ему это счастье: не спрашивай — почему; не могу, и все.

Он поцеловал Марианну, зачесал ей за ухо прядь волос и еще раз провел рукой по ее волосам, стряхивая с них сосновые иглы и песчинки.

— Отец вскоре вернулся из плена и забрал нас в город, несмотря на протесты дедушки,

который уверял, что для нас было бы куда лучше, если бы мы росли не среди развалин. Но отец говорил: «Я не могу жить в деревне и хочу, чтобы мои дети были со мной, я их почти не знаю». Мы его тоже не знали и первое время дичились; мы чувствовали, что дедушка тоже боится отца. В то время все мы размещались в дедушкиной мастерской, потому что наш дом был непригоден для жилья; на стене в мастерской висел громадный план нашего города; все разрушенные здания были отмечены на нем жирными черными значками; делая уроки за дедушкиным чертежным столом, мы часто прислушивались к тому, что говорили отец, дедушка и другие взрослые, толпившиеся перед планом. Они часто спорили, потому что отец всегда повторял одно и то же: «Все это — долой... взорвать!» — и чертил букву «х» рядом с очередным черным значком, а остальные всегда возражали ему: «Боже избави, это невозможно»; отец говорил: «Сделайте это, до того как в город вернутся люди... сейчас здесь еще пусто и вам не надо ни с кем считаться: сметите все это с лица земли...» Но остальные отвечали ему: «Этот оконный проем сохранился еще с шестнадцатого века, а эта стена часовни — с двенадцатого»; тогда отец бросал грифель и говорил: «Хорошо, поступайте как знаете, но, поверьте мне, вы еще раскаетесь... поступайте как знаете, но меня увольте». Ему

отвечали: «Дорогой господин Фемель, вы наш лучший специалист-подрывник, вы не можете бросить нас на произвол судьбы»; отец отчеканивал: «И все же я брошу вас на произвол судьбы, если мне придется считаться с каждым древнеримским курятником. По-моему, стены — это стены, и, поверьте, они отличаются друг от друга только тем, прочные они или нет, к черту, взрывайте эту дрянь, и все сразу станет на место». Когда они ушли, бабушка засмеялся и сказал: «О боже, ты ведь должен понять их чувства», но отец тоже засмеялся и ответил: «Я понимаю их чувства, только я их не уважаю», а потом добавил: «Пошли, дети, купим шоколаду», и он отправился с нами на черный рынок, там он купил себе сигареты, а нам шоколад; мы влезали с ним в темные полуразрушенные подъезды домов, карабкались по лестницам: отец хотел купить еще сигары для бабушки; он всегда покупал и никогда ничего не продавал; если мы получали хлеб и масло из Штелингена или из Гёрлингена, то брали в школу и его долю; отец разрешал нам отдавать продукты, кому мы захотим; однажды мы купили на черном рынке масло, которое сами только что подарили: в свертке все еще лежала записка госпожи Клошграбе, в которой говорилось: «На этой неделе я могу Вам послать, к сожалению, только один килограмм». Отец засмеялся и сказал: «Ну да, людям ведь нужны

деньги на сигареты». Как-то к нам опять пришел бургомистр, и отец сообщил ему: «В развалинах францисканского монастыря я обнаружил грязь из-под ногтей, которая восходит к четырнадцатому веку, не смейтесь, это — четырнадцатый век, вполне доказано; грязь смешана с ворсинками от шерстяной пряжи, изготовлявшейся, как известно из достоверных источников, в нашем городе только в четырнадцатом веке; таким образом, мы имеем первоклассную культурно-историческую реликвию, господин бургомистр». Бургомистр ответил: «Вы заходите слишком далеко, господин Фемель», а отец возразил: «Я зайду еще дальше, господин бургомистр». Но тут засмеялась моя сестренка Рут, которая сидела рядом со мной и, сажая кляксы, писала что-то в своей тетради по арифметике; она вдруг звонко рассмеялась; отец подошел к ней, поцеловал ее в лоб и сказал: «Да, детка, это и впрямь смешно». Я почувствовал ревность, ведь меня отец еще ни разу не целовал в лоб; мы любили его, Марианна, но все еще немного побаивались, особенно когда он стоял перед планом с черным грифелем в руках и говорил: «Взорвать... долой все это». Отец был всегда строг, когда дело касалось моих занятий, он часто повторял: «Есть только два пути — либо ничего не знать, либо знать все; твоя мать ничего не знала, по-моему, она не закончила даже началь-

ной школы; и все же я никогда не женился бы ни на какой другой женщине; одним словом, решай!» Мы его любили, Марианна; и когда я сейчас думаю, что в то время ему было немногим больше тридцати лет, мне просто не верится; мне всегда казалось, что он гораздо старше, хотя он вовсе не выглядел старым; иногда он даже был веселым, чего теперь с ним не бывает; по утрам, когда мы вылезали из своих кроватей, он уже стоял у окна, брился и кричал нам: «Война кончилась, дети», хотя война кончилась уже четыре или пять лет назад.

— А теперь пошли, — сказала Марианна, — нельзя, чтобы они ждали столько времени.

— Пусть подождут, — ответил он. — Я еще должен узнать, что было с тобой, овечка. Я ведь почти ничего о тебе не знаю.

— Овечка, — повторила она, — почему ты меня так называешь?

— Просто мне вдруг пришло в голову это слово, — ответил он, — скажи мне, что было с тобой; каждый раз, когда я замечаю, что у тебя такой же говор, как у додрингенцев, мне становится смешно, тебе он не идет; я знаю, что ты училась в тамошней школе, хотя ты и не оттуда родом; и еще я знаю, что ты помогаешь госпоже Клошграбе печь пироги, готовить и гладить белье.

Марианна положила его голову к себе на колени, прикрыла ему глаза рукой и сказала:

— Ты хочешь знать, что было со мной? Со мной? Ты это действительно хочешь знать?.. Падали бомбы, но они так и не попали в меня, хотя бомбы были очень большие, а я очень маленькая; люди в бомбоубежище совали мне разные лакомства, а бомбы все падали и падали, но не убили меня, я слышала, как они взрывались и как осколки с шумом пролетали сквозь ночь, подобно порхающим птицам, и кто-то пел в бомбоубежище «Дикие гуси с шумом несутся сквозь ночь». Отец мой был высокого роста, темноволосый и красивый, он носил коричневый мундир с золотым шитьем, на поясе у него висело что-то вроде кинжала, отливавшего серебром; он выстрелил себе в рот; не знаю, видел ли ты когда-нибудь человека, который выстрелил себе в рот? Нет, не видел, ну, тогда благодари Бога, что Он спас тебя от этого зрелища. Отец лежал на ковре, и кровь текла по турецкому ковру, по смирнскому узору — настоящему смирнскому, дорогой мой; моя мать была белокурая высокая женщина в синей форме, она носила красивые элегантные шляпки, но не носила кинжала у бедра; у меня был еще младший братик, белокурый мальчик, намного моложе меня; братик висел над дверью с пеньковой петлей на шее, покачиваясь взад и вперед; я смеялась, я продолжала смеяться и тогда, когда мать накинула мне веревку на шею, бормоча себе под

нос: «Он так велел», но тут вошел какой-то человек, без мундира, без золотого шитья и без кинжала, с пистолетом в руке, он наставил пистолет на мою мать и вырвал меня у нее из рук, я заплакала, на шее у меня уже болталась веревка, и мне хотелось сыграть в ту же игру, в какую играл мой младший братик, — в игру под названием «он так велел»; однако человек, зажав мне рот, спустился по лестнице со мной на руках, снял с меня петлю и посадил на грузовик...

Йозеф попытался отнять руки Марианны от своего лица, но девушка крепко прижала их к его глазам.

— Ты не хочешь узнать, что было дальше? — спросила она.

— Хочу, — ответил он.

— Тогда не открывай глаз и дай мне закурить.

— Здесь, в лесу?

— Да, здесь, в лесу.

— Достань сигарету из кармашка моей рубахи.

Йозеф почувствовал, как она расстегнула кармашек его рубахи и, не отнимая правой руки от его глаз, вытащила пачку сигарет и коробок спичек.

— Я тебе тоже дам закурить, — сказала она, — здесь, в лесу... Мне исполнилось тогда ровно пять лет, и я была таким милым ребен-

ком, что люди ухитрялись баловать меня даже на грузовике: они совали мне всякие лакомства и на стоянках мыли меня с мылом; грузовик обстреливали из пушек и пулеметов, но не попадали в него; так мы ехали долго, не знаю точно, сколько времени, но наверняка не меньше двух недель, а когда машина остановилась, то человек, который не дал мне сыграть в игру под названием «он так велел», взял меня с собой; он заворачивал меня в одеяло и клал рядом на сено или на солому, а то и на кровать и говорил: «Ну-ка, скажи мне: «отец», но я не знала, что такое «отец», того мужчину в красивом мундире я всегда называла «папочка», потом я все же научилась говорить «отец», так я звала тринадцать лет подряд человека, который не дал мне сыграть в ту игру; теперь у меня была своя кроватка, свое одеяло и мать, она была строгая, но любила меня; девять лет я прожила в их опрятном домике. В школе священник сказал про меня: «Посмотрите-ка, кто перед нами! Перед нами самая настоящая, сама подлинная язычница»; все дети засмеялись, потому что они не были язычниками, но священник добавил: «Но мы быстро превратим нашу маленькую язычницу, нашу милую овечку в маленькую христианку», и они превратили меня в христианку. Овечка была милая и счастливая; водила хороводы и скакала на одной ножке, играла в мяч, прыгала

через веревочку и очень любила своих родителей, а потом настал день, когда в школе было пролито несколько слезинок и произнесено несколько напутственных речей, где несколько раз повторялось об окончании целого жизненного этапа; после школы овечка поступила в ученье к портнихе, она училась управляться с иглой и ниткой, а мать учила ее убирать, печь пироги и готовить; все в деревне говорили: «Когда-нибудь на ней женится принц, она достойна принца...» Но вот в один прекрасный день в деревню прикатил очень большой и очень черный автомобиль; за рулем сидел бородатый человек; автомобиль остановился на деревенской площади, и человек спросил, не выходя из машины: «Будьте добры, скажите, где живут Шмитцы?» Люди на площади ответили ему: «У нас очень много Шмитцев, какие именно вам нужны?» Человек за рулем сказал: «Те, у кого есть приемная дочь»; люди на площади ответили: «Значит, вам нужен Эдуард Шмитц, он живет вон там за кузницей, в доме, перед которым растет самшит». Человек за рулем сказал «спасибо», и автомобиль покатил дальше; за ним двинулось много народу; ведь от деревенской площади до дома Эдуарда Шмитца было не более пятидесяти шагов; я сидела на кухне и перебирала салат; мне очень нравилось это занятие, я любила перебирать листья — плохие выбрасывать, а хоро-

шие класть в решето, где салат казался таким зеленым и чистым. Ни о чем не подозревая, мы с матерью мирно беседовали. «Не огорчайся, Марианна, — говорила она, — ничего не поделаешь, все мальчики становятся несносными лет в тринадцать-четырнадцать, а некоторые уже в двенадцать, в этом возрасте они выкидывают разные штуки, такова природа, а с природой сладить нелегко», а я отвечала: «Я огорчаюсь вовсе не из-за этого». — «Из-за чего же ты тогда огорчаешься?» — спросила мать. Я сказала: «Я вспоминаю своего братика, он висел, а я смеялась, не зная, как все это ужасно... ведь он был некрещеный». Не успела мать ответить, как открылась дверь; мы не слышали стука... Я сразу же узнала ее, она все еще была белокурая и высокая и носила, как и раньше, элегантную шляпку, но синей формы на ней сейчас не было; она тут же подошла ко мне, раскрыла объятия и сказала: «Ты — моя Марианна... разве голос крови тебе ничего не говорит?» На секунду ножик замер у меня в руке, а потом я ответила, аккуратно обрезаю салатный лист: «Нет, голос крови мне ничего не говорит». — «Я — твоя мать», — сказала она. «Нет, — возразила я, — вон моя мать. Меня зовут Марианна Шмитц, — и, помолчав немного, добавила: — «Он так велел», и вы набросили мне петлю на шею, милостивая государыня». Этому обращению я выучилась

у портнихи, от нее я узнала, что таким дамам следует говорить «милостивая государыня».

Она кричала, плакала и пыталась обнять меня, но я держала у груди нож острием вперед; она говорила о гимназиях и университетах, кричала и плакала, но я выбежала через черный ход в сад, а потом в поле, прибежала к священнику и рассказала ему все. Он сказал: «Она твоя мать, а родительские права есть родительские права; пока ты не станешь совершеннолетней, право на ее стороне; дело скверное». Я возразила ему: «Разве она не потеряла это право, когда играла в игру под названием «он так велел»?» Священник ответил: «Ты хитрое создание, запомни этот довод хорошенько». Я запомнила этот довод и без конца приводила его, когда они начинали говорить о голосе крови. «Я не слышу голоса крови, — повторяла я, — совершенно не слышу». Они удивлялись. «Но ведь это невозможно, подобный цинизм противоестествен». — «Нет, — говорила я, — «он так велел» — вот что противоестественно». Они отвечали: «Но ведь это случилось уже больше десяти лет назад, и твоя мать раскаивается в своем поступке». Я говорила: «Есть поступки, которые нельзя искупить даже раскаянием». — «Неужели ты хочешь быть неумолимей самого Господа Бога, который судит нас?» — спросила она. «Я не Бог, — ответила я, — и не могу быть такой милосердной,

как Он». Меня оставили у моих родителей. Но одному я не сумела помешать: отныне меня зовут не Марианна Шмитц, а Марианна Дросте. У меня было такое чувство, словно мне что-то вырезали... Я все еще вспоминаю своего маленького братика, которого заставили играть в игру под названием «он так велел», — тихо прибавила она. — Ты по-прежнему считаешь, что бывают более страшные истории, такие, что их нельзя даже рассказать?

— Нет, нет, — сказал Йозеф, — Марианна Шмитц, я все тебе расскажу.

Марианна отняла руку от его глаз, он выпрямился и посмотрел на нее; она старалась не улыбаться.

— Такого ужаса твой отец не сделал бы, — сказала она.

— Да, — согласился он, — такого ужаса он не сделал бы, хотя все же сделал нечто ужасное.

— Пошли, — сказала она, — расскажешь мне в машине, скоро уже пять часов, им придется нас ждать; если бы у меня был дедушка, я бы не заставляла его ждать, а если бы у меня был такой дедушка, как у тебя, я бы для него ничего не пожалела.

— А для моего отца? — спросил Йозеф.

— Его я пока не знаю, — ответила Марианна, — пошли. И не твусь, расскажи ему все при первом же удобном случае. Пошли.

Она заставила его встать, и когда они сели в машину, он, как и раньше, положил ей руку на плечо.

9

Молодой банковский служащий бросил на Шреллу сочувственный взгляд, когда тот пододвинул к нему по мраморной доске пять английских шиллингов и тридцать бельгийских франков.

— И это все?

— Да, все, — сказал Шрелла.

Служащий взялся за арифмометр и с неудовольствием покрутил ручку, ручка вращалась так недолго, что уже в этом, казалось, было что-то унижительное для Шреллы; служащий быстро написал несколько цифр на бланке и подвинул к Шрелле пятимарковую бумажку, четыре монетки по десять пфеннигов и три по одному.

— Следующий, прошу вас.

— Не можете ли вы сказать, как проехать в Блессен-фельд? — тихо спросил Шрелла. — Вы не знаете, туда все еще ходит одиннадцатый номер?

— Ходит ли одиннадцатый номер в Блессенфельд? Но ведь я не справочное бюро, — сказал молодой служащий, — впрочем, я, право, не знаю.

— Спасибо. — Шрелла сунул деньги в карман и отошел, пропустив к окошку какого-то господина, который положил на мраморную доску пачку швейцарских франков; уходя, Шрелла слышал, как ручка арифмометра начала почтительно вращаться, совершая оборот за оборотом. Пренебрежение, облеченное в вежливую форму, действует сильнее всего, подумал Шрелла.

Зал ожидания на вокзале. Лето. Солнце. Веселые лица. Конец недели. Бои из отеля тащат чемоданы на перрон; молодая женщина стоит, высоко подняв табличку с надписью: «Отъезжающие в Лурд, собирайтесь здесь». Газетчики... цветочные киоски... Девушки и юноши с пестрыми купальными полотенцами под мышкой.

Шрелла перешел вокзальную площадь, остановился на островке для пешеходов и начал изучать трамвайные маршруты: одиннадцатый номер все еще ходил в Блессенфельд; сейчас он стоит у светофора, между отелем «Принц Генрих» и боковым приделом Святого Северина; а вот он подошел к остановке; все пассажиры постепенно выходят. Шрелла стал в очередь, выстроившуюся перед загородкой кондуктора, заплатил за проезд, сел, снял шляпу, провел платком по потному лбу и вытер стекла очков; пока трамвай трогался, он тщетно ждал, что в нем пробудятся какие-

то чувства, но чувства так и не пробудились; гимназистом он тысячи раз ездил на одиннадцатом номере; пальцы его попутчиков были измазаны чернилами, мальчишки без умолку болтали о всяких пустяках, и это всегда действовало ему на нервы; они говорили о сечении шара, об ирреалисе и плюсквамперфекте, о бороде Барбароссы, которая проросла через стол; болтали о «Коварстве и любви», о Ливии и об Овидии в зеленовато-сером картонном переплете; чем дальше трамвай уходил от центра, тем тише становилась болтовня; те, кто рассуждал с наибольшим апломбом, сходили в центре и растекались по широким сумрачным улицам, застроенным солидными домами; те, кто говорил несколько менее уверенно, сходили в новых районах и разбредались по более узким улицам с менее солидными домами; в трамвае оставалось всего лишь два-три гимназиста, ехавших в Блессенфельд, где были самые несолидные дома; когда трамвай, покачиваясь, подъезжал к конечной остановке, минуя огороды и гравийные карьеры, разговор входил в нормальное русло.

— Твой отец тоже бастует? У Грессигмана дают сейчас уже четыре с половиной процента скидки.

— Маргарин подешевел на пять пфеннигов.

Около парка, где летом всю зелень быстро вытапывали, где песок вокруг небольших

прудов был изрыт тысячами детских ножек и густо усеян мусором — клочками бумаги и осколками бутылок, на углу Груффельштрассе, где склады старьевщиков все снова и снова наполнялись железным ломом и тряпками, бумагой и бутылками, открылся жалкий ларек с лимонадом: тощий безработный решил попытать счастья в торговле; за короткое время он разжирел, отделал свою будку стеклом и нержавеющей сталью, оборудовал блестящие автоматы и, нажравшись пфеннигов, стал барином, хотя ему все еще приходилось время от времени сбавлять цену за стакан лимонада на два пфеннига, с опаской предупреждая клиента:

— Только больше никому не говори.

Одиннадцатый номер, покачиваясь из стороны в сторону, проехал по центру, а потом начал приближаться к Блессенфельду, минуя огороды и гравийные карьеры, но чувства так и не пробудились в Шрелле; тысячи раз Шрелла слышал названия этих остановок: Баусерештрассе, Северный парк, Блесский вокзал, Внутреннее кольцо; но в этот солнечный день, когда почти пустой трамвай подъезжал к конечной остановке, все названия казались ему незнакомыми, как будто их произносили во сне, и сон этот видел не он, а другой человек, тщетно пытавшийся рассказать ему об увиденном; теперь названия остановок зву-

чали, как вопли о помощи, доносившиеся из густого тумана.

Там, на углу Парковой улицы и Внутреннего кольца, стояла будочка, где мать попыталась было торговать жареной рыбой, но потерпела неудачу из-за своего чересчур мягкого сердца:

— Я не могу отказать голодным ребятишкам в кусочке рыбы, ведь они видят, как я ее жарю.

Отец отвечал:

— Ну конечно, ты не можешь, но нам придется закрыть лавочку, мы потеряли кредит, разорились, торговцы больше не отпускают нам товара.

Пока кусок рыбного филе, обваленный в сухарях, жарился в кипящем масле, мать накладывала на картонную тарелочку две-три ложки картофельного салата; сострадавая, сердце матери твердым не оставалось; из ее голубых глаз катились слезы; соседки шептали друг другу: «Она выплачет себе всю душу». Мать перестала есть и пить, из пышной, цветущей женщины она превратилась в худосочную бледную немочь; от пригожей буфетчицы из привокзального буфета — общей любимицы — осталась только тень; целыми днями она бормотала: «О Господи! О Господи!» — и перелистывала истрепанные страницы сектантских молитвенников, возвещавших о светопрестав-

лении; на пыльных улицах развевались красные флаги, и в то же время там проносили плакаты с портретами Гинденбурга; то и дело слышались крики и выстрелы; вспыхивали драки; пели фанфары и гремел барабан. В гробу мать казалась совсем девочкой — такая она была маленькая и худая; ее похоронили на кладбище для бедняков, на могиле посадили астры и поставили тонкий деревянный крест с надписью: «Эдит Шрелла, 1896 — 1932»; мать выплакала себе всю душу, а потом ее плоть смешалась с землей на Северном кладбище.

— Конечная остановка, — объявил кондуктор, вылезая из-за своей загородки и закуривая окурки сигареты. — Дальше мы, к сожалению, не поедем, — добавил он, проходя вперед.

— Спасибо.

Тысячи раз он садился в трамвай и выходил из него на этом месте... конечная остановка одиннадцатого номера... где-то здесь, между ямами, вырытыми землечерпалкой, и бараками, обрывались ржавые рельсы, которые проложили тридцать лет назад, намереваясь удлинить трамвайную линию; а вот и ларек с лимонадом: нержавеющей сталь, стеклянные сифоны, блестящие автоматы, аккуратно разложенные плитки шоколада.

— Мне, пожалуйста, стакан лимонаду. Зеленая жидкость в безукоризненно чистом стакане напоминала вкусом душистый ясенник.

— Пожалуйста, сударь, если вам не трудно, бросьте бумагу в урну. Вкусная вода?

— Да, спасибо.

Куриные ножки и мягкая куриная грудка, хорошо зажаренные в масле наивысшего качества, были вложены в целлофановый пакетик из набора для пикника и заколоты булавками; курица еще не успела остыть.

— Какой аппетитный запах. Не хотите ли еще стакан лимонаду?

Нет, спасибо. Дайте мне, пожалуйста, полдюжины сигарет.

В раздобревшей торговке лимонадом еще можно было узнать тоненькую красивую девочку, какой она была прежде. Правда, теперь ее голубые детские глазки, которые в былые дни исторгли из груди мечтательного капеллана, готовившего детей к первому причастию, такие слова, как «ангельски чистое невинное дитя», застыли, стали жесткими глазами торговки.

— Девяносто пфеннигов за все, прошу вас.

— Спасибо.

Кондуктор одиннадцатого номера дал звонок к отправлению; Шрелла слишком замешкался, теперь ему предстояло пробыть в Блесенфельде целых двенадцать минут до следующего трамвая; он закурил, медленно допил лимонад и, глядя на розовое каменное лицо торговки, попытался вспомнить, как ее звали когда-то; это белокурое создание очень быстро

утратило свою ангельскую чистоту; девчушка носилась с распущенными волосами по парку и завлекала юношей в темные подъезды; она вымогала любовные клятвы у охрипших от волнения подростков; а ее брат, такой же белокурый и такой же ангельски чистый, тщетно подбивал мальчишек со всей улицы на благородные подвиги, он служил подмастерьем у столяра и считался лучшим бегуном на сто метров; однажды на рассвете его обезглавили из-за его собственного безрассудства.

— Пожалуйста, дайте мне еще стаканчик, — сказал Шрелла. — Я передумал.

Теперь он разглядывал безукоризненно ровный пробор молодой женщины, которая, наклонившись вперед, подставила стакан под струю лимонада из сифона; брата этой девочки, похожего на ангела, звали Ферди, а ее имя было Эрика Прогульске, это имя осипшие мальчишки шепотом передавали друг другу, подобно паролю, открывавшему доступ к райскому блаженству; она спасала мальчиков от невыразимых мук, и, как говорили, делала это бесплатно, потому что ей так нравилось.

— Мы, кажется, знакомы? — Она с улыбкой поставила стакан лимонада на стойку.

— Нет, — возразил Шрелла, улыбаясь, — по-моему, нет.

Воспоминания ни в коем случае нельзя размораживать, не то ледяные узоры превра-

тятся в тепловатую грязную водичку; нельзя воскрешать прошлое, нельзя извлекать строгие детские чувства из размякших душ взрослых людей; того и гляди узнаешь, что теперь та же девушка делает это за плату; осторожно! Главное — не заводить разговоров.

— Да, тридцать пфеннигов. Спасибо.

Сестра Ферди Прогульске посмотрела на него с профессиональной приветливостью. Меня ты тоже избавила от мук, и сделала это бесплатно, не взяла даже шоколадку, которая совсем растаяла у меня в кармане, а ведь шоколадка не была платой, я просто хотел подарить ее тебе, но ты не взяла шоколадку, твой сострадательный рот и твои руки спасли меня; надеюсь, ты не рассказывала об этом Ферди; ведь сострадание теряет силу, если тайна не сохраняется; тайны, облеченные в слова, убийственны; надеюсь, Ферди ничего не знал в то июльское утро, когда он в последний раз видел небо; я был единственный подросток на всей Груффельштрассе, согласившийся совершать благородные подвиги. Эдит мы тогда вообще не принимали в расчет, ей было всего двенадцать лет, и никто еще не мог разгадать, какое у нее мудрое сердце.

— Мы правда не знакомы?

— Да, уверен.

Сегодня ты приняла бы от меня подарок, твое сердце стало твердым, оно уже не состра-

дает; за несколько недель ты лишилась своей детской безгрешности, которую сохраняла даже в грехе; ты решила, что куда лучше жить не сострадая, ведь ты вовсе не хотела стать слезливой белокурой размазней, которая готова выплакать себе всю душу; нет, мы не знакомы, не будем размораживать ледяные узоры. Спасибо, до свидания.

Напротив все еще помещалась пивная «Блессенский уголок», где отец работал кельнером, он подавал там пиво, водку и котлеты, и так каждый день; смесь ожесточения и кротости придавала его чертам совершенно неповторимое выражение; у него было лицо мечтателя, которому безразлично, где он служит, — разносит ли он в блессенфельдской пивной пиво, водку и котлеты, подает ли в «Принце Генрихе» омаров и шампанское или же кормит завтраками в Верхней гавани утомленных бессонной ночью проституток, предлагая им пиво, биточки, шоколад и черри-бренди; следы этих завтраков — липкие пятна на манжетах — отец приносил домой; он приносил домой также щедрые чаевые, шоколад и сигареты, но никогда не приносил того, что было у всех других отцов, — праздничного настроения, которое разрешалось либо криком и ссорами, либо любовными клятвами и слезами примирения; на отцовом лице всегда было выражение ожесточенной

кротости; этот падший ангел прятал Ферди под пивной стойкой; там, между трубками от сифонов, полицейские и нашли белокурого Ферди, который улыбался даже перед лицом смерти; в тот вечер с манжет отца, как всегда, смыли липкие пятна, его кельнерскую рубашку накрахмалили так, что она стала жесткой и ослепительно белой; они забрали отца только на следующее утро; сунув под мышку бутерброды и черные лаковые ботинки — он как раз собрался ехать на службу, — он сел в полицейскую машину и с того дня исчез бесследно; на его могиле не было ни белого креста, ни астр — кельнер Альфред Шрелла исчез. Его убили даже не при попытке к бегству, он просто бесследно исчез.

Эдит размешивала крахмал, начищала запасную пару черных ботинок отца, стирала белые галстуки, а я в это время учился, играючи изучал Овидия и сечения конусов, дела и замыслы Генриха I, Генриха II и Тацита, дела и замыслы Вильгельма I и Вильгельма II, учил наизусть Клейста, изучал стереометрию; я был очень способный, необычайно способный ученик; мне, сыну бедняка, так же как и моим товарищам, приходилось преодолевать во время учения тысячи препятствий; кроме того, судьба избрала меня для свершения благородных подвигов, и я еще позволял себе, так сказать, некоторую роскошь — читал Гёльдерлина.

До отхода трамвая оставалось еще семь минут. Дом 17 на Груффельштрассе был заново оштукатурен, перед ним стояли зеленая машина, красный велосипед и два грязных детских самоката. Я тысячу раз звонил в эту дверь, нажимал на тусклую латунную кнопку звонка; до сих пор мои пальцы помнят, как я это делал; вместо «Шрелла» там теперь написано «Трессель», а вместо «Шмитц» — «Хуман», все фамилии новые, за исключением Фруля. К Фрулю приходили занять стакан сахару или стакан муки, немножко уксуса или рюмочку растительного масла для салата. Сколько стаканов и рюмок мы взяли в долг у Фруля и какие высокие проценты нам приходилось платить! Госпожа Фруль давала нам полстакана и полрюмки, а потом проводила черточку на двери, где было написано: «Му.», «Сах.», «Укс.» или «Масл.»; эти черточки она стирала большим пальцем только в том случае, если ей возвращали целый стакан или целую рюмку; зато, приходя в лавочку или обсуждая с приятельницами за яичным ликером и картофельным салатом животрепещущие гинекологические проблемы, она повторяла: «Боже, до чего люди глупы»; госпожа Фруль уже давно приняла «причастие буйвола» и заставила мужа и дочь последовать ее примеру, она пела у себя в квартире «Дрожат дряхлые кости».

Нет, никаких чувств в Шрелле не пробудилось, ровным счетом никаких; только в ту минуту, когда он прикоснулся пальцем к бледно-желтой латунной кнопке звонка, что-то в нем дрогнуло.

— Вы кого-нибудь ищете?

— Да, — ответил он, — я ищу семью Шрелла, разве они здесь больше не живут?

— Нет, — сказала девочка, — если бы они здесь жили, я бы знала. — Девочка была краснощекая и хорошенькая; она балансировала на самокате, держась за стену. — Нет, таких здесь никогда не было. — Она умчалась на своем самокате; болтая ножкой, пролетела по тротуару и свернула в проулок с криком: — Эй, кто тут знает Шреллу?

Шрелла задрожал: вдруг кто-нибудь помнит их семью; тогда ему придется подойти, поздороваться и поговорить о прошлом. «...Да, Ферди они поймали... и твоего отца тоже... А Эдит удачно вышла замуж».

Но краснощекая девочка безуспешно носилась взад и вперед на своем грязном самокате; описывая смелые кривые и переезжая от одной кучки людей к другой, она безуспешно взывала к открытым окнам:

— Эй, кто тут знает Шреллу?

Раскрасневшись, она вернулась к нему, сделала изящный разворот, остановилась и сказала:

— Нет, сударь, таких здесь никто не знает.

— Спасибо, — сказал Шрелла, улыбаясь, — дать тебе пфенниг?

— Да. — Просияв, девочка с шумом умчалась к киоску с лимонадом.

— Я согрешил, тяжко согрешил, — с улыбкой бормотал Шрелла, возвращаясь на конечную остановку, — я запил дешевым лимонадом с Груффельштрассе курицу из отеля «Принц Генрих»; и я не потревожил прошлое, не разморозил ледяные узоры, не дал зажечься искоркам в глазах Эрики Прогульске, не дал ей узнать меня и произнести имя Ферди; только мои пальцы напомнили мне о былом, прикоснувшись к давно знакомой кнопке звонка из бледно-желтой латуни.

Казалось, Шрелла медленно проходил сквозь строй, пронзаемый взглядами людей, которые стояли на тротуарах и в открытых дверях или высовывались из окон, внимательно наблюдая за улицей, и заодно грелись на летнем солнышке и наслаждались субботним вечером; неужели никто из них так и не узнает его в плаще чужеземного покроя, не узнает его по очкам, по походке, по прищуре глаз; когда-то они без конца дразнили его за чтение Гёльдерлина, распевали ему вслед: «Шрелла, Шрелла, Шрелла помешался на стихах».

Он в испуге отер лоб, снял шляпу и, остановившись на углу, оглянулся; никто не по-

шел за ним; молодые парни на мотоциклах, наклонившись вперед, шептали девушкам слова любви; в пивных бутылках на подоконниках отражалось солнце; напротив все еще стоял дом, где родился и жил Ферди, быть может, там еще сохранилась латунная кнопка, на которую этот ангел из предместья десятки тысяч раз нажимал пальцем; фасад был выкрашен зеленой краской, на нем сверкала аптечная витрина и красовалась реклама зубной пасты — прямо под окном, откуда так часто выглядывал Ферди.

А с той вон дорожки в парке в один июльский вечер двадцать три года назад Роберт увлек Эдит в кустарник; теперь там сидели на лавочках пенсионеры, рассказывали друг другу анекдоты, по запаху определяли сорт табака и сетовали на невоспитанность детей, играющих поблизости; матери с раздражением призывали на головы своих непослушных чад всяческие бедствия и предвещали им ужасную гибель от атомной бомбы. Юноши, держа молитвенники под мышкой, возвращались с исповеди, размышляя, нарушить ли им свое благочестивое настроение уже сегодня или потерпеть до завтра.

Надо было ждать еще целую минуту, пока трамвай отправят; вот уже тридцать лет эти ржавые рельсы убегают в никуда; сестра Ферди налила зеленый лимонад в чистый

стакан; вагоновожатый зазвонил, призывая пассажиров садиться; усталые кондукторы гасили сигареты, поправляли сумки и становились на свои места, потом и они предостерегающе зазвонили; далеко-далеко, там, где обрывались проржавевшие рельсы, какая-то старушка пустилась бежать к остановке.

— Мне до Главного вокзала, — сказал Шрелла, — с пересадкой в Гавани.

— Сорок пять пфеннигов.

Сперва шли совсем несолидные дома, потом не очень солидные, а под конец — солидные.

Пора пересаживаться, шестнадцатый номер все еще ходит в Гавань.

Шрелла увидел магазин стройматериалов, угольные склады, грузовые причалы; стоя у балюстрады старой таможни, он прочел вывеску: «Михаэлис. Уголь, кокс, брикеты».

Стоит только свернуть и пройти минуты две, как круг воспоминаний сомкнется; время, наверное, пощадило руки госпожи Тришлер, так же как глаза ее старого мужа и фотографию Алоиза на стене; он увидит пивные бутылки, связки лука, помидоры, хлеб и табак; увидит суда на якоре и шаткие сходни, по которым когда-то проносили свернутые паруса, чтобы потом отправить эти гигантские коконы вниз по Рейну, к туманному Северному морю.

Теперь здесь царила тишина: за забором у Михаэлиса лежала гора недавно привезенного угля, а на складе стройматериалов — штабели ярко-красных кирпичей; тишину еще усугубляло шарканье сапог ночного сторожа, расхаживавшего позади заборов и барачков строителей.

Улыбаясь, Шрелла облокотился на ржавые перила, оглянулся и в испуге застыл: он не знал, что построили новый мост, и Неттлингер тоже ничего не сказал ему об этом; мост широко раскинулся над всей Старой гаванью; как раз в том месте, где когда-то был дом Тришлера, теперь возвышались темно-зеленые быки; тень от моста падала на набережную, где раньше стоял трактир для грузчиков, а посередине реки гигантские стальные ворота замыкали голубую пустоту.

Отцу больше всего нравилось работать в пивной Тришлера, обслуживать речников и их жен, которые долгими летними вечерами сидели в саду на красных стульях; Алоиз, Эдит и он удили рыбу в Старой гавани; там он впервые познал своим детским разумом вечность и бесконечность, до сих пор он встречал эти понятия только в стихах; на противоположном берегу по вечерам звонили колокола Святого Северина, возвещая мир и спокойствие; под колокольный звон Эдит, стоя у реки, повторяла движения поплавок: ее бедра, ее беспокой-

ные ладони и все ее тело двигались вместе с пляшущими на волнах поплавками: казалось, она плывет; за все это время ни у кого из них ни разу не клюнула рыба.

Отец подавал золотистое пиво с белой пеной; в эти летние вечера его лицо казалось скорее кротким, чем ожесточенным; радостно улыбаясь, он отказывался от чаевых, потому что все люди братья. Братья! Братья! Он громко произносил это слово в те летние вечера; рассудительные речники тихонько посмеивались, а их красивые, уверенные в себе жены качали головой (уж очень детским казалось им воодушевление отца), тем не менее они аплодировали ему; все они были братья и сестры.

Шрелла медленно отошел от балюстрады и двинулся вдоль гавани, где старые понтоны и лодки ржавели в ожидании торговцев железным ломом; войдя в зеленую тень от нового моста, он увидел на середине реки краны, которые усердно грузили обломки конструкций на баржи; железо со скрежетом расплющивалось под тяжестью все новых и новых глыб; Шрелла разыскал помпезную лестницу, спускавшуюся к реке, и почувствовал, что ее широкие ступени вынуждают его идти торжественным шагом; пустая чистая автострада с наивной доверчивостью взбегала на высокий берег реки, туда, где раньше был мост; но щиты со скрещенными костями и гигантски-

ми черепами — черными на белом фоне — издевались над этой доверчивостью; путь на запад преграждало слово «смерть»; зато на восток тянулась совсем пустая дорога, петлявшая среди ослепительно яркой зелени бескрайних свекловичных полей.

Шрелла отправился дальше, протиснулся между словом «смерть» и скрещенными костями, миновал барак строителей, мимоходом успокоив ночного сторожа, который уже начал было предостерегающе размахивать руками, но опустил их, обезоруженный улыбкой Шреллы. Дойдя до самого края набережной, Шрелла увидел ржавые железные балки, на которых висели глыбы бетона; эти несокрушимые балки, продержавшиеся целых пятнадцать лет после взрыва, воочию демонстрировали высокое качество германской стали; за пустыми стальными воротами дорога шла мимо площадки для игры в гольф, а потом вновь терялась среди ослепительной зелени бескрайних свекловичных полей.

Там дальше было кафе «Бельвю». Вдоль набережной шла аллея. Справа тянулись спортивные площадки, где играли в лапту. Лапта! «Мяч, который забил Роберт». Он вспомнил, как они толкали киями бильярдные шары в пивной в Голландии: красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому; монотон-

ная музыка шаров звучала почти так же, как грегорианская литургия, а в бесконечных геометрических фигурах, которые три шара прочерчивали на зеленом сукне, была своя строгая поэзия; никогда не принимай «причастия буйвола», покорно терпи истязания, «паси овец Моих» на пригородных лужайках, где играют в лапту, на Груффельштрассе и на Модестгассе, в английских предместьях и за тюремной решеткой, «паси овец Моих», где бы ты их ни встречал, даже тех, кто ничему не научился, кроме чтения Гёльдерлина и Тракля, тех, кто пятнадцать лет подряд спрягает на классной доске: «Я вяжу, я вязал, я буду вязать, я вязал бы...» А в это время дети Неттлингера играют в бадминтон на безукоризненно подстриженных газонах — лучше всего их, кажется, подстригают англичане; в это время красивая, выхоленная жена Неттлингера — на редкость выхоленная — кричит с террасы своему мужу, покоящемуся в великолепном шезлонге: «Давай я подолью тебе капельку джина в лимонную воду». И Неттлингер отвечает: «Хорошо, только пусть капелька будет побольше!»; жена Неттлингера, восхищенная остроумием своего супруга, хихикает, подливает ему джина в стакан, а потом, выйдя в сад, садится рядом с ним в такой же красивый шезлонг и наблюдает за игрой старшей дочери в бадминтон; девушка чуточку слишком худая, немножко

слишком костлявая, ее красивое лицо слишком серьезно; наигравшись до изнеможения, она кладет ракетку и садится на краю газона у ног папочки и мамочки («Смотри только не простудись, родная») и спрашивает, как всегда серьезно: «Папочка, объясни мне толком, что такое демократия?» И вот для папочки наступает желанный миг, когда он может напустить на себя торжественный вид; он вынимает изо рта сигару, ставит стакан с лимонадом («Сегодня ты куришь уже пятую сигару, Эрнст-Рудольф!») и начинает объяснять: «Демократия — это...»

Нет, нет, я не обращаюсь к тебе ни в частном порядке, ни в служебном, я не стану выяснять свой правовой статус. Как ты сказал? «Я делаю это бесплатно». В кафе «Цонз» я когда-то дал ребяческую клятву быть благородным, даже себе во вред; мое правовое положение останется невыясненным; возможно, впрочем, Роберт уже все выяснил с помощью динамита. Научился ли он за эти годы смеяться или по крайней мере улыбаться? Роберт был неизменно серьезен. Он не мог примириться с гибелью Ферди. План мести Роберт воплотил в формулы, он запечатлел их в своем мозгу и всюду носил с собой этот легкий груз — неопровержимые формулы; он хранил их на фельдфебельских и офицерских квартирах, держал их при себе шесть лет подряд и

ни разу не рассмеялся. А ведь Ферди улыбался даже в ту минуту, когда его уводили; он был ангелом из предместья, выросшим на навозной куче Груффельштрассе. Только три квадратных сантиметра кожи на пальце Шреллы, дотронувшемся до кнопки звонка, ощутили прошлое; он вспомнил обожженные ноги учителя гимнастики и последнего агнца, убитого осколком; отец бесследно исчез, его убили даже не при попытке к бегству. И никто так и не нашел мяча, который забил Роберт.

Шрелла бросил окурок в реку, встал и медленно побрел обратно; он снова протиснулся между словом «смерть» и скрещенными костями, кивнул сторожу, которого потревожил, оглянулся на кафе «Бельвю» и зашагал вниз по чистой, пустынной автостраде, туда, где ослепительная зелень свекловичных полей, сверкавшая на солнце, сливалась с горизонтом; он знал, что шоссе в какой-то точке пересекает линию шестнадцатого номера, на шестнадцатом он за сорок пять пфеннигов доедет до вокзала; Шрелла мечтал поскорее очутиться в гостинице, теперь ему была по душе неприятельность этого случайного жилья, полная безликость обшарпанных гостиничных номеров, как две капли похожих один на другой; в гостинице не таяли ледяные узоры воспоминаний, там он не имел ни гражданства, ни родины; утром заспанный

кельнер принесет ему невкусный завтрак, манжеты у кельнера окажутся не совсем чистыми, а грудь рубашки будет накрахмалена не так хорошо, как когда-то крахмалила мать; если кельнеру больше шестидесяти, он, возможно, рискнет задать ему вопрос: «Скажите, вы не знали кельнера по фамилии Шрелла?»

Он шел все дальше по пустынному, чистому шоссе: ослепительная зелень свекловичных полей простиралась до самого горизонта; у Шреллы не было с собой вещей, он сунул руки в карманы и бросил на дорогу несколько монет, как говорится, для Гензеля и Гретель. После смерти Эдит и отца, после смерти Ферди почтовые открытки стали для Шреллы единственно приемлемым средством связи с прошлым: «Дорогой Роберт, живу хорошо, надеюсь, ты тоже; передай, пожалуйста, привет племяннице и племяннику, которых я так и не видел, и твоему отцу». Двадцать два слова, слишком много слов; лучше все зачеркнуть и написать сначала: «Мне живется хорошо, надеюсь, тебе тоже, кланяйся Рут, Йозефу, твоему отцу»; одиннадцать слов; половины слов оказалось достаточно, чтобы выразить ту же мысль; зачем ездить к Фемелям, пожимать им руки, целую неделю не спрягать «я вяжу, я вязал, я буду вязать»; неужели лишь для того, чтобы убедиться, что ни Неттлин-

гер, ни Груффельштрассе не изменились и что все осталось по-прежнему, кроме рук госпожи Тришлер?

Свекловичная ботва доходила до самого горизонта, казалось, небо было покрыто серебристо-зеленым оперением; где-то внизу в туннеле, покачиваясь, загрохотал шестнадцатый номер. Сорок пять пфеннигов; все подорожало. Наверное, Неттлингер еще не кончил объяснять, что такое демократия; смеркалось; голос Неттлингера стал мягче, дочь принесла ему из столовой плед — не то югославский, не то датский, не то финский, во всяком случае, прекрасной расцветки; девушка набросила плед на плечи отца, а потом снова присела у его ног, чтобы благоговейно внимать его словам; мать, которая готовила в это время вкусные острые сэндвичи и разнообразные салаты, крикнула им из кухни: «Посидите еще в саду, детки, пожалуйста, сегодня такой чудесный день и все так очаровательно».

Образ Неттлингера, живший в его воображении, был более ясным, чем тот Неттлингер, которого он увидел при встрече; Шрелла представил себе, как Неттлингер кладет в рот кусочки филе, запивая их великолепным, лучшим, самым лучшим вином, и в то же время обдумывает, чем бы достойно увенчать свою трапезу — сыром, мороженым, тортом или

омлетом. Бывший советник посольства, который прочел Неттлингеру и иже с ним курс «Как стать гурманом», сказал: «Не забывайте одного, господа: кроме знания предмета, пусть самого досконального, здесь требуется еще капелька, хотя бы капелька, индивидуальности».

В Англии он написал как-то на классной доске: «Он должен быть убит»; пятнадцать лет подряд он играл на ксилофоне языка, обучая людей немецкому: «Я живу, я жил, я жил бы, я буду жить. Буду ли я жить?» Он никак не мог понять, почему некоторым людям грамматика кажется скучной. «Его убьют, его убили, он будет убит, его убили бы; кто его убьет?» Мне отмщение, и Аз воздам, говорит Господь.

— Конечная остановка. Главный вокзал.

Сутолока на вокзале не стала меньше: кто здесь прибывающий и кто отъезжающий? Почему всем этим людям не сидится дома? Когда уходит поезд на Остенде? А может, ему лучше поехать в Италию или во Францию; ведь и в этих странах кто-нибудь тоже жаждет спрятать: «Я живу, я жил, я буду жить, его убьют; кто его убьет?»

— Вам нужен номер в гостинице? За какую цену? ...Ах так, дешевый!..

Любезность молодой дамы, которая водила по адресной книге своим красивым пальчи-

ком, заметно поубавилась; в этой стране явно считалось грехом осведомляться о цене. Выгоднее всего покупать дорогие вещи. Самое дорогое — это самое дешевое.

Вы ошибаетесь, красавица, дешевое всегда дешевле — факт, а теперь пусть ваш красивый пальчик спустится в самый низ страницы — пансион «Модерн». Семь марок, без завтрака.

— Нет, спасибо, я знаю дорогу на Модестгассе, право же, знаю. Номер шестнадцать, это почти рядом с Модестскими воротами.

Завернув за угол, Шрелла чуть было не наткнулся на кабанью тушу; он быстро отпрянул от темно-серого зверя, но из-за этого чуть не проскочил мимо дома Роберта; здесь ему не грозили воспоминания, он был в этом доме всего один раз; Модестгассе, 8; Шрелла остановился перед начищенной до блеска медной дощечкой и прочел: «Доктор Роберт Фемель. Контора по статическим расчетам. После обеда закрыто». И все же, нажимая кнопку звонка, он почувствовал дрожь; события, разыгравшиеся в его отсутствие, при незнакомом режиссере, волновали его почему-то сильнее, чем все остальное; за этой дверью умерла Эдит, в этом доме родились ее дети, здесь жил Роберт; когда по дому разнесся звонок, он сразу понял, что ему не откроют, одновременно он услышал и телефонный звонок: видимо, бой

из отеля «Принц Генрих» сдержал свое слово; я дам ему хорошие чаевые, когда мы с Робертом будем играть в бильярд.

До пансиона «Модерн» всего лишь несколько шагов. Наконец он окажется дома; какое счастье, что в крохотной прихожей не слышно запаха съестного. Хорошо положить усталую голову на чистую подушку.

— Спасибо, я сам найду.

— Третий этаж, третья дверь налево; будьте осторожны, поднимаясь по лестнице, сударь, медный прут, придерживающий ковер, местами отстал; некоторые постояльцы ведут себя как дикари. Вас не надо будить? И еще один маленький вопрос, сударь: не желаете ли вы заплатить вперед? Или вы подождете, пока пришлют багаж? Багажа не будет? Да? Тогда, пожалуйста, с вас восемь пятьдесят, включая обслуживание. К сожалению, я вынуждена принимать эти меры предосторожности, сударь. Вы даже не представляете себе, как много на свете прохвостов; вот и приходится быть недоверчивой даже с порядочными людьми; ничего не поделаешь, некоторые ухитряются обвязывать себе вокруг тела простыни, а другие разрывают наволочки на носовые платки. Если бы вы только знали, какие у нас бывают неприятности. Квитанция вам не нужна? Тем лучше, из-за налогов мы все станем нищие. К вам, наверное, придет

какая-нибудь дама... ваша жена... Не правда ли? Не беспокойтесь, я пошлю ее наверх...

10

Страх его оказался напрасным: он не стал переживать свое прошлое, мертвые формулы не обратились ни в радость, ни в печаль, и его сердце не сжалось от испуга, оно даже не дрогнуло. Да, однажды под вечер он, капитан Фемель, стоял вон там, между подворьем для паломников и самим монастырем, там, где теперь лежала груда пережженных лиловых кирпичей; рядом с ним находился генерал Отто Кестерс, все слабоумие которого свелось к одной-единственной формуле — «сектор обстрела»; там же стояли лейтенант Шрит и два фенриха — Кандерс и Хохбрет; с убийственно серьезным видом они внушали генералу по кличке «Сектор обстрела» мысль о необходимости поступать последовательно, даже если перед ними самые почитаемые архитектурные памятники; а когда другие офицеры протестовали, когда эти слезливые убийцы вступались за культуру, которую они якобы хотели спасти, кто-либо из четверых произносил страшные слова: «государственная измена», но никто не мог так резко, ясно и логично отстаивать свое мнение, как Шрит, уж он-то умел положить

конец колебаниям генерала, доказать ему самым убедительным образом необходимость взрыва.

— Это покажет, что мы верим в победу, господин генерал. Коль скоро мы принесем такую тяжелую жертву, население и солдаты убедятся, что мы еще верим в победу.

И вот генерал уже произносит сакраментальную фразу:

— Я принял решение, взрывайте, господа. Если речь идет о победе, мы не имеем права щадить наши самые священные культурные ценности; за дело, господа.

Руки взлетают к козырькам фуражек, щелкают каблуки.

Неужели ему было когда-то двадцать девять лет, неужели он когда-то был капитаном и стоял рядом с генералом по кличке «Сектор обстрела», на этом самом месте, где новый настоятель с улыбкой приветствует его отца.

— Мы счастливы, господин тайный советник, что вы снова почтили нас своим присутствием, аббатству очень приятно познакомиться с вашим сыном; ваш внук Йозеф для нас уже почти родной, ведь правда, Йозеф? Судьба аббатства тесно переплелась с судьбою семьи Фемель, что касается Йозефа — позвольте уж мне коснуться этой деликатной темы, — то его в наших краях настигла стрела амура; посмотрите, господин доктор Фемель,

нынешние молодые люди даже не краснеют, когда о них говорят такие вещи; фройляйн Рут и фройляйн Марианна, к сожалению, я не могу взять вас с собой.

Девушки захихикали. И мать, и Жозефина, и даже Эдит хихикали на этом же самом месте, когда их исключали из общества мужчин. На фотографиях в семейном альбоме ничего не изменилось, кроме лиц и покроя одежды.

— Да, кельи уже заселены, — сказал настоятель, — а вот наше любимое детище — библиотека; пойдете дальше, — это изолятор для больных, к счастью, он в настоящий момент пустует...

Нет, Роберт никогда не разгуливал здесь с мелом в руках, переходя с места на место, никогда не чертил на этих стенах таинственные сочетания букв «X», «Y», «Z», условный код уничтожения, который умели расшифровывать только Шрит, Хохбрет и Кандерс; в монастыре пахло известкой, свежей краской и свежеструганным деревом.

— Да, эта фреска сохранилась благодаря зоркости вашего внука, господин советник, и вашего сына, господин доктор, он спас нам Тайную Вечерю в трапезной; конечно, мы знаем, что эта картина не является художественно-историческим памятником — надеюсь, вы, господин Фемель, не обидитесь на мои слова, — но в наши дни становится все

меньше произведений живописи, написанных в традициях старых мастеров, а мы ведь считаем своим долгом следовать традициям; признаюсь, что эта школа живописи и по сию пору восхищает меня тем, что она так точно воспроизводит детали... посмотрите, с какой любовью и тщательностью выписаны ноги святого Иоанна и ноги святого Петра, ноги пожилого и ноги молодого мужчины; как точно воспроизведены детали.

Нет, здесь никогда не пели «Дрожат дряхлые кости», никогда не отмечали праздник солнцеворота; все это ему приснилось; он был элегантным господином сорока с небольшим лет, сыном элегантного отца и отцом бойкого и очень умного сына, который с улыбкой ходил вместе с ними по монастырю, хотя это, видимо, ему и наскучило. Оборачиваясь к Йозефу, Роберт каждый раз замечал на лице сына приветливую, но несколько усталую улыбку.

— Вы ведь знаете, что было разрушено все, вплоть до хозяйственных построек, мы восстановили их в первую очередь, считая, что они помогут нам создать материальные предпосылки для новой, счастливой жизни: вот коровник; разумеется, у нас электродойка, не смейтесь... я уверен, что даже наш патрон — святой Бенедикт — не стал бы возражать против электродойки... Разрешите предложить вам скромное угощение, добро пожаловать к

столу, отведайте нашего знаменитого монастырского хлеба, нашего знаменитого масла и меда; известно ли вам, что каждый умирающий или покидающий свой пост настоятель завещает своему преемнику не забывать Фемелей; мы в самом деле причисляем вас к нашей монастырской братии... а вот и молодые дамы; разумеется, здесь вы снова можете присоединиться к нам.

На простых деревянных столах выставлено угощение — хлеб, масло, вино и мед; Йозеф обнял одной рукой сестру, а другой Марианну, рядом с его светловолосой головой две темно-волосые девичьи головки.

— Надеюсь, вы удостоите нас чести и явитесь на праздник освящения аббатства? Канцлер и министры уже дали свое согласие; в этот день к нам пожалуют также несколько иностранных вельмож, нам будет очень приятно приветствовать среди наших гостей и семейство Фемель; моя торжественная проповедь пройдет не под знаком обвинения, а под знаком примирения, примирения с теми силами, которые в порыве слепого усердия разрушили нашу родную обитель; разумеется, я отнюдь не собираюсь мириться с разрушительными силами, снова угрожающими нашей культуре; итак, позвольте пригласить вас на праздник; от всей души прошу оказать нам эту честь.

Я не приеду на освящение, думал Роберт, ведь я не примирился и не примирюсь с теми силами, которые, будучи виновны в смерти Ферди и в смерти Эдит, старались сохранить Святой Северин; нет, я далеко не примирился ни с самим собой, ни с духом примирения, который вы собираетесь провозгласить в вашей праздничной проповеди; обитель была разрушена не в порыве слепого усердия, а в порыве ненависти, отнюдь не слепой, в порыве ненависти, в которой я нисколько не раскаиваюсь. Может, сознаться, что это сделал я? Но тогда мне придется причинить боль отцу, хотя он ни в чем не виноват, и, быть может, также и сыну, хотя и он ни в чем не виноват, и вам, преподобный отец, хоть вы тоже ни в чем не виноваты. А кто виноват? Нет, я не примирился с миром, в котором одно движение руки или одно неправильно понятое слово может стоить человеку жизни.

Но вслух Роберт сказал:

— Большое вам спасибо, преподобный отец, мне будет очень приятно присутствовать на монастырском празднике.

Я не приду, преподобный отец, думал старый Фемель. ведь на празднике я должен буду изображать свой собственный памятник, а не того человека, каким я теперь стал, не того старика, который сегодня утром велел своей секретарше оплевать его памятник; только

не пугайтесь; я, преподобный отец, не примирился с моим сыном Отто, переставшим быть моим сыном, сохранившим лишь его внешность, я не примирился и с тем мнением, что здания важнее всего, даже если я сам их строил. На празднике мое отсутствие пройдет незамеченным, меня с успехом заменят канцлер, министры, иностранные вельможи и высокопоставленные церковные сановники... Не ты ли это сделал, Роберт, и побоялся мне признаться? Тебя выдали твои взгляды и жесты во время обхода монастыря; ну что ж, меня это не трогает; быть может, в ту минуту ты думал о мальчишке, имени которого я так и не узнал, о кельнере по фамилии Гроль, об овцах, которых никто не пас, в том числе и мы сами; какой уж тут праздник примирения; соггу, но вы, преподобный отец, легко перенесете наше отсутствие, оно пройдет незамеченным; прикажите прибить к монастырской стене мемориальную доску: «Построено Генрихом Фемелем в 1908 году, в возрасте двадцати девяти лет; разрушено Робертом Фемелем в 1945 году, в возрасте двадцати девяти лет»... А чем ты, Йозеф, ознаменуешь свое тридцатилетие? Может, ты заменишь отца в конторе по статическим расчетам? Что ты намерен делать — строить или разрушать? Оказывается, формулы более действенны, чем цемент.

Подбодрите ваше сердце хоралом, преподобный отец, и подумайте хорошенько — неужели вы действительно примирились с духом, разрушившим монастырь?

Но вслух старик скачал:

— Большое вам спасибо, преподобный отец, мы будем очень рады участвовать в вашем празднике.

С лугов и низин уже подымалась прохлада, сухая свекольная ботва стала влажной и темной, обещая богатый урожай; слева от руля белокурая голова Йозефа, рядом с ним, справа, — две черноволосые девичьи головки; машина медленно ехала по направлению к городу; вдали зазвучала песня «Мы жали хлеб». Она казалась такой же неправдоподобной, как стройная башня Святого Северина у самого горизонта; разговор опять начала Марианна:

— Разве ты едешь не через Додринген?

— Нет, дедушка просил поехать через Денклинген.

— Я думала, мы поедем кратчайшим путем.

— К шести будем в городе, и то не поздно, — сказала Рут, — за час мы вполне успеем переодеться.

Голоса молодых людей звучали так приглушенно, словно доносились из темных штолен, где горняки, засыпанные землей, пытались шепотом подбодрить друг друга: «Я вижу

свет...» — «Да нет, ты ошибаешься...» — «Но я правда вижу свет...» — «Где же?...» — «Разве ты не слышишь стука? Это спасательная команда...» — «Я ничего не слышу».

Неужели мы говорили слишком громко в монастырской комнате для гостей?

Не следует размораживать застывшие формулы, думал Роберт, нельзя облекать тайны в слова, нельзя переживать прошлое — переживания могут убить все, даже такие хорошие, строгие понятия, как любовь и ненависть; неужели на свете и впрямь жил когда-то капитан по имени Роберт Фемель, прекрасно усвоивший жаргон офицерских казино, точно соблюдавший все армейские традиции, приглашавший по долгу службы на танцы жену офицера выше его чином, четко произносивший тосты «за наше любимое отечество»? Шампанское, ординарцы, игра в бильярд — красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому и снова белый по зеленому; однажды вечером перед ним очутился незнакомец с кием в руках и, улыбаясь, представился:

«Лейтенант Шрит. Как вы могли заметить по погонам, у меня та же специальность, что и у вас, господин капитан; я подрывник — с помощью динамита защищаю западную культуру».

В мозгу у Шрита не было путаницы — он умел ждать и копить силы, ему не надо было

каждый раз собираться с мыслями и чувствами, он не упивался трагизмом, и он сдержал свою клятву — взрывал только немецкие мосты и только немецкие дома, он не тронул ни одной русской хаты, не выбил ни одного русского окна, он ждал, играл в бильярд, не сказал ни одного лишнего слова — и вот наконец добыча оказалась у него в руках, громадная и долгожданная, — аббатство Святого Антония, а на горизонте маячила еще другая добыча, которая потом ускользнула от него, — Святой Северин.

— Не надо так быстро, — вполголоса сказала Марианна.

— Извини, — ответил Йозеф.

— А что мы будем делать здесь в Денклингене?

— Дедушка хочет зайти в лечебницу, — объяснил Йозеф.

— Йозеф, — сказала Рут, — на машине в эту аллею ехать нельзя, разве ты не видишь надпись: «Только для служащих». Ты что, тоже служащий?

Целая процессия двинулась по направлению к заколдованному замку: супруг, сын, внук и будущая невестка.

— Нет-нет, — сказала Рут, — я подожду здесь, у ворот. Идите, пожалуйста.

Я не возражаю, чтобы по вечерам, когда мы с отцом сидим в гостиной, бабушка была с нами; я читаю, он попивает пиво, возится со своей картотекой и раскладывает копии чертежей форматом в две почтовые открытки, как люди раскладывают пасьянс; отец всегда корректен, его галстук хорошо завязан, жилет застегнут на все пуговицы, он ничем не напоминает старого добродушного папашу, отец заботлив, но сдержан: «Не нужны ли тебе книги, платья или деньги на поездки? Не скучаешь ли ты, детка? Может быть, пойдём куда-нибудь? Хочешь, пойдём в театр, в кино или на танцы? Я с удовольствием составлю тебе компанию. Может, ты желаешь ещё раз пригласить своих школьных приятельниц к нам в садик на чашку кофе? Сейчас ведь такая хорошая погода».

Вечером перед сном мы гуляем поблизости от дома — доходим до Модестских ворот, потом сворачиваем на Вокзальную улицу и спускаемся вниз до самого вокзала. («Чувствуешь ли ты, детка, дыхание дальних стран?») Потом мы проходим через туннель к Святому Северину, минуем отель «Принц Генрих» («Грец забыл смыть кровь с тротуара») и видим пятна засохшей кабаньей крови, которые совсем почернели; «Уже половина десятого, детка, тебе пора спать, спокойной ночи», отец целует меня в лоб; он всегда приветлив, всегда корректен. «Если хочешь, возьмём экономку.

А может, тебе не очень надоела еда, которую приносят из ресторана? По правде говоря, я не люблю чужих людей в доме». Завтрак вдвоем: чай, булочка и молоко; поцелуй в лоб; только иногда он говорит совсем тихо:

— Детка, детка...

— Что случилось, отец?

— Давай уедем.

— Прямо сейчас, сразу, сию секунду?

— Да, не ходи в школу ни сегодня, ни завтра, мы поедем недалеко, только до Амстердама; это чудесный город, детка, там так тихо, а люди такие милые, надо только получше узнать их.

— Ты их знаешь?

— Да, я их знаю... Чудесно гулять по вечерам вдоль канала... Вода как стекло, совсем как стекло. Тишина вокруг. Ты чувствуешь, какие здесь тихие люди? Нигде люди так не шумят, как у нас. У нас они всегда орут, кричат, хвастаются. Ты не обидишься, если я схожу поиграю в бильярд? А то пойдем вместе, тебя это развлечет.

Я никак не могла понять, почему во время игры на него смотрели с таким острым интересом, все — и стар и млад. Окутанный клубами сигарного дыма, поставив около себя на борт кружку пива, он играл в бильярд; не знаю, правда ли они были с ним на «ты», может, это просто особенность голландского языка, мо-

жет, мне только казалось, что они обращаются к нему на «ты»; во всяком случае, они знали, что его зовут Роберт: букву «р» они перекатывали по нёбу, как твердую конфетку. Да, там было тихо, и каналы казались совсем стеклянными... Мое имя — Рут, я наполовину сирота.

Когда моя мать умерла, ей было двадцать четыре года, а мне три, но я могу представить ее себе только молоденькой девушкой или древней старухой; ей не подходит быть двадцатичетырехлетней женщиной; мать я вижу либо восемнадцатилетней, либо восьмидесятилетней; мне всегда казалось, что они с бабушкой сестры; я знаю тайну, которую взрослые так тщательно скрывают, знаю, что бабушка сошла с ума, я не хочу видеть ее, пока она сумасшедшая; ее безумие — ложь, она прячет скорбь за толстыми стенами лечебницы; мне это знакомо, меня тоже опьяняет скорбь, и тогда я погрязаяю во лжи; вся жилая половина дома по Модестгассе, восемь, населена призраками. «Коварство и любовь», дедушка построил монастырь, отец взорвал его, а Йозеф снова восстанавливает. Пусть будет так, если бы вы знали, как мне все это безразлично. На моих глазах из подвалов вытаскивали покойников, Йозеф пытался уверить меня, будто это больные, которых повезут в больницу; но разве больных бросают в грузовики, словно мешки с картошкой? А потом я видела, как

на перемене наш учитель Кротт тайком пробрался в класс и вытащил у Конрада Греца из ранца завтрак; разглядев лицо Кротта, я смертельно испугалась и начала молить Бога: «Прошу тебя, Боже, не допусти, чтобы Кротт меня заметил, прошу тебя, прошу...» Я знала, что мне не уйти живой, если Кротт меня обнаружит. Я притаилась за классной доской, где искала свою заколку; из-под доски виднелись мои ноги, но Бог сжалился надо мной, учитель меня так и не заметил; зато я увидела его лицо, увидела, как он жует хлеб; потом он вышел из класса; того, кто хоть раз видел такое лицо, нимало не беспокоят взорванные аббатства. Ну и сцена разыгралась потом, когда Конрад Грец обнаружил свою пропажу! Кротт потребовал от всех нас чистосердечного признания: «Дети, скажите мне всю правду, даю вам четверть часа на размышление; за это время виновный должен быть найден, не то...» Осталось всего восемь минут, всего семь минут, всего шесть минут... Я посмотрела на Кротта, он встретился со мной взглядом и бросился ко мне: «Рут, Рут, — закричал он, — это ты взяла?» Я покачала головой и расплакалась, потому что снова смертельно испугалась; Кротт сказал: «О боже, Рут, лучше признайся!» Я с удовольствием взяла бы вину на себя, но боялась, не догадается ли он, что я все знаю. Плача, я покачала головой; осталось всего

четыре минуты, потом три, потом две, потом одна, наконец время истекло.

«Проклятые ворюги, обманщики! В наказание извольте написать двести раз подряд: «Не кради».

Какое мне дело до ваших аббатств, мне пришлось хранить более страшные тайны, мне пришлось пережить смертельный ужас: мертвецов бросали на машины, как мешки с картошкой.

Почему они так холодно разговаривали с этим славным аббатом? Что он им сделал? Разве он кого-нибудь убил, разве он украл чужой бутерброд? У Конрада Греца было всего вдоволь, он ел белый хлеб с печеночным паштетом и хлеб с зеленым сыром; в нашего кроткого благоразумного учителя словно бес вселился, на его лице я читала слово «убийство», убийство возвещала каждая черта его лица; на грузовики бросали трупы, словно мешки с картошкой. Меня забавляло, когда отец начинал издеваться над бургомистром, стоя у большого плана на стене, когда он чертил углем свои значки, приговаривая: «Все это долой, взорвать!» Я люблю отца, люблю его не меньше, с тех пор как узнала об аббатстве... Неужели Йозеф забыл оставить сигареты в машине? Как-то я видела человека, который отдал за две сигареты свое обручальное кольцо. Интересно, за сколько сигарет он отдал бы

свою дочь и за сколько — жену? На его лице я прочла прейскуронт... десять сигарет... двадцать сигарет... С ним можно было бы столкнуться, с такими всегда можно столкнуться; как ни грустно, отец, но с тех пор как я знаю насчет аббатства, я с не меньшим аппетитом поедаю монастырский хлеб, мед и масло. Мы будем по-прежнему играть в отца с дочкой, наши отношения останутся такими же чопорными, как и раньше, словно мы исполняем конкурсный танец. После угощения в монастыре следовало бы, собственно говоря, подняться на Козакенхюгель; Йозеф, Марианна и я пошли бы впереди, а дедушка за нами, как мы ходим каждую субботу.

— Ты поспеваешь за нами, дедушка?

— Спасибо, как-нибудь поспею.

— Мы не слишком быстро идем?

— Нет, не беспокойтесь, мои дорогие. Может быть, мне на минутку присесть, или, по-вашему, здесь слишком сыро?

— Песок совершенно сухой и еще совсем теплый, дедушка. Можешь сесть, дай мне руку...

— Разумеется, дедушка, закури свою сигару, ничего плохого не случится.

К счастью, сигареты Йозефа нашлись в машине и зажигалка оказалась исправной.

Дедушка всегда дарит мне куда более красивые платья и джемперы, чем отец, у которого очень старомодный вкус; сразу видно,

что дедушка знает толк в молодых девушках и женщинах; я не понимаю и не желаю понимать бабушку; ее сумасшествие — сплошная ложь; она морила нас голодом, и когда ее увезли, я обрадовалась, по крайней мере нас начали кормить досыта; возможно, дедушка прав, возможно, бабушка совершала и совершает большие дела, но я и слышать ничего не хочу о больших делах, ведь я чуть было не погибла из-за бутерброда с печеночным паштетом и кусочка белого хлеба с зеленым сыром; пусть она приезжает опять домой и коротает с нами вечера, но не надо давать ей ключи от кухни, пожалуйста, не давайте ей ключи от кухни; я вспоминаю голодный блеск в глазах учителя Кротта, и мне становится страшно; Боже милостивый, давай им всегда еды вволю, не то в их глазах опять появится этот ужасный блеск; господин Кротт — совершенно безобидный человек, по вечерам он садится в собственную малолитражку и отправляется вместе со всей своей семьей в аббатство Святого Антония на торжественную службу — «Сколько воскресений прошло с Троицына дня, сколько с Богоявления, сколько с Пасхи?» Кротт — симпатичный человек, у него симпатичная жена и двое симпатичных ребятишек.

— Посмотри-ка, Рут, ты заметила, как вырос наш Францхен?

— Да, господин Кротт, ваш Францхен очень вырос.

И я уже начинаю забывать, что в тот день моя жизнь висела буквально на волоске; тогда я так же, как и все, послушно написала двести раз подряд «Не кради»; разумеется, я не отказываюсь ходить на вечеринки к Конраду Грецу, ведь там подают изумительные паштеты из гусиной печенки и белый хлеб с зеленым сыром; если в доме Греца наступают кому-нибудь на ногу или опрокидывают бокал с вином, там не говорят: «Извините, пожалуйста» или «Пардон», там говорят: «Sorry».

Какая теплая трава у обочины дороги, какие у Йозефа ароматные сигареты; с тех пор как я узнала, что аббатство взорвал отец, я с таким же аппетитом уплетаю монастырский хлеб и мед; как красив Денклинген в лучах заходящего солнца; нам надо поторапливаться, ведь на переодевание понадобится минимум полчаса.

11

— Подойдите ближе, генерал. Не стесняйтесь, новичков первым делом представляют мне, ведь я прожила в этом распрекрасном доме дольше всех; вы что, хотите проткнуть своей тростью весь земной шар? Земля-то чем

виновата? И почему, завидя какую-нибудь стену, часовню или теплицу, вы долго качаете головой и бормочете себе под нос: «Сектор обстрела»? Впрочем, это звучит красиво. «Сектор обстрела» означает зеленую улицу для пуль и снарядов. Как вас зовут? Отто? Кестерс? Я не терплю фамильярности, не к чему представляться друг другу, к тому же имя Отто уже занято; надеюсь, вы разрешите звать вас просто «Сектор обстрела». Достаточно взглянуть на вас, услышать ваш голос, ощутить ваше дыхание чтобы понять: вы не только приняли «причастие буйвола», вы питались только им, и больше ничем; в этом случае вы придерживались строгой диеты. Ну а теперь, новичок, ответьте: какого вы вероисповедания? Католического? Так я и знала, меня бы очень удивило, если бы дело обстояло иначе; значит, вы умеете прислуживать в церкви; ну конечно, ведь вас воспитал католический па-тер; извините меня за то, что я смеюсь; вот уже три недели, как мы ищем нового церковного служку; Баллоша они признали здоровым и выписали; может, вы согласитесь помочь нам хотя бы немножко. Ты ведь тихий, а не буйно-помешанный, и твое сумасшествие сводится к одному-единственному пунктику — во всех случаях жизни, когда надо и когда не надо, ты бормочешь: «Сектор обстрела»; ты наверняка сумеешь перекладывать требник с правой

стороны алтаря на левую и с левой на правую, наверняка сможешь преклонять колена перед дарохранительницей. Правда? Здоровье у тебя отличное, все люди твоей профессии — здоровяки, так что ты сумеешь, бия себя в грудь кулаками, произносить слова «*mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa*» и еще «*kyrie eleison*»*; вот видишь, сведущий генерал, обученный католическим патером, еще может пригодиться; я предложу священнику нашей лечебницы сделать вас своим новым служкой. Ты согласен, не так ли?..

Спасибо, сразу виден настоящий кавалер; нет, вот сюда, пожалуйста, свернем к теплице, я хочу показать вам кое-что, имеющее прямое касательство к вашей профессии, и, пожалуйста, обойдемся без ухаживаний, мы не на уроке танцев, забудьте это, мне уже семьдесят один год, а вам семьдесят три, не целуйте мне ручку, я не желаю заводить здесь стариковский флирт, эту чепуху надо бросить. Посмотри! Что ты видишь за этим зеленоватым стеклом? Правильно, здесь помещается арсенал нашего доброго старшего садовника; он стреляет из этих ружей в зайцев и куропаток, в ворон и ко-сульт, ведь наш садовник страстный охотник; я уже давно заприметила у него один очень красивый и удобный черный предмет — пистолет.

* «Господи, помилуй» (греч.).

А ну, выкладывай, чему тебя учили, когда ты был фенрихом и лейтенантом; скажи мне, из такой штуковины и впрямь можно застрелить человека? Почему ты так побледнел, старый рубака, в свое время ты пожирал «причастие буйвола» тоннами, а теперь у тебя поджилки трясутся, когда я задаю тебе самые простые вопросы; хватит дрожать; конечно, я малость спятила, но я вовсе не собираюсь приставлять к твоей семидесятитрехлетней груди пистолет, чтобы сэкономить государству твою пенсию, я вовсе не намерена экономить что-либо нашему государству; ответь мне по-военному на мои по-военному четкие вопросы: можно ли выстрелом из пистолета отправить человека на тот свет? Да? Хорошо? Скажи тогда, с какого расстояния лучше всего стрелять, чтобы попасть? Метров с десяти — двенадцати? Самое большее с двадцати пяти?

О боже, почему вы так разволновались? Неужели старые генералы бывают трусами? Вы сообщите куда следует? Здесь некому сообщать; когда-то вам вбили в голову, что все надо доносить начальству, и теперь вы никак не можете избавиться от этой привычки... Хорошо, если желаете, поцелуйте мне ручку, только молчите; завтра утром вы будете прислуживать в церкви, поняли? В здешней церкви еще никогда не было такого красивого седовласого и представительного служки... Неужели

ты не понимаешь шуток? Оружие интересует меня просто так, по той же причине, по какой тебя интересует «сектор обстрела»; неужели ты еще не усвоил, что по неписаному закону каждый обитатель этого милого дома вправе иметь какую-нибудь причуду; тебе, в частности, дозволен заскок с «сектором обстрела»; не бойся, все здесь совершенно секретно... «Сектор обстрела»... вспомни, ведь ты получил хорошее воспитание. «С Гинденбургом вперед! Ура!» Видишь, это тебе понравилось, с тобой всегда следует выбирать надлежащие выражения, теперь свернем и пройдем мимо часовни, а может, ты хочешь войти внутрь и осмотреть арену своей будущей деятельности? Успокойся, генерал, смотри, ты еще не забыл, как входить в церковь, сними шляпу, опусти пальцы правой руки в чашу со святой водой, перекрестись, ну вот, молодец, преклони колена и, глядя на неугасимую лампаду, повторяй слова молитвы: «Ave Maria» или «Отче наш»; тихонько, нет ничего более прочного, чем католическое воспитание; пора вставать, опускай опять пальцы в чашу со святой водой, крестись, уступи даме дорогу, надень шляпу, вот и хорошо; мы опять на улице, какой теплый вечер и какие чудесные деревья растут в этом чудесном парке, а вот и скамейка. «С Гинденбургом вперед! Ура!» Тебе это по душе, да? А как тебе нравится такая фраза: «Хочу ру-

жье, хочу ружье», это тебе тоже по душе, не так ли? Брось шутить; собственно говоря, после Вердена с такого рода шутками было раз и навсегда покончено; под Верденом погибли последние кавалеры... кавалеров погибло слишком много, слишком много любовников погибло за один раз. За какие-нибудь два-три месяца было уничтожено ужасно много хорошо воспитанных молодых людей; ты не пробовал подсчитать, сколько учительского пота было пролито напрасно; неужели вам никогда не приходила в голову мысль поставить пулемет в вестибюле ремесленной или торговой школы, в вестибюле гимназии и сразу же после выпускных экзаменов направить струю огня из этого пулемета прямо в сияющие лица юношей, только что окончивших курс? Ты считаешь, это преувеличение? Ну, тогда разреши сказать тебе, что и в действительности многое очень часто кажется преувеличением; с выпускниками тысяча девятьсот пятого, тысяча девятьсот шестого и тысяча девятьсот седьмого годов я сама танцевала; я ходила на пирушки с этими молодцами в фуражках, с этими будущими выпивохами, а потом больше половины всех трех выпусков погибло под Верденом. А как по-твоему, сколько осталось в живых юношей, окончивших школу в тысяча девятьсот тридцать пятом году, в тридцать шестом, в тридцать седьмом, в сорок первом или

в сорок втором годах? Какой бы из этих выпусков ты ни взял — результат будет один и тот же; и, пожалуйста, уйми свою дрожь. Я никак не могла предположить, что старые генералы такой трусливый народ. Хорошо, возьми меня за руки. Как меня зовут? Запомни, здесь не спрашивают о таких вещах, здесь не приняты визитные карточки и не пьют на брудершафт, здесь переходят на «ты» без разрешения, здесь помнят, что все люди братья, даже если они враги. Часть из них, старик, — очень небольшая — приняла «причастие агнца», остальные приняли «причастие буйвола». Меня зовут «Хочу ружье», а моя фамилия «С Гинденбургом вперед! Ура!»; откажись полностью от всех твоих мещанских предрассудков и от представлений о приличиях, здесь у нас нет классов. И не жалуйся на проигранную войну. О боже, неужели вы действительно проиграли войну, уже две войны, одну за другой? Таким молодчикам, как ты, я желаю проиграть семь войн подряд. Ну а теперь довольно хныкать, мне наплевать, сколько войн ты проиграл. Надо оплакивать погибших детей, а не проигранные войны... Теперь ты будешь прислуживать в церкви, в церкви нашей денклингенской лечебницы — это в высшей степени почетное занятие; только не говори ничего о немецком будущем; я сама читала в газете, что немецкое будущее полностью обеспечено.

А если ты обязательно хочешь поплакать, то не плачь по крайней мере так жалобно. Они поступили с тобой несправедливо? Затронули твою честь? Ты считаешь, что честь поругана, если первый встречный чужеземец может тебя задеть? Ведь правда? Радуйся, в нашем богоугодном заведении тебе будет хорошо, здесь прислушиваются к малейшему стону, здесь считаются с любыми «комплексами»; все дело только в деньгах; если ты беден, тебя ждут побои и смирительная рубашка, зато здесь потакают каждой твоей слабости, тебе разрешат даже выйти погулять и выпить кружку пива в Денклингене; попробуй крикни: «Сектор обстрела! Обеспечьте мне сектор обстрела для третьей армии!» — и сразу же кто-нибудь отзовется: «Слушаюсь, господин генерал»; время воспринимается здесь не в целом, а по частям, оно никогда не становится историей, понимаешь? Я охотно верю, что ты уже видел мои глаза. Ты говоришь, что мои глаза были у человека с красным шрамом на переносице? Я верю тебе, но здесь запрещены воспоминания и догадки, здесь живут только сегодняшним днем: сегодня был Верден, сегодня умер Генрих, сегодня погиб Отто, сегодня тридцать первое мая тысяча девятьсот сорок второго года, сегодня Генрих шепнул мне на ухо: «С Гинденбургом вперед! Ура!»; ты его знал, пожимал ему руку, вернее, это он пожимал тебе

руку? Хорошо, ну а теперь давай займемся делом, я до сих пор помню, какую молитву было труднее всего выучить служкам; я учила ее со своим сыном Отто и спрашивала эту молитву у него: «*Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui*», а теперь идет самое трудное, старик, «*ad utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiae sua sanctae*»*, повторяй за мной, да нет же, «*ad utilitatem*»**, а не «*utilatem*», эту ошибку делают все... если хочешь, я запишу молитву на бумажке, а не то можешь учить ее по своему молитвеннику, ну а теперь до свидания, пора ужинать, «Сектор обстрела», угощайся на здоровье...

Она прошла мимо часовни по широким темным дорожкам назад к теплицам; одни лишь стены были свидетелями того, как она отперла ключом дверь, тихо проскользнула между цветочными горшками и грядками, от которых тянуло сыростью, и вбежала в контору старшего садовника; она взяла со стола пистолет и опустила его в свою мягкую черную сумочку; кожаное нутро поглотило пистолет; замок легонько щелкнул; с улыбкой поглаживая пустые цветочные горшки, она покинула

* «Да примет Господь жертву из рук твоих для хвалы и во славу имени своего и также для пользы нашей и всей святой церкви своей» (*лат.*).

** Для пользы (*лат.*).

теплицу и снова заперла дверь; одни только темные стены были свидетелями того, как она вынимала ключ из замочной скважины и медленно шла по широким темным дорожкам обратно к дому.

Хупертс подал ужин ей в комнату — чай, хлеб, масло, сыр и ветчину; улыбнувшись, он взглянул на нее и сказал:

— Вы выглядите просто великолепно, сударыня.

Она положила сумочку на комод, сняла шляпку со своей темноволосой головы, а потом с улыбкой произнесла:

— Скажите, нельзя ли попросить садовника принести мне немного цветов?

— Садовника теперь не найдешь, — ответил Хупертс, — у него выходной, он не появится до завтрашнего вечера.

— А больше никому не разрешается входить в теплицу?

— Никому, сударыня, наш садовник на этот счет очень строг.

— Значит, придется ждать до завтрашнего вечера, а может, я сама куплю цветы в Денклингене или в Додрингене.

— Вы собираетесь пойти погулять?

— Да, возможно. Сегодня такой прекрасный вечер, мне ведь разрешено выходить, не правда ли?

— Конечно, конечно... Вам разрешено... Но может, все-таки позвонить господину советнику или господину доктору?

— Я сама им позвоню, Хупертс. Пожалуйста, дайте мне городской телефон, только надолго, прошу вас... Хорошо?

— Ну разумеется, сударыня.

Когда Хупертс ушел, она открыла окно и бросила ключ от конторы садовника в яму с компостом, потом снова закрыла окно, налила в чашку чай и молоко, села и придвинула к себе телефонный аппарат.

— Итак, начнем! — тихо сказала она, пытаясь левой рукой унять дрожь в правой руке, протянутой к телефонной трубке. — Начнем! — повторила она. — Спрятав в сумочке смерть, я готова вернуться к жизни. Никто так и не догадался, что одно прикосновение к холодному металлу излечит меня; они слишком буквально понимали мои слова про ружье, мне вовсе не нужно ружье, достаточно пистолета, начнем, начнем... Скажите мне, который час? Начнем. Бархатный голос в трубке, скажи мне, остался ли ты таким же и можно ли тебя услышать, набрав тот же номер?

Левой рукой она сняла трубку и услышала гудки телефонной станции.

Стоило Хупертсу нажать кнопку, соединив меня с городом, как время, мир, действитель-

ность, немецкое будущее оказались тут как тут; я сгораю от любопытства, как все это будет выглядеть в тот момент, когда я выйду из заколдованного замка.

Правой рукой она набрала номер — три единицы — и услышала бархатный голос, который произнес:

— Первый сигнал будет дан ровно в семнадцать часов пятьдесят восемь минут и тридцать секунд по местному времени. — Напряженная тишина, сигнал, и тот же бархатный голос сказал: — Семнадцать часов пятьдесят восемь минут и сорок секунд. — Время набегало, заливая смертельной бледностью ее лицо, а голос продолжал вещать: — Семнадцать часов пятьдесят девять минут и десять секунд... и двадцать секунд... и тридцать секунд... и сорок секунд... и пятьдесят секунд. — Снова раздался резкий сигнал, и бархатный голос проговорил: — Восемнадцать часов, шестого сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года.

...Генриху исполнилось бы сорок восемь лет, Иоганне сорок девять, а Отто сорок один; Йозефу сейчас двадцать два года, Рут девятнадцать...

Голос в трубке продолжал говорить:

— Восемнадцать часов одна минута...

Осторожно! Иначе я действительно сойду с ума, игра пойдет всерьез, я вновь вернусь

к сегодняшнему дню, на этот раз навеки, я не сумею найти лазейку, буду тщетно бегать вокруг высоких стен в поисках выхода; время предъявляет мне свою визитную карточку, словно вызов на дуэль, но его нельзя принять. Сейчас шестое сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, восемнадцать часов одна минута и сорок секунд; кулак возмездия разбил мне зеркальце, у меня осталось всего лишь два осколка, в них я увидела свое лицо, покрытое смертельной бледностью; да, я слышала, как несколько часов подряд грохотали взрывы, слышала, как люди возмущенно шептали: «Они взорвали наше аббатство»; эту страшную новость, которую я не нахожу такой уж страшной, передавали из уст в уста сторожа и привратники, садовники и булочники.

«Сектор обстрела»... Красный шрам на переносице... синие глаза... кто же это был? Неужели он? Кто он? Я бы взорвала все аббатства на свете, если бы мне удалось вернуть Генриха или воскресить из мертвых Иоганну, Ферди, кельнера по фамилии Гроль и Эдит или хотя бы понять, кем был Отто? Он погиб под Киевом; это звучит глупо, хотя и отдает историей; хватит играть в жмурки, старик, я не стану больше завязывать тебе глаза; сегодня тебе стукнет восемьдесят, а мне уже семьдесят один; на расстоянии десяти — двенадцати ме-

тров не так трудно попасть в цель; недели и дни, часы и минуты, хлыньте на меня. Сколько сейчас секунд?

— Восемнадцать часов две минуты и двадцать секунд...

Я покидаю свой бумажный кораблик, чтобы броситься открытой океан; как я бледна, переживу ли я все это?

— Восемнадцать часов две минуты и тридцать секунд...

Эти слова подгоняют меня; начнем, мне надо спешить, я не хочу больше терять ни секунды, скорее.

— Барышня, барышня, почему вы мне не отвечаете? Барышня, барышня... я хочу заказать такси, немедленно, очень спешно, помогите же мне. — Ах да, ведь магнитофонная лента не отвечает, это мне следовало бы помнить; надо повесить трубку, снова снять ее и набрать номер: один-один-два. Неужели такси заказывают по тому же номеру, что и прежде?

— В денклингенском кинотеатре вы увидите, — произнес бархатный голос, — также отечественный фильм «Братья с хутора на болоте», начало сеансов в восемнадцать часов и в двадцать часов пятнадцать минут... в додрингенском кинотеатре идет боевик «Любовь способна на все».

Тише, тише, моя утлая лодочка погибла, но я умею плавать, я научилась плавать в Блю-

хербаде в тысяча девятьсот пятом году, у меня был тогда черный купальный костюм с оборками и юбочкой, мы прыгали головой вниз с трамплина высотой в метр; надо взять себя в руки и перевести дух, ведь я умею плавать... интересно, что сообщат мне, когда я наберу один-один-три, а ну, бархатный голос, ответь.

— ...Если вечером к вам придут гости, вы можете предложить им, следуя нашим советам, вкусный и в то же время недорогой ужин; на первое подайте тартинки, запеченные с сыром и ветчиной, на второе горошек со сметаной и к нему мягкий картофельный пудинг, потом шницель, прямо с гриля...

— Барышня, барышня!.. — Да, я знаю, магнитофонные ленты не отвечают.

— ...и ваши гости скажут, что вы прекрасная хозяйка.

Сейчас я нажму на рычаг и наберу один-один-четыре... Снова слышится бархатный голос:

— ...итак, вы уложили все необходимое для ночевки в кемпинге и приготовили себе еду для пикника; если вы решили поставить машину на крутом склоне, не забудьте о ручном тормозе. Желаем вам приятного воскресенья в кругу семьи.

У меня ничего не выйдет, слишком много мне придется наверстывать; мое лицо становится все бледнее и бледнее; когда-то оно ока-

менело, а теперь размякло, и по нему текут слезы. Предательское время, словно комок лжи, застряло во мне; зеркальце, зеркальце, осколок зеркальца, ответь, неужто мои волосы и впрямь поседели в камере пыток, где отовсюду раздаются бархатные голоса; я набираю один-один-пять, и заспанный голос отвечает мне:

— Телефонный узел Денклинген.

— Вы меня слышите, барышня? Вы меня слышите?

— Да, слышу.

Я громко смеюсь.

— Мне надо срочно связаться с конторой архитектора Фемеля, Модестгассе, семь, или Модестгассе, восемь, оба номера можно разыскать под фамилией Фемель, душенька. Вы не обидитесь, если я буду называть вас «душенька»?..

— Да нет, конечно, нет, сударыня.

— Я очень тороплюсь.

Послышался шелест переворачиваемых страниц.

— Я нашла телефон господина Генриха Фемеля и телефон господина доктора Роберта Фемеля. С кем бы вы хотели поговорить, сударыня?

— С Генрихом Фемелем.

— Хорошо, не вешайте трубку.

Неужели телефон по-прежнему стоит у него на подоконнике, так что, разговаривая,

он выглядывает на улицу и видит дом по Модестгассе, восемь, где его дети играли когда-то в садике на крыше, или лавку Греца, где у дверей всегда висела кабанья туша? Неужели там действительно раздался сейчас телефонный звонок?

Гудки доносились откуда-то очень издалека, и ей казалось, что паузы между ними длятся вечность.

— К сожалению, сударыня, никто не подходит к телефону.

— Тогда, пожалуйста, соедините меня с другим номером.

— Хорошо, сударыня.

Напрасно, все напрасно. Номер не отвечает.

— В таком случае вызовите мне, пожалуйста, такси, душенька, хорошо?

— С удовольствием. Куда?

— В денклингенскую лечебницу.

— Сейчас, сударыня.

— Да, Хупертс, можете унести чай, хлеб и закуску. И, пожалуйста, оставьте меня одну: когда такси въедет в аллею, я сама его увижу; нет, спасибо, мне больше ничего не надо. Вы ведь не магнитофонная лента, правда? Ах, я вовсе не хотела вас обидеть, я просто пошутила... Спасибо...

Ей было холодно; казалось, ее лицо съеживается и становится все меньше и меньше; она увидела в оконном стекле это усталое стару-

шечье лицо, изборожденное морщинами. Не надо плакать; неужели время действительно вплело серебряные нити в мои черные волосы? Я умею плавать, но я не предполагала, что вода такая холодная; бархатные голоса терзают меня, возвращая к действительности; я стала старушкой с белой головой; мой гнев хотят обратить в мудрость, мечты о мести — в жажду всепрощения; они собираются засахарить мою ненависть, перемешав ее с мудростью, но мои старые пальцы крепко вцепились в сумочку; в ней золото, которое я принесу с собой из заколдованного замка, в ней выкуп за меня.

Любимый, забери меня отсюда, я возвращаюсь домой. Там я превращусь в седую и добрую старушку, снова буду тебе женой, снова стану хорошей матерью и заботливой бабушкой, которую можно расхваливать всем друзьям... «Да, наша бабушка долгие годы была больна, но теперь выздоровела и даже принесла с собой целую сумку золота...»

Что мы закажем сегодня вечером в кафе «Кронер»? Тартинки, запеченные с сыром и ветчиной, горошек со сметаной и шницель... Будем ли мы кричать: «Осанна невесте Давидовой, она вернулась домой из заколдованного замка»? Я знаю, этот матереубийца Грец принесет нам свои поздравления, голос крови так и не заговорил в нем, не заговорил он и в Отто; я выстрелю, когда учитель гимнастики

будет ехать мимо нашего дома верхом на белой лошади. От беседки до улицы не больше десяти метров, по диагонали будет метров тринадцать; я попрошу Роберта, чтобы он вычислил все точно; во всяком случае, попасть в цель будет нетрудно; мне объяснил все это «Сектор обстрела»; такие вещи наш седой служака должен знать; завтра утром он вступит в свою новую должность, сумеет ли он запомнить, что надо произносить не «utilatem», а «utilitatem»? Красный шрам на переносице... Значит, он все же стал капитаном? Как долго длилась война; каждый раз, когда в аббатстве раздавался очередной взрыв, стекла начинали дребезжать, а утром на подоконнике лежал толстый слой пыли; я написала пальцем на пыли: «Эдит, Эдит»; даже голос крови не мог бы заставить меня любить Эдит больше, чем я ее любила; откуда ты явилась к нам, скажи, Эдит?

Я съезживаюсь все больше и больше; ты сумеешь перенести меня на руках от такси к кафе «Кронер»; я поспею как раз вовремя; сейчас самое большее восемнадцать часов шесть минут и тридцать секунд; на этот раз черный кулак возмездия — пистолет — раздавил тюбик губной помады, мои дряхлые кости дрожат; мне страшно, я не знаю, как выглядят теперь мои современники; я не знаю, остались ли они такими, как прежде. Ну а как обстоит дело с золотой свадьбой, старик? Мы

поженились в сентябре тысяча девятьсот восьмого года, тринадцатого сентября; ты уже забыл эту дату? Как ты собираешься справлять нашу золотую свадьбу? Седовласый юбиляр и седовласая юбилярша, а вокруг них целая толпа внуков и внучек; прости меня за то, что я смеюсь, мой Давид, но из тебя не вышло Авраама, зато в себе я ощущаю что-то похожее на смех Сары, чуть-чуть похожее — на большее я не способна; из заколдованного замка я принесла с собой не только сумочку, полную золота, но и ореховую скорлупку смеха; пусть она мала, зато в моем смехе заключена гигантская энергия, куда более действенная, чем динамит Роберта...

Вы очень торжественно шествуете по аллее к лечебнице, чересчур торжественно и чересчур медленно; сын Эдит возглавляет процессию, но кто идет с ним рядом? Эта девушка не Рут; когда я ушла из дому, Рут было три года, и все-таки я сразу узнаю ее, хотя ей минуло уже восемнадцать лет; нет, это не Рут; жесты у людей не меняются; в ядре ореха уже заключено будущее дерево; как часто я наблюдала когда-то жест Рут, откидывавшей рукой волосы со лба, — это был жест моей матери. Где же Рут? Пусть она меня простит. Эта незнакомая девушка очень красива; теперь я поняла: из ее лона выйдут твои правнуки, старик; ты думаешь, их будет семью семь? Прости, что

я смеюсь; у вас поступь герольдов, слишком медленная и слишком торжественная; может, вы хотите забрать с собой юбиляршу, чтобы отпраздновать ее золотую свадьбу?

Юбилярша готова, она сморщилась, как старое-престарое яблоко; можешь отнести меня на руках в такси, старик, только побыстрее; больше я не хочу терять ни секунды; ну вот, такси уже здесь; видите, как хорошо я умею все организовывать, этому я научилась, будучи женой архитектора; пропустите такси, а сами выстройтесь по обеим сторонам дороги: справа пусть станет Роберт и красивая незнакомая девушка, а слева старик с внуком; Роберт, Роберт, может быть, для тебя настала пора опереться на чье-нибудь плечо, может быть, ты нуждаешься в помощи, в поддержке? Входи, входи, старик, принеси нам счастье. Давайте праздновать, давайте веселиться. Наше время пришло!

12

Встревоженный портье посмотрел на часы — было уже больше шести, а Йохен так и не явился сменить его; постоялец из одиннадцатого номера спал вот уже двадцать один час подряд, повесив на дверную ручку трафарет «Просьба не беспокоить»; правда, до сих пор

тишина за этой дверью еще никому не показалась подозрительной, не слышалось зловещего шепота постояльцев и ни одна из горничных не вскрикнула. Настало время ужина... Темные костюмы... светлые платья... повсюду серебро, горящие свечи и музыка; когда подавали салат из омаров, играли Моцарта, когда приносили мясные блюда, играли Вагнера, а когда гости принимались за десерт — играли джаз.

В воздухе пахло бедой; портье испуганно взглянул на часы, секундная стрелка, казалось, нарочито медленно приближалась к роковой точке; когда она до нее дойдет, беда грянет, станет явной; без конца звонил телефон: «Ужин в двенадцатый номер», «Ужин в двести восемнадцатый номер», «Шампанское в четырнадцатый номер». Неверные жены и неверные мужья требовали соответствующих стимуляторов; пятеро бездельников, слоняющихся по свету, сидели в холле, поджидая автобус на аэродром — они отлетали ночным рейсом.

— Да, сударыни, первая улица налево, вторая направо, третья налево, *древнеримские детские гробницы* вечером освещены, фотографировать разрешается.

Бабушка Блезик, забившись в дальний угол, пила портвейн; в конце концов она все же поймала Гуго, сейчас он читал ей местную газету:

— «Вора-карманника постигла неудача. Вчера в Эренфельдгюртеле неизвестный молодой человек пытался вырвать сумочку из рук пожилой женщины. Однако храброй старушке удалось...» «Государственный секретарь Даллес...»

— Ну это уж пошла ерунда, совершеннейшая ерунда, — сказала бабушка Блезик, — я не хочу слушать ни о политике, ни о международных делах, меня интересуют только местные новости.

И Гуго продолжал читать:

— «...Бургомистр чествует заслуженного мастера бокса...»

Время тянулось издевательски медленно, словно нарочно отодвигало момент, когда грянет беда; тихонько звенели бокалы, кельнеры ставили серебряные подносы, изысканно и мелодично постукивали фарфоровые тарелки, переносимые с места на место; в дверях стоял водитель автобуса авиакомпании; указывая на часы, он жестами поторапливал отъезжающих постояльцев; дверь почти бесшумно, плавно и мягко входила в пазы, обитые войлоком, портье нервно поглядывал в свои записи: «Оставить номер окнами на улицу с 18.30 для господина М.; оставить двойной номер с 18.30 для тайного советника Фемеля с супругой, обязательно окнами на улицу»; «в 19.00 вывести на прогулку собачку Кесси из номера 114».

Только что этой паршивой собачонке понесли яйца, приготовленные на особый манер — твердый желток и мягкий белок, и сильно поджаренные ломтики колбасы; разумеется, мерзкое животное начнет привередничать, отказываясь от еды; господин из одиннадцатого номера спит вот уже двадцать один час и восемнадцать минут.

— Да, сударыня, фейерверк начнется через полчаса после захода солнца, то есть около девятнадцати часов тридцати минут, начало парада около девятнадцати часов пятнадцати минут; к сожалению, я не могу сказать вам, будет ли господин министр присутствовать на нем.

Гуго продолжал читать, весело, словно школьник, отпущенный с уроков:

— «...отцы города вручили заслуженному мастеру бокса диплом почетного гражданина, а также специальную золотую медаль, которая дается только за особые заслуги в области культуры. В заключение чествования состоялся банкет».

Бездельники, слоняющиеся по свету, наконец-то убрались из холла.

— Да, господа, банкет левой оппозиции в синем зале... нет, нет, господа, правая оппозиция — в желтом зале: дорогу указывают стрелки.

Бог его знает, кто из них левый, а кто правый, по лицу этого не определишь, в таких вещах Йохен разбирается лучше, политиков он

видит насквозь, здесь его никогда не подводит инстинкт; Йохен узнаёт настоящего аристократа, даже если тот явится в рубище, и разглядит голодранца, даже если тот напялит на себя самое роскошное одеяние; Йохен отличил бы левых от правых, хотя в них все, вплоть до меню, одинаково; ах да, сегодня у нас состоится еще один банкет — наблюдательного совета общества «Все для общего блага».

— Пожалуйста, в красный зал, милостивый государь.

У всех у них совершенно одинаковые лица, и все они будут есть на закуску салат из омаров — и левые, и правые, и члены наблюдательного совета; когда подадут омаров, заиграют Моцарта, к мясному блюду, пока гости будут смаковать густые соусы, начнут играть Вагнера, а как только перейдут к десерту — джазовую музыку.

— Да, сударь, в красном зале.

Инстинкт никогда не подводит Йохена, если речь идет о политике и политиках, зато во всех остальных случаях он пасует. Когда овечья жрица появилась в отеле первый раз, Йохен сразу сказал: «Внимание! Это важная птица», а когда потом к нам пришла та маленькая бледная девушка с длинными лохмами, с одной сумочкой в руках и с блокнотом под мышкой, тот же Йохен прошептал: «Обыкновенная шлюха». «Нет, — возразил я, — она

делает это со всеми, но делает бесплатно, значит, она не шлюха», но Йохен стоял на своем. «Она делает это со всеми, — говорил он, — и за плату». Йохен оказался прав, но зато Йохен не чуёт приближения беды. В тот день, когда к нам приехала блондинка с сияющим лицом и тринадцатью чемоданами, я сказал ему, глядя, как она входит в лифт: «Давай поспорим, что мы никогда больше не увидим ее живой»; Йохен был совсем другого мнения: «Чепуха, просто она удрала на несколько дней от мужа». А кто оказался прав? Конечно, я. Блондинка приняла соответствующую дозу снотворного и повесила на двери трафарет «Просьба не беспокоить»; ее не беспокоили двадцать четыре часа, а потом по отелю поползли слухи: кто-то умер, кто-то умер в сто восемнадцатом номере. Веселенькая история, доложу я вам, когда часа в три дня в отель является полиция, а в пять часов выносят покойника. Лучше не придумаешь.

Фу, какая у него морда, прямо как у буйвола. Платяной шкаф с манерами дипломата, живой вес этак с центнер, походка как у таксы, а костюм чего стоит! Похоже, важная персона, которая нарочно держится в тени; спутники его подходят к конторке, оба они менее важные. Будьте добры, номер для господина М.

— Ах да, номер двести одиннадцать. Гуго, поди сюда, проводи господ наверх.

И в ту же минуту все трое — три центнера живого веса, облаченные в английское сукно, — бесшумно вознеслись на лифте вверх.

— Йохен, Йохен, о боже, где ты пропадал?

— Извини меня, — сказал Йохен, — тебе ведь известно, что я почти всегда бываю аккуратен; особенно если знаю, что тебя ждут жена и дети, поверь, я с удовольствием пришел бы вовремя, но когда дело идет о голубях, мое сердце разрывается между обязанностями друга и обязанностями голубятника; уж коли я выпустил шестерых голубей, мне хотелось бы заполучить всех шестерых обратно, сам понимаешь, но в срок прилетело только пятеро, шестой опоздал минут на десять и явился совершенно измученный, бедная птичка; иди домой; если ты еще надеешься захватить хорошие места, чтобы увидеть фейерверк, тебе пора отправляться; да, да, я понимаю: в синем зале — левые, в желтом — правые, а в красном — наблюдательный совет общества «Все для общего блага»; ну да, ведь сегодня суббота; правда, гораздо интереснее бывает, когда собираются филателисты или же пивные боссы, но ты не волнуйся, я уж как-нибудь справлюсь; я сдержу себя, несмотря на то что с удовольствием надавал бы по шее левой оппозиции и наплевал бы на правых, а заодно и на членов наблюдательного совета. И все же не волнуйся, я буду держать знамя нашего отеля

высоко и позабочусь о твоих кандидатах в самоубийцы... Хорошо, сударыня, я отправлю Гуго к вам в номер к девяти часам для игры в карты, хорошо... Господин М. уже прибыл? Не нравится мне этот господин М. Еще не видя его, я уже испытываю к нему антипатию... Хорошо, сударь, я пришлю в двести одиннадцатый номер шампанское и три сигары «Партагас эминентес». Вы узнаете их по запаху!.. Боже, кого я вижу! Весь род Фемелей в полном составе.

Милая девочка, что с тобой стало! Когда я встретил тебя впервые, мое сердце забилося сильнее, это было в тысяча девятьсот восьмом году на параде по случаю приезда кайзера. Конечно, я уже тогда знал, что такие, как ты, не про нашу честь; я принес твоим папочке и мамочке красное вино в номер. Дорогая моя детка, кто бы мог подумать, что со временем ты превратишься в такую вот старую бабушку, сморщенную, как печеное яблоко, с белыми волосами. Я легко поднял бы тебя одной рукой и отнес в номер, я бы так и поступил, если бы это было мне дозволено, но мне такие вещи не дозволяются; да, моя дорогая, жаль, что это так, ты и сейчас еще хороша.

— Господин тайный советник, мы оставили вам и вашей супруге, то есть, прошу прощения, вашей супруге и вам, двести двенадцатый номер. Багаж еще на вокзале? Нет? Прикажете

что-нибудь доставить из вашей квартиры? Не надо? Ах так! Вы пробудете у нас всего часа два, посмотрите фейерверк и парад «Кампфбунда»? Разумеется, в этом номере поместятся шесть человек, балкон большой. Если хотите, мы можем сдвинуть кровати. Не нужно? Гуго, Гуго, проводи господина Фемеля в двести двенадцатый номер и захвати с собой карточку вин. Когда придут молодые люди, я укажу им вашу комнату; разумеется, господин доктор Фемель, бильярдная забронирована за вами и за господином Шреллой, на это время я освобожу Гуго. Да, Гуго — славный мальчик, сегодня он полдня висел на телефоне, пытался связаться с вами; я думаю, он на всю жизнь запомнил ваш номер и номер пансиона «Модерн». В честь чего состоится парад «Кампфбунда»? В честь дня рождения какого-то маршала, по-моему, он слывет героем Хузенвальда; во всяком случае, мы услышим прекраснейшую песню «Отечество, трещат твои устои». Ну и пусть их трещат, господин доктор. Что вы говорите? Всегда трещали? Разрешите мне высказать свое сугубо личное мнение по политическому вопросу: так вот, будьте осторожны, если они снова затрещат. Будьте осторожны!

— Я уже однажды стояла здесь и смотрела, как ты маршируешь, — тихо проговорила

она. — Это было в день парада в честь кайзера в январе тысяча девятьсот восьмого года, погода была великолепная, мороз трескучий — так, кажется, говорят стихотворцы; я дрожала, боялась, что ты не выдержишь последнего и самого трудного из всех испытаний — испытания военным мундиром; генерал с соседнего балкона чокался с папой, мамой и со мной; да, старик, в тот день ты выдержал испытание. Почему ты смотришь на меня выжидающе? Вот именно — выжидающе. Так ты на меня еще никогда не смотрел. Положи голову ко мне на колени, закури сигару; извини, что я дрожу; мне страшно; неужели ты не видел лицо того мальчика? Он ведь мог быть братом Эдит. Мне страшно, ты должен это понять, я все еще не могу вернуться в свою квартиру, наверное, не смогу никогда этого сделать, не смогу вступить в тот же старый заколдованный круг; мне страшно, гораздо страшнее, чем прежде; вы, очевидно, привыкли к окружающим вас лицам, но я уже начинаю тосковать по моим безобидным сумасшедшим, которые остались в лечебнице. Неужели вы все ослепли? Почему вы так легко дали себя обмануть? Они убьют вас даже не за движение руки, а просто так, ни за понюшку табаку. Пусть у вас будут темные или светлые волосы, пусть вам выдадут свидетельство о том, что ваша прабабушка крестилась, они все равно убьют

вас, если им не понравится ваше лицо. Разве ты не видел, какие плакаты они расклеили на стенах? Неужели вы все ослепли? Скажи мне, где я? Поверь, мой дорогой, все они приняли «причастие буйвола»; каждый из них глуп как пень, глух как тетерев, а с виду так же безобразен, как тот сумасшедший — последнее воплощение буйвола; и притом все они так приличны, так приличны; мне страшно, старик; даже в тысяча девятьсот тридцать пятом году, даже в тысяча девятьсот сорок втором я не чувствовала себя такой одинокой; конечно, мне потребуется время, чтобы привыкнуть к людям, но к этим людям я никогда не привыкну, даже за несколько столетий. Прилично, прилично. На их лицах нет ни тени грусти, что это за люди, которые не знают грусти? Налей мне еще рюмку вина и не смотри так подозрительно на мою сумочку; все вы знакомы с медициной, но лекарство мне пришлось выписать себе самой; у тебя чистое сердце, ты не можешь себе представить, сколько зла в мире; сегодня я потребую от тебя новую большую жертву — отмени праздник в кафе «Кронер», разрушь легенду о себе; вместо того чтобы просить внуков плюнуть на твой памятник, сделай так, чтобы тебе вообще не ставили памятника; тебе ведь никогда не нравился сыр с перцем; пускай за праздничный стол сядут кельнеры и

судомойки. Пусть они съедят праздничное угощение; давай останемся на этом балконе, будем наслаждаться летним вечером в кругу семьи, пить вино, любоваться фейерверком и глядеть, как маршируют эти «кампфбундовцы». Кстати, с кем они собираются воевать? Можно мне позвонить в кафе «Кронер» и отменить праздник?

У портала Святого Северина толпились участники парада в синей форме; они стояли группами, покуривая сигареты; над их головами развевались флаги — на сине-красном фоне большая черная буква «К» — духовой оркестр уже репетировал песню «Отечество, трещат твои устои», на балконах тихо позвякивали бокалы, ведерки со льдом издавали металлический звон, пробки от шампанского выстреливали прямо в темно-синее вечернее небо. Но вот часы на Святом Северине пробили три четверти седьмого; трое господ в темных костюмах из двести одиннадцатого номера вышли на балкон.

— Вы действительно думаете, что они будут нам полезны? — спросил М.

— Уверен, — бросил первый спутник.

— Без сомнения, — согласился второй.

— Боюсь только, что, выразив симпатию этим «кампфбундовцам», мы потеряем больше голосов, чем приобретем, — сказал господин М.

— «Кампфбунд» не считается столь уж экстремистским, — возразил первый спутник.

— Вы ничего не потеряете, вы можете только выиграть, — подтвердил второй.

— Сколько это примерно даст нам избирателей при оптимальном варианте и сколько при минимальном?

— При оптимальном варианте тысяч восемьдесят, а в худшем случае — тысяч пятьдесят. Так что решайте.

— Пока я еще ничего не знаю, — сказал М., — жду указаний от К. Как вы полагаете, газетчики ничего не пронюхали?

— Нет, господин М., — сказал первый спутник.

— А персонал отеля?

— Они умеют хранить тайны, господин М., — сказал другой. — Но господин К. должен поскорее дать соответствующие указания.

— Мне лично эти парни не нравятся, — сказал господин М., — они еще во что-то верят.

— Для нас это восемьдесят тысяч голосов. Пусть себе верят во что хотят, господин М., — возразил первый спутник.

Собеседники засмеялись, послышался звон бокалов. Вдруг раздался телефонный звонок.

— Да, у телефона М. Я вас правильно понял? Выразить им свою симпатию? Слушаюсь... Господин К. решил в положительном

смысле, давайте вынесем на балкон стол и стулья.

— А что подумают за границей?

— Безразлично. Они во всех случаях думают неправильно.

Собеседники снова засмеялись. Послышался звон бокалов.

— Я спущусь вниз и скажу организатору шествия, чтобы он обратил внимание на наш балкон, — сказал первый спутник.

— Нет, нет, — возразил старик, — я не хочу класть голову к тебе на колени, не хочу смотреть на синее небо; ты сказала в кафе «Кронер», чтобы они прислали к нам Леонору? Леонора огорчится. Ты ведь не знакома с Леонорой? Это секретарша Роберта, очень милая девушка, не надо лишать ее удовольствия, у меня вовсе не такое уж чистое сердце, и я хорошо знаю, сколько зла в мире; я чувствую себя одиноким, еще более одиноким, чем чувствовал себя в «Якоре» в Верхней гавани, когда мы приносили деньги кельнеру по фамилии Гроль; смотри, они уже строятся для парада, какой теплый летний вечер, смеркается, их смех слышен даже на балконе; помочь тебе, дорогая? Ты не заметила, что положила свою сумочку ко мне на колени, пока мы ехали в такси; сумочка очень тяжелая, но все же недостаточно тяжелая. Зачем тебе, собственно, понадобилась эта штука?

— Я хочу застрелить вон того толстяка, который гарцует на белой лошади. Видишь? Ты его еще помнишь?

— Неужели ты думаешь, что я могу забыть этого человека? Из-за него я разучился смеяться: сломалась скрытая пружинка в скрытом часовом механизме; по его приказу казнили белокурого мальчугана, он засадил за решетку отца Эдит, Гроля и мальчика, имя которого так и осталось неизвестным; из-за таких, как он, одно движение руки стоило человеку жизни; это он превратил Отто в того молодчика, каким он стал, в оболочку прежнего Отто... тем не менее я не стал бы убивать его.

Частенько я задавал себе вопрос: зачем я вообще приехал в этот город? Неужели только затем, чтобы разбогатеть? Нет, ты сама знаешь, что это не так. Может, я приехал, полюбив тебя? Тоже нет, ведь тогда я еще не знал, что ты существуешь, и, следовательно, не мог любить тебя. Быть может, меня гнало честолюбие? И этого не было. Мне кажется, я просто хотел посмеяться над людьми, сказать им под занавес: «Послушайте, я пошутил, вот и все». Мечтал ли я тогда о детях? Да, мечтал. И у меня были дети: двое умерли очень давно, одного убили на войне, того, что стал мне совсем чужим, гораздо более чужим, чем люди с флагами там, внизу. Ну а другой сын?.. «Как поживаешь, отец?» — «Хорошо, а ты?» —

«Тоже хорошо, спасибо, отец». — «Не требуется ли тебе помощь?» — «Нет, спасибо, у меня все в порядке...» Аббатство Святого Антония? Извини, дорогая, что я смеюсь. Все это прах и тлен. Аббатство не вызывает во мне никаких чувств, ни ложных, ни тем более настоящих. Налить тебе еще вина?

— Да, пожалуйста.

Я уповаю на пятьдесят первый параграф, дорогой мой, наши законы можно повернуть и туда, и сюда. Посмотри вниз. Ты видишь нашего старого приятеля Неттлингера? Он достаточно умен, чтобы пока еще не появляться в форме, и все же он тут как тут — пожимает руку кому надо, хлопает по плечу кого надо, щупает материю флагов; пожалуй, лучше убить этого Неттлингера, впрочем, я еще подумаю, быть может, мне вообще не следует стрелять в тот паноптикум на улице; будущий убийца моего внука сидит на соседнем балконе. Ты его видишь? Он в черном костюме и вполне приличен, вполне благопристойен; он думает не так, как они, и ведет себя иначе, у него другие планы, его не назовешь неучем, он свободно говорит по-французски и по-английски, знает латынь и греческий, он добрый христианин, он уже заложил на завтра свой календарь, он знает, что завтра пятнадцатое воскресенье после Троицына дня; «Какую благодарственную молитву следует читать?» — крикнул он се-

годня своей жене в спальню. Нет, я не стану убивать толстяка, который гарцует на белой лошади, не стану стрелять в паноптикум на улице; достаточно слегка повернуться, и моя мишень окажется в шести метрах от меня, на таком расстоянии легче всего попасть. В семьдесят с лишним лет люди уже больше ни на что не годны, кроме как на это. Зачем убивать тиранов? Надо убивать самых что ни на есть приличных господ. На пороге смерти наш сосед снова обретет способность удивляться. Дорогой мой, только не дрожи, я заплачу за себя выкуп; меня забавляет вся эта процедура — ровно дышать, прицеливаться, брать на мушку. Не затыкай себе уши, выстрел будет не таким уж громким, тебе покажется, что лопнул воздушный шарик; сегодня канун пятнадцатого воскресенья после Троицына дня.

13

Одна из девушек была блондинка, другая — шатенка, обе они были стройные, обе улыбались, обеим очень шел костюм из красновато-коричневого твида, у обеих белоснежный воротничок обрамлял точеную шейку, похожую на стебель цветка; обе они свободно говорили по-французски и по-английски, по-фламандски и по-датски, на всех этих языках

у них было великолепное произношение, так же хорошо они изъяснялись на своем родном немецком языке; то были красивые монахини, посвятившие себя несуществующему божеству; они знали даже латынь; их место было в служебном помещении, позади кассы, там они дожидались, пока экскурсанты разобьются на группы по двенадцать человек; тогда они затаптывали окурок сигареты острым каблучком туфли, привычным жестом подкрашивали губы, выходили за барьер и выясняли, сколько людей какой национальности им придется вести; улыбаясь, они без всякого акцента спрашивали экскурсантов, откуда те приехали и какой язык считают родным. Экскурсанты отвечали на вопросы поднятием пальца. В этой группе семь человек говорили по-английски, двое — по-фламандски, трое — по-немецки. Засим следовал еще один вопрос, задаваемый самым веселым тоном, — кто из экскурсантов изучал латынь? Одна только Рут нерешительно подняла палец. Больше никто? На красивом лице девушки мелькнуло сожаление: в этот раз судьба подарила ей слишком мало слушателей с гуманитарным образованием; только одна из всей экскурсии сумеет оценить ту ритмическую ясность, с какой девушка отчеканивает латинскую надпись, читая надгробия. Опустив с улыбкой длинную указку и светя себе фонариком, девушка начала первой спускаться по

лестнице; запахло бетоном и известкой; потом пахнуло склепом, хотя легкое жужжание свидетельствовало о том, что подземелье оборудовано установкой для кондиционирования воздуха; с безукоризненным произношением девушка назвала по-английски, по-фламандски и по-немецки размеры каменных плит и ширину древнеримской улицы.

— Вот здесь лестница, сооруженная во втором веке, а здесь термы, построенные в четвертом веке; посмотрите туда, на этих плитах из песчаника стражники, нацарапав квадратики, играли от скуки в «мельницу» (именно в этом духе их инструктировали на курсах: «Не забывайте подчеркивать бытовые детали»). Вот здесь дети древних римлян играли в камешки, обратите, пожалуйста, внимание, на то, какие ровные зазоры были между плитами мостовой... а вот сточный желоб, по этому серому желобу стекала грязная вода во времена Древнего Рима, стекали древнеримские помои. Вот развалины маленького храма, который проконсул приказал построить лично для себя, — здесь он поклонялся богине Венере.

В неоновом свете она ясно различила ухмылки экскурсантов, ухмылки фламандские и английские. Странно только, что трое молодых немцев так и не ухмыльнулись.

— Почему дома стоят на таких высоких фундаментах? В те времена вся местность

была, видимо, заболочена, река катила свои зеленые воды по серому каменному ложу. Чу! Слышите проклятия германских рабов? По их золотистым бровям пот стекал прямо на белые лица, увлажнял светло-русые бороды; губы варваров произносили проклятья, которые звучали, как стихи: «Вотан взрастит возмездье мерзейшему племени римлян, горе им, горе им, горе...» Чутьочку терпения, уважаемые дамы и господа, осталось пройти всего несколько шагов, взгляните сюда — здесь мы видим развалины здания суда, а вот и цель нашего путешествия — древнеримские детские гробницы. («Теперь, — наставляли их на курсах, — вы молча проходите впереди всех и переживаете, пока люди поборют первое волнение, только после этого вы снова начинаете рассказывать; сколько времени должно длиться проникновенное молчание, вам может подсказать только ваша интуиция, разумеется, это зависит также от состава группы; ни в коем случае не допускайте дискуссии о самих римских детских гробницах, в ходе которой может выясниться, что у нас находятся не гробницы, а всего лишь надгробия, найденные, кстати сказать, вовсе не здесь».)

Могильные плиты стояли полукругом, вплотную к серой стене; после того как первое волнение стихало, пораженные экскурсанты поднимали взгляды к отверстию шахты; над

неоновыми лампами виднелось темно-синее вечернее небо, казалось даже, что вдали мерцает первая звездочка, а быть может, то был всего-навсего мягкий отсвет позолоченного или посеребренного шарика ограды, падавший сквозь круглый светлый колодец, составленный из трех венцов.

— Посмотрите туда, где начинается первый венец... видите белую поперечную черту на бетонной стене? Во времена древних римлян приблизительно на этой высоте находился уровень улицы, а теперь взгляните на второй венец... там вы тоже увидите белую черту на бетонной стене. Видите? Таков был уровень земли в Средние века. И наконец, третью белую черту я могу вам не показывать — на этом уровне пролегал улица в наши дни. Ну а теперь, уважаемые дамы и господа, мы перейдем к надписи.

Лицо девушки стало каменным, словно лицо богини; слегка согнув руку в локте, она подняла фонарик, похожий на обгоревший факел:

*Dura quidem frangit parvorum morte parentes
Conditio rapido praecipitata gradu
Spes aeterna tamen tribuet solacia luctus...*

Она улыбнулась Рут, единственной, кто мог понять язык подлинника, и чуть замет-

ным жестом поправила воротничок твидового жакета, потом немного опустила фонарик и с чувством продекламировала перевод:

Жестокий рок поражает родителей,
когда быстрая, быстротечная смерть уносит их дитя,
но в скорби о юном существе,
что вкушает райское ныне блаженство,
нам дарит утешение вечная Надежда.
Шести лет и десяти месяцев от роду был погребен
под этим могильным холмиком ты, Дезидератус.

Печаль семнадцативековой давности легла на лица экскурсантов, поразила их сердца; челюсти пожилого господина из Фландрии вдруг перестали двигаться, словно их парализовало, а подбородок обвис; господину пришлось быстро запихнуть языком жевательную резинку в самый дальний угол рта; Марианна расплакалась; Йозеф сжал ее локоть, Рут положила ей руку на плечо. Девушка-экскурсовод с тем же неподвижным лицом продолжала декламировать, теперь уже на английском языке:

Hard a fate meets with the parents...

Опасней всего был момент, когда экскурсанты выбирались из темных подземелий на свет, на свежий воздух, когда их снова окутывал теплый летний вечер; схоронив глубоко в

сердце древнюю скорбь, они томились, мечтая о древних любовных мистериях; туристы-одиночки сплевывали у окошка кассы жевательную резинку и на ломаном немецком языке пытались назначить свидание своему гиду — они приглашали ее потанцевать в отель «Принц Генрих», вместе погулять или вместе поужинать: «a lonelü feeling*, фройляйн»; и фройляйн вынуждена была держать себя совершенно недоступно, как весталка, — не позволять им ухаживать за собой и категорически отказываться от всех приглашений: «Прошу вас без рук, на меня разрешается только смотреть», «но, sîr, но, но»**, однако и ее выводило из равновесия их волнение, и она чувствовала дыхание древности; ей было жаль одиноких иностранцев, которым приходилось, покачав головой, нести свой любовный пыл туда, где еще царил культ Венеры и где жрицы любви, хорошо знакомые с обменным курсом, не смущаясь, назначали цену в долларах, в фунтах стерлингов, в гульденах, франках или в марках.

Кассир безостановочно отрывал билетки от рулона, можно было подумать, что узкая дверца — это вход в кино. Когда девушка-экскурсовод оказывалась наконец в служебном помещении, ей еле хватало времени на

* Чувство одиночества (англ.).

** Нет, сэръ, нет, нет (англ.).

то, чтобы проглотить кусочек хлеба с маслом и отхлебнуть из термоса; каждый раз ей предстояло решать трудноразрешимую задачу — приберечь ли окурок сигареты до следующего раза или же затоптать его острым каблучком; она делала последнюю затяжку, еще одну, самую последнюю, и в то же время извлекала левой рукой из сумочки тюбик губной помады, в эти минуты она решала назло самой себе нарушить монашеский обет, но тут кассир просовывал голову в дверь:

— Милочка, милочка, тебя ждут уже две партии, поторапливайся, древнеримские детские гробницы стали прямо-таки гвоздем сезона.

Улыбаясь, она снова подходила к барьеру, чтобы спросить экскурсантов, какой они национальности и какой язык считают родным; на этот раз четверо говорили по-английски, один по-французски и одна по-голландски; немцев оказалось целых шестеро; опустив длинную указку и светя себе фонариком, она спускалась по лестнице в подземелье, чтобы снова поведать о древнем культе любви и снова прочесть древние письма, проникнутые смертельной скорбью.

Проходя мимо длинной очереди у кассы, Марианна продолжала плакать: заметив ее слезы, немцы, англичане и голландцы скон-

фуженно отворачивались; они с недоумением спрашивали себя: какую мучительную тайну хранил склеп? Неужели это возможно, чтобы памятники старины доводили людей до слез? За шестьдесят пфеннигов здесь ощущают такое глубокое волнение, какое только изредка испытывают некоторые кинозрители после исключительно плохого или после исключительно хорошего фильма. Неужели камни и впрямь могут тронуть человека до слез? Ведь большинство, выходя из подземелья, хладнокровно засовывают в рот новую порцию жевательной резинки, жадно закуривают сигарету, снимают при вспышке магния очередной кадр, уже выискивая глазами новый объект для съемки — фронтон жилого дома пятнадцатого века как раз напротив входа в древнеримские детские гробницы; шелк... и вот с помощью химии фронтон уже увековечен на пленке...

— Потерпите, потерпите, господа, — прокричал кассир из своей будки, — вследствие исключительно большого наплыва публики мы решили пускать не по двенадцати экскурсантов, а сразу по пятнадцати, поэтому прошу еще трех человек из очереди подойти ко мне; вход шестьдесят пфеннигов, каталог — марка двадцать.

Пока Марианна проходила мимо очереди, которая выстроилась вдоль стены и тянулась

до самого угла улицы, на ее лице все еще блестя слезы; она улыбнулась Йозефу, с силой сжавшему ее локоть, а потом улыбнулась Рут в благодарность за то, что девушка положила ей руку на плечо.

— Нам надо поторапливаться, — сказала Рут, — уже без десяти семь, не следует заставлять их ждать.

— Мы дойдем за две минуты, — возразил Йозеф, — как раз вовремя; и здесь пахнет известкой... везде меня преследует этот запах... и запах бетона; между прочим, знаете ли вы, что гробницы были обнаружены исключительно благодаря страсти отца к взрывам; когда взрывали старую сторожевую башню, обрушился подвал и расчистил путь к этим древним черепкам; одним словом, да здравствует динамит... как тебе, кстати, понравился наш новый дядюшка, Рут? Заговорил ли в тебе голос крови, когда ты его увидела?

— Нет, — сказала Рут, — голос крови во мне не заговорил, но, по-моему, он славный, только немного суховатый и какой-то беспомощный... он будет жить у нас?

— Вероятно, — сказал Йозеф. — Мы тоже будем там жить, Марианна.

— Ты намерен переехать в город?

— Да, — сказал Йозеф, — я хочу изучать статику, чтобы работать потом в солидной фирме моего отца. Ты не возражаешь?

Они пересекли оживленную магистраль и свернули на сравнительно тихую улицу; Марианна остановилась у одной из витрин; отстранив Йозефа и высвободившись из объятий Рут, она вытерла слезы носовым платком; Рут в это время пригладила рукой свои волосы и одернула джемпер.

— Не знаю, достаточно ли мы элегантны, — сказала она, — мне бы не хотелось огорчать дедушку.

— Вы вполне достаточно элегантны, — успокоил ее Йозеф. — Одобряешь ли ты мой план, Марианна?

— Конечно, мне далеко не все равно, чем ты занимаешься, — сказала она, — но я верю, что изучать статику — это хорошо; весь вопрос в том, как ты намерен использовать свои знания.

— То есть строить или взрывать? Это я еще не решил, — ответил Йозеф.

— Динамит наверняка уже устарел, — сказала Рут, — я уверена, что сейчас существуют более совершенные средства. Помнишь, как радовался отец, когда ему еще разрешали взрывать? Собственно говоря, он стал таким строгим с тех пор, как ему нечего стало взрывать... Какое он произвел на тебя впечатление, Марианна? Он тебе понравился?

— Да, — ответила Марианна, — он мне очень понравился. Я думала, что он гораздо

хуже, более холодный человек; ваш отец внушал мне чуть ли не страх, но как раз бояться-то его совсем и не надо; не смейтесь, в его присутствии я чувствую себя в безопасности.

Йозеф и Рут и не думали смеяться; они отправились дальше, Марианна шла в середине; у входа в кафе «Кронер» они остановились; обе девушки еще раз поглядели на себя в зеркальное стекло двери, затянутой изнутри зеленым шелком, и еще раз пригладили волосы; потом Йозеф с улыбкой распахнул перед ними дверь.

— О боже, — сказала Рут, — я умираю с голоду; надеюсь, дедушка заказал что-нибудь стоящее.

Воздев руки, госпожа Кронер двинулась им навстречу, она шла по зеленой дорожке мимо столиков, накрытых зелеными скатертями; ее серебристые волосы растрепались; по выражению лица можно было понять, что стряслась какая-то беда; в водянистых глазах госпожи Кронер блестела влага, ее голос дрожал от неприятного волнения.

— Значит, вы еще ничего не знаете? — спросила она.

— Нет, — ответил Йозеф, — что случилось?

— Видимо, произошло что-то страшное, ваша бабушка отменила праздник... она позвонила всего несколько минут назад; вас ждут в «Принце Генрихе» в двести двенадцатом номе-

ре. Я не только встревожена до глубины души, но и очень разочарована, господин Фемель; если бы я не считала, что звонок вызван вескими причинами, я была бы, честно говоря, оскорблена; сами понимаете, что клиенту, который вот уже пятьдесят, вернее, свыше пятидесяти лет является постоянным посетителем нашего ресторана, мы приготовили сюрприз, настоящее произведение искусства... Впрочем, вы его сами увидите; и потом, что прикажете сказать представителям прессы и радио, которые появятся здесь около девяти часов, когда должно окончиться чествование в узком семейном кругу... Что я скажу им?

— Разве бабушка не сообщила вам никаких подробностей?

— Она сказала — недомогание... следует ли под этим подразумевать... хроническое... хроническое недомогание вашей бабушки?

— Мы ничего не знаем, — сказал Йозеф. — Не будете ли вы так добры переслать подарки и цветы в «Принц Генрих»?

— Да, конечно. Но я надеюсь, что уж вы-то по крайней мере посмотрите мой сюрприз.

Марианна толкнула Йозефа, Рут улыбнулась хозяйке; Йозеф сказал:

— С удовольствием, госпожа Кронер.

— Когда ваш дедушка приехал к нам в город, я была совсем юным существом, мне только что исполнилось четырнадцать лет, — нача-

ла госпожа Кронер, — тогда меня не пускали дальше кухни, зато потом я научилась сервировать стол; сами понимаете, сколько раз по утрам я приносила вашему дедушке завтрак, сколько раз я убирала рюмочку для яйца, пододвигала ему джем; наклоняясь, чтобы взять тарелку из-под сыра, я обязательно бросала взгляд на дедушкин блокнот; о боже, все мы живем жизнью своих клиентов; не надо считать нас, деловых людей, бесчувственными; не надо думать, что я могла забыть, как ваш дедушка вмиг стал знаменитым, получив такой грандиозный заказ; должно быть, клиенты полагают, что, когда они приходят в кафе, заказывают себе какое-нибудь блюдо, платят по счету и уходят, о них больше не думают; неужели они не понимают, что судьба, подобная судьбе вашего дедушки, накладывает свой отпечаток и на нас?..

— Ну конечно, — заверил ее Йозеф.

— Я знаю, о чем вы сейчас думаете — когда же старуха оставит нас в покое? И все же надеюсь, что я не требую от вас слишком многого, приглашая посмотреть на мой сюрприз и передать дедушке, что я буду очень рада, если он придет сюда и увидит все своими глазами... Снимки для газет уже сделаны.

Они медленно шли за госпожой Кронер по зеленой дорожке между столиками, покрытыми зелеными скатертями; госпожа Кронер оста-

новилась, и они тоже остановились, невольно встав у разных концов большого четырехугольного стола, на который был наброшен кусок полотна, полотно покрывало какой-то предмет со впадинами и выпуклостями.

— Как хорошо, что нас четверо, — обрадовалась госпожа Кронер, — прошу каждого из вас взяться за уголок полотнища и, когда я скажу «поднимаем», плавно поднять его кверху.

Марианна подтолкнула Рут к еще не занятому левому углу стола; потом трое молодых людей и госпожа Кронер взялись за концы полотнища, госпожа Кронер скомандовала «поднимаем», и полотнище поползло вверх; девушки двинулись навстречу друг к другу и соединили углы полотнища, а госпожа Кронер бережно сложила покрывало еще раз вдвое.

— Боже мой! — воскликнула Марианна. — Что я вижу, ведь это точная копия аббатства Святого Антония.

— Не правда ли? — сказала госпожа Кронер. — Посмотрите, мы ничего не забыли — даже мозаику над главным входом... а здесь тянутся виноградники.

В модели аббатства были соблюдены все пропорции. И не только это — краски также были совсем как в жизни: церковь была темная, хозяйственные постройки — светлые, крыша подворья для паломников — красная, окна трапезной — разноцветные.

— Все это, — сказала госпожа Кронер, — мы сделали не из постного сахара и не из марципана, а из теста; это настоящий именинный пирог в подарок господину Фемелю, и выпечен он из песочного теста наилучшего качества. Неужели же ваш дедушка не может зайти сюда, чтобы посмотреть на это сооружение, прежде чем мы отошлем его к нему в мастерскую?

— Он обязательно придет посмотреть на ваш подарок, — сказал Йозеф, — а теперь разрешите мне, от имени дедушки, поблагодарить вас; видимо, причины, побудившие его отменить сегодняшней праздник, были достаточно вескими, и вы должны понять...

— Да, я понимаю, что вам пора уходить... Нет, нет, пожалуйста, фройляйн, не кладите полотно обратно... к нам сейчас приедут с телевидения.

— Мне бы хотелось только одного, — сказал Йозеф, когда они проходили по площади Святого Северина, — посмеяться над всем этим или заплакать, но я не способен ни на то, ни на другое.

— Я бы скорее заплакала, — ответила Рут, — но я не стану плакать. Что случилось? Что это за люди с факелами? По какому случаю они подняли такой шум?

Улица бурлила, ржали лошади, цокая копытами по мостовой, повсюду слышались от-

рывистые окрики, напоминающие военную команду, музыканты настраивали духовые инструменты, издававшие нестройный рев, и вдруг сквозь этот шум и гам донесся не очень громкий, сухой, короткий звук, совершенно не похожий на все другие звуки.

— Боже мой, — сказала Марианна с испугом, что это такое?

— Выстрел, — сказал Йозеф.

Выйдя из городских ворот на Модестгассе, Леонора испугалась: на улице не было ни души; она не увидела ни подмастерьев, ни монахинь, ни грузовиков. Жизнь уже не была ключом, все вокруг опустело, только у лавки Греца виднелся белый халат госпожи Грец и мелькали ее розовые руки, гнавшие шваброй мыльную пену. Типография была заперта крепко-накрепко, словно в ней уже никогда не будут печатать ничего назидательного на белых листах бумаги; на ступеньках лавки Греца лежал кабан, широко раскинув копыта, с раной в боку, затянутой черной пленкой; его медленно втаскивали в лавку; лицо Греца побагровело, и из этого можно было заключить, как тяжела туша. Леонора трижды звонила по телефону — в дом номер семь, в дом номер восемь и в кафе «Кронер», но ответили только в кафе «Кронер».

— Вам срочно нужен господин доктор Фемель? У нас его нет... Праздник отменили. Это

говорит фройляйн Леонора? Вас просили зайти в отель «Принц Генрих».

Она сидела в ванне, когда раздался резкий звонок; шум, поднятый почтальоном, не предвещал ничего хорошего. Леонора вылезла из ванны, накинула халатик, замотала полотенцем мокрую голову, подошла к двери и взяла письмо, посланное спешной почтой, — адрес на конверте с двумя красными чертами был написан рукой Шрита, его желтым карандашом; наверное, Шрит торопил свою восемнадцатилетнюю дочку скорее взять велосипед и ехать на почту, срочно ехать...

«Милая фройляйн Леонора!

Постарайтесь как можно быстрее связаться с господином Фемелем; все статические расчеты в проекте X5 оказались неправильными, кроме того, по словам господина Кандерса, с которым я только что беседовал по телефону, он послал неправильную документацию непосредственно заказчику, что, вообще говоря, никогда не практиковалось нашей фирмой; дело настолько экстренное, что я намерен сегодня же вечером выехать к вам экспрессом, если до двадцати часов Вы не сообщите мне, что Вами приняты соответствующие меры. Не мне Вам говорить, насколько важным и значительным является заказ X5.

С приветом. Ваш Шрит».

Леонора уже дважды продефилировала мимо отеля «Принц Генрих», снова вернулась на Модестгассе, дошла почти до самой лавки Греца и опять повернула назад, она боялась, что патрон устроит ей скандал; суббота была для него священным днем, нарушать его покой по субботам можно было только в тех случаях, когда речь шла о семейных делах, никаких служебных дел он в этот день не признавал; в ушах Леоноры все еще звучали его слова: «Просто безобразия!» Но пока семь часов еще не пробило, Шрит на месте и с ним можно будет за несколько минут связаться по телефону; хорошо, что старик отменил праздник. Леоноре казалось кощунством присутствовать при том, как Роберт Фемель ест и пьет; она робко подумала о проекте Х5; он никак не мог сойти за семейное дело; Х5 не был также обычным проектом, таким, как проект «Виллы на опушке леса для издателя» или же проект «Жилого дома для учителя на берегу реки»; Х5... Леонора почти не осмеливалась думать о нем, таким секретным являлся этот проект... он лежал в самой глубине сейфа; с замиранием сердца она вспоминала о почти пятнадцатиминутном разговоре ее хозяина с Кандерсом. Не о проекте ли Х5 они беседовали? Леоноре стало страшно.

Грец все еще никак не мог втащить на лестницу кабана, огромная туша подвигалась

вперед рывками; в ворота типографии позвонил рассыльный с колоссальной корзиной цветов; вышел швейцар, взял цветы и снова запер ворота; рассыльный раскрыл ладонь и с разочарованным видом посмотрел на чаевые. Надо сказать милому старичку, подумала Леонора, что швейцар явно не выполняет его приказа давать каждому рассыльному по две марки; не видно, чтобы в ладони рассыльного блестело серебро, там лежат одни только тусклые медяки.

Наберись мужества, Леонора, наберись мужества, стисни зубы, преодолей свой страх и иди в отель. Леонора снова свернула за угол; девушка с громадной корзиной фруктов вошла в ворота типографии и, выходя обратно, посмотрела на свою ладонь с тем же выражением лица, что и прежний рассыльный. Какой подлец этот привратник, подумала Леонора, я обязательно пожалуюсь на него господину Фемелю.

Было без десяти семь; ее пригласили в кафе «Кронер», а потом велели прийти в отель «Принц Генрих», и вот она явится туда и начнет деловой разговор, хотя суббота для патрона священна и он не терпит, чтобы в этот день с ним вели деловые разговоры. Но, быть может, проект X5, в виде исключения, изменит его привычки? Покачав головой, Леонора с мужеством отчаяния толкнула дверь отеля,

но в испуге убедилась, что ее придерживают изнутри.

Душечка моя, душечка, и в отношении тебя я позволю себе сделать одно замечание личного характера; только подойди поближе, надеюсь, ты смущаешься так не из-за цели своего визита, а из-за самого факта этого визита; на своем веку я перевидал немало девиц, которые входили в эту дверь, но они были не такие, как ты; тебе здесь не место; в нашем отеле сейчас находится только один гость, к которому я могу пустить тебя, не позволяя себе никаких замечаний личного порядка, — фамилия этого господина Фемель; я гожусь тебе в дедушки; ты не должна обижаться, если я сделаю тебе одно замечание личного порядка; в этом разбойничьем вертепе таким, как ты, делать нечего; рассыпай крошки, чтобы найти дорогу обратно; ты заблудилась, детка; у тех, кто приходит сюда по служебным делам, совсем другой вид, а у тех, у кого здесь личные дела, и подавно; подойди ко мне поближе.

— Доктор Фемель? Ах так, секретарша? Срочно требуется? Подождите, сейчас я позвоню ему по телефону... Надеюсь, вам не мешает шум на улице...

— Леонора? Я очень рад, что отец пригласил вас на рождение... Извините меня, пожалуйста, сегодня утром я наговорил вам бог

знает что. Ведь вы меня извините, правда? Отец просит вас прийти в двести двенадцатый номер. Письмо от господина Шрита? Все данные в проекте X5 неправильно вычислены? Хорошо, я созвонюсь со Шритом. Как бы то ни было, благодарю вас, Леонора. Итак, мы вас ждем...

Она повесила трубку, подошла к портье и уже хотела было открыть рот, чтобы спросить, где двести двенадцатый номер, как вдруг раздался не очень громкий сухой звук, прозвучавший так необычно, что Леонора испугалась.

— Господи, — сказала она, — что это было?

— Это был выстрел из пистолета, дитя мое, — сказал Йохен.

Красный шар катился по зеленому полю, белый по зеленому; Гуго прислонился к белой блестящей двери, скрестив руки за спиной; на этот раз геометрические фигуры казались ему не такими точными, а ритм шаров менее четким, хотя это были все те же шары, все то же сукно наилучшего качества, за которым постоянно следили самым тщательным образом. Да и Фемель стал еще более метким, его удары безошибочно попадали в цель, шары образовывали все новые геометрические фигуры, словно извлекая их из зеленой пустоты. И все же Гуго казалось, что ритм игры нарушен и что фигуры стали менее точными. Объясня-

лось ли это присутствием Шреллы, который принес с собой настоящее, действительность, и разрушил колдовство? То, что происходило сейчас, происходило во времени и пространстве, в этом отеле в восемнадцать часов сорок четыре минуты, в субботу, шестого сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года: теперь тебя уже не отбросят на тридцать лет назад и не кинут на четыре года вперед, на сорок лет назад, а оттуда опять в сегодняшний день; то, что происходило сейчас, было стабильно, ограничено рамками времени, которое тащила вперед секундная стрелка, происходило именно в этом отеле, где из ресторана доносились бесконечные возгласы: «Счет, кельнер, счет!»; публика торопилась к выходу, чтобы поспеть на фейерверк, народ теснился у окон в ожидании парада, толпы направлялись к древнеримским детским гробницам... «Все готово? Магний вспыхнет вовремя?» — «Разве вы не знали, что под буквой «М» скрывается министр?» — «Элегантно, не правда ли?» — «Счет, кельнер, счет!..»

Не зря часы отбивали время, не зря передвигались стрелки; минут становилось все больше и больше, они превращались в четвертушки и в половинки часов, и в конце концов часы показывали точное время — год в год, час в час, секунда в секунду. Разве в ритме шаров нельзя было уловить вопросы: Ро-

берт, где ты есть? Роберт, где ты был? Роберт, где ты бывал? И разве в ударах кия Роберта не слышалось в ответ: Шрелла, где ты есть? Шрелла, где ты был? Шрелла, где ты бывал? Их игра на бильярде походила на какой-то нескончаемый ряд заклинаний. Казалось, ударяя кием по шарам на зеленом сукне, они без конца вопрошали «зачемзачемзачем?» или же причитали «Господи помилуй, Господи помилуй». Отходя от бортов, чтобы дать ударить Роберту, Шрелла каждый раз улыбался и качал головой.

И Гуго, сам того не замечая, тоже качал головой после каждого удара: колдовство рассеялось, все стало не столь четким, как прежде, ритм нарушился, а часы и календарь совершенно точно отвечали на вопрос: «Когда?» Часы и календарь говорили: «Шестого сентября тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, восемнадцать часов пятьдесят одна минута».

— Давай оставим это, — сказал Роберт, — ведь мы больше не в Амстердаме.

— Хорошо, — согласился Шрелла, — оставим, ты прав. А что, нам еще нужен этот мальчик?

— Да, — сказал Роберт, — лично мне он еще нужен. Или, может, ты хочешь уйти. Гуго? Не хочешь? Тогда побудь здесь, пожалуйста, поставь кий ни место, убери шары и

дай нам что-нибудь выпить... да нет, оставайся, детка; я хотел показать тебе одну вещь: видишь кипу бумаг? Все эти документы, мой милый, скреплены печатями, и на них множество всяких подписей, недостает всего лишь одной подписи, твоей подписи вот на этой бумаге. Если ты ее подпишешь, ты станешь моим сыном. Когда ты подавал вино там наверху, ты видел моих отца и мать, отныне они будут твоими дедушкой и бабушкой; Шрелла станет твоим дядей. Рут и Марианна — сестрами, а Йозеф — братом; ты заменишь мне того мальчика, которого моя жена так и не успела родить; интересно, что скажет старик, когда я представлю ему в день его рождения нового внука, внука с улыбкой Эдит... Нужен ли мне этот мальчик, Шрелла? Да, он мне нужен, нужен всем нам; хорошо, если бы мы тоже стали ему нужны; честно говоря, нам без него просто-таки невозможно; слышишь, Гуго, нам без тебя невозможно. Да, ты не сын Ферди, и все же ты унаследовал его душу... Тише, родной мой, не плачь, отправляйся к себе в комнату и прочти эту бумагу, только осторожно иди по коридору, будь осторожен, сынок.

Шрелла раздвинул портьеры и посмотрел на площадь перед отелем; Роберт протянул ему пачку сигарет. Шрелла зажег спичку, и они закурили.

— Ты еще не отказался от комнаты в гостинице?

— Нет.

— Разве ты не будешь жить у нас?

— Еще не знаю, — ответил Шрелла, — я боюсь домов, в которых устраиваешься надолго и убеждаешься в той тривиальной истине, что жизнь идет своим чередом и что время примиряет со всем; Ферди стал бы для меня всего лишь далеким воспоминанием, а мой отец — сном, хотя именно здесь, в этом городе, они убили Ферди, хотя именно здесь бесследно исчез мой отец; их имена не значатся нигде, их не найдешь в списках политических организаций, потому что они не занимались политикой, еврейская община не поминает их в заупокойных песнопениях, ведь они не были евреями; если имя Ферди вообще где-то фигурирует, то лишь в судебных архивах; о нем никто не вспоминает, кроме нас с тобой, Роберт, твоих родителей да еще старого портье в этом отеле; твои дети уже не думают о нем; я не могу жить в этом городе, потому что он для меня недостаточно чужой; здесь я родился и ходил к школу; в те времена я мечтал освободить Груффельштрассе от злых чар; я знал одно слово, которого никогда не произносил вслух, даже разговаривая с тобой, Роберт; то единственное слово, на которое я еще надеялся; даже сейчас я не произнесу его вслух, раз-

ве только на вокзале, когда ты будешь сажать меня в поезд.

— Ты собираешься ехать уже сегодня? — спросил Роберт.

— Нет, нет, не сегодня; меня вполне устраивает жить в гостинице; я закрываю дверь своего номера, и этот город становится для меня таким же чужим, как все города на земле. Сидя в номере, я знаю, что скоро отправлюсь в путь и опять начну давать уроки немецкого языка; я представляю себе, как войду в класс, сотру с доски арифметическую задачу и напишу мелом: «Я вяжу, я вязал, я вязал бы, я буду вязать, я завязал... ты завязал, ты завязывал». Я люблю грамматику, она для меня то же, что стихи; ты думаешь, наверное, я не хочу здесь жить потому, что не вижу никакой реальной политической перспективы для этого государства, а мне кажется скорее, что я не могу жить здесь, так как всегда был вне политики и сейчас тоже вне ее. — Шрелла показал на площадь и засмеялся. — Нет, не эти люди пугают меня; да, да, я все знаю, я их вижу, Роберт, вижу Неттлингера и Вакеру, но я боюсь не того, что такие люди появились у нас снова, а того, что в этой стране не появилось иных людей; ты спрашиваешь — каких? Людей, которые, пусть шепотом, произносят заветное слово; однажды старик в Гайд-парке спросил меня:

«Если вы в Него верите, то почему вы не следуете Его велениям?»

Ты скажешь, что это глупо и нереалистично, не правда ли, Роберт? «Паси овец Моих», а они между тем взращивают одних только волков, Роберт. С чем вы вернулись домой после войны, Роберт? Ни с чем, кроме динамита. Хорошенькая игрушка, я прекрасно понимаю тебя, тобою движет ненависть к миру, в котором не нашлось места ни для Ферди, ни для Эдит, не нашлось места ни для моего отца, ни для Гроля, ни для мальчика, имя которого мы так и не узнали, ни для поляка, поднявшего руку на Вакеру. Итак, ты коллекционируешь статическую документацию, как другие коллекционируют мадонн в стиле барокко, ты собрал целую картотеку, состоящую из одних формул. И моему племяннику, сыну Эдит, тоже надоел запах извести, и он начал искать формулы своего будущего не в залатанных стенах аббатства Святого Антония, а где-то вне этих стен. Как ты думаешь, повезет ему? Сможешь ли ты указать ему нужную формулу? Или он прочтет ее в глазах своего нового брата, в глазах мальчика, отцом которого ты хочешь стать? Ты прав, Роберт, нельзя быть отцом, им можно только стать; голос крови — это выдумка, надо верить совсем в другое; вот почему я не женился, просто я не нашел в себе мужества уверовать в

то, что сумею стать отцом; я бы не перенес, если бы мои дети были такими же, как Отто, такими же чужими, как Отто для твоих родителей; даже в воспоминаниях о моей матери и моем отце я не мог почерпнуть необходимое мужество; ты сам еще не знаешь, что выйдет из Йозефа и Рут, какое причастие они будут принимать; нельзя быть уверенным ни в ком, даже в ваших с Эдит детях; нет, нет, Роберт, ты должен понять, почему я не хочу выехать из своего номера в гостинице и вселиться в дом, где жил Отто и умерла Эдит; я был бы не в силах каждый день смотреть на почтовый ящик, в который этот мальчик бросал твои записочки, ведь у вас все тот же почтовый ящик?

— Нет, — сказал Роберт, — входную дверь пришлось заменить, она была вся изрешечена осколками; только пол на площадке лестницы остался прежним; ноги мальчика ступали по нему.

— И ты об этом думаешь, когда ходишь по площадке?

— Да, — сказал Роберт, — думаю; возможно, как раз в этом одна из причин того, почему я коллекционирую статические формулы... Почему ты не приезжал раньше?

— Боялся, боялся, что город покажется мне недостаточно чужим, хотя двадцать два года — неплохой амортизатор. Ну а то, что

мы, Роберт, скажем друг другу, разве все это нельзя изобразить на почтовых открытках? Я бы с удовольствием жил по соседству с тобой, но только не здесь. Здесь мне страшно; не знаю, может, я ошибаюсь, но люди, которых я вижу в этом городе, кажутся мне ничуть не лучше тех, от которых я когда-то бежал.

— Думаю, что ты не ошибся.

— Скажи, что стало с такими, как Эндерс? Ты помнишь рыжего Эндерса? Он был славный малый, не насильник, в этом я уверен. Что делали люди, подобные Эндерсу, во время войны и что они делают теперь?

— По-моему, ты недооцениваешь Эндерса; он был не только славный малый, он еще... одним словом, Эндерс никогда не принимал «причастия буйвола», почему бы нам не сказать об этом так же бесхитростно, как говорила Эдит? Эндерс стал священником; после войны он произнес несколько проповедей, которые я считаю незабываемыми; если я повторю слова Эндерса, они прозвучат не так, как звучали в его устах.

— А что он делает теперь?

— Они засунули его в какую-то дыру, в деревню, которая стоит даже не на железной дороге, и там он произносит свои проповеди, не обращая внимания на то, что его слушают только крестьяне да ребяташки.

Нельзя сказать, чтобы они его ненавидели, просто они говорят с ним на разных языках, хотя по-своему почитают, как милого дуралея. Не знаю, уверяет ли он их и впрямь, что все люди братья. Они в этом разбираются лучше и, вероятно, втайне думают: а может быть, он все-таки коммунист? Иных мыслей у них не возникает; число штампов еще уменьшилось, Шрелла; никому не пришло бы в голову называть твоего отца коммунистом, даже дураку Неттлингеру, а сегодня они не нашли бы для него никакого другого определения. Эндерс хочет пасти овец, а вместо этого ему подсовывают баранов; он попал на подозрение, потому что слишком часто избирал темой своих проповедей Нагорную проповедь; быть может, в один прекрасный день заявят, что этот кусок Евангелия — позднейшая вставка, и вообще вычеркнут его... давай съездим к Эндерсу, Шрелла. Хотя, возвращаясь обратно на вечернем автобусе к станции, мы обнаружим, что из встречи с ним почерпнули больше отчаяния, нежели утешения; люди в этой деревне кажутся мне более далекими, нежели жители луны; съездим к Эндерсу, проявим к нему сострадание, арестантов надо посещать... А почему ты, собственно, вспомнил об Эндерсе?

— Я подумал, с кем бы мне хотелось увидеться на родине; не забывай, что мне пришлось исчезнуть в те времена, когда я был еще

школьником. Но я боюсь встреч с тех пор, как повидал сестру Ферди.

— Ты видел сестру Ферди?

— Она приобрела киоск на конечной остановке одиннадцатого номера. Ты там ни разу не был?

— Нет, я боялся, что Груффельштрассе покажется мне чужой.

— Она и мне показалась чужой, самой чужой улицей на свете... Не ходи туда, Роберт. А что, Тришлеры действительно погибли?

— Да, — сказал Роберт, — и Алоиз тоже погиб, они пошли ко дну вместе с «Анной Катаринной»; перед этим Тришлеров выселили из гавани; когда выстроили новый мост, им пришлось оттуда убраться; квартирка, которую они сняли в городе, оказалась не по ним — старики не могли жить без реки и без барж; Алоиз решил отвезти их на «Анне Катарине» к своим друзьям в Голландию, но судно попало под бомбежку; Алоиз бросился вниз за родителями, однако было уже поздно... вода хлынула с палубы в трюм; никому из них не удалось спастись; очень долгое время я не мог напасть на их след.

— А где ты все это узнал?

— В «Якоре», я ходил туда каждый день и расспрашивал моряков о Тришлерах, пока не нашел человека, который знал о несчастье с «Анной Катаринной».

Шрелла задернул портьеру, подошел к столу и погасил в пепельнице сигарету, Роберт последовал за ним.

— Я думаю, — сказал он, — нам пора подняться к моим родителям... Хотя, может, тебе не хочется присутствовать на нашем семейном торжестве?

— Да нет, — сказал Шрелла, — я пойду с тобой. Но разве мы не подождем мальчика? А что стало с такими, как Швойгель?

— Тебя в самом деле интересует Швойгель?

— Почему ты это спрашиваешь?

— Неужели, скитаясь по белу свету, ты вспоминал Эндерса и Швойгеля?

— Да, и еще Гreve и Хольтена... ведь они были единственные, кто не преследовал меня, когда я возвращался из школы домой... еще Дришка не участвовал... Что с ними со всеми случилось? Они живы?

— Хольтен убит на войне, а Швойгель жив; он стал писателем; иногда вечером он звонит мне по телефону или заходит сам, но я прошу Рут говорить, что меня нет дома; я его не выношу, разговоры с ним совершенно бесплодны; мне в его обществе просто скучно; он без конца говорит об обывателях и необывателях; себя он, по-моему, причисляет к последним... не знаю, что он понимает под этим; мне Швойгель, честно

говоря, не интересен; как-то он спрашивал о тебе.

— Ну а что случилось с Грече?

— Он теперь партийный, только не спрашивай меня, в какой партии он состоит, да это и не столь важно. А Дришка продает мягкую игрушку — львов фирмы Дришка, этот товар приносит ему уйму денег. Ты не знаешь, что такое львы для автомобилей? Поживи у нас недельку, и ты сразу все усвоишь; каждый мало-мальски уважающий себя человек держит в своей автомашине у заднего стекла льва фирмы Дришка... А в этой стране ты почти не встретишь человека, не уважающего себя... Им с детства вдалбливают, что они весьма уважаемые люди; конечно, кое-что они все же вынесли с войны, кое-какие воспоминания о страданиях и жертвах, но в данный момент они уже снова полны самоуважения... Скажи, ты видел народ там, внизу, в холле? Они отправляются на три совершенно различных банкета — на банкет левой оппозиции, на банкет общества «Все для общего блага» и на банкет правой оппозиции, но надо обладать поистине гениальным чутьем, чтобы догадаться, на какой банкет кто из них идет.

— Да, — сказал Шрелла, — я ожидал тебя в холле как раз тогда, когда там собирались первые приглашенные, и я слышал, что они упоминали об оппозиции; раньше всех приш-

ли самые безобидные, так сказать, пехота демократии, деляги того сорта, который считается не таким уж плохим, они беседовали об автомобильных марках и о загородных домиках; из их разговоров я узнал, что Французская Ривьера начинает снова входить в моду, и, оказывается, как раз из-за того, что там всегда такой наплыв; они уверяли также, что, вопреки всем прогнозам, среди интеллигенции считается сейчас модным путешествовать не в одиночку, а с экскурсиями. Интересно, как все это здесь называют — оборотной стороной снобизма или же диалектикой? Ты должен просветить меня в этом вопросе. Английский сноб сказал бы: «За десять сигарет я продам вам мою бабушку»; что касается здешнего люда, то они действительно готовы продать свою бабушку, и притом всего лишь за пять сигарет; даже свой снобизм они и то принимают всерьез... Ну а потом они заговорили о школьном образовании; одни из них выступали в защиту гуманитарного образования, а другие против... Ну что ж... Я прислушивался к их разговорам, потому что мне хотелось узнать что-нибудь об истинных тревогах людей в этой стране, но они без конца шептали имя деятеля, которого ожидали на этом вечере, они говорили о нем с большим почтением... его зовут Крец. Ты что-нибудь слышал о нем?

— Крец, — сказал Роберт, — это, так сказать, звезда оппозиции.

— Слово «оппозиция» повторялось беспрестанно, но из их болтовни я так и не узнал, к кому, собственно, они находятся в оппозиции.

— Раз эти люди ждали Креча, значит, они — левые.

— Я правильно понял: этот Крец своего рода знаменитость? На него, как говорится, возлагают все надежды?

— Да, — подтвердил Роберт, — от Креча они многого ждут.

— Я и его видел, — сказал Шрелла, — он пришел последним; если на этого человека возлагают все надежды, то хотелось бы мне знать, кого они считают совершенно безнадежным... Мне кажется, вздумай я убить кого-нибудь из политиков, это был бы Крец. Неужели вы все ослепли? Разумеется, он человек умный и образованный, он способен даже процитировать Геродота по-гречески, а для демократической пехоты, которая никак не может избавиться от своей навязчивой идеи насчет необходимости образования, греческий звучит божественной музыкой. Но, надеюсь, Роберт, ты не оставил бы наедине с этим Кречем ни свою дочь, ни своего сына даже на минуточку; от снобизма он совсем перестал соображать, он не знает даже, како-

го он пола. Такие люди, как Крец, играют в закат Европы, но они плохие актеры; под минорную музыку все это будет напоминать похороны по третьему разряду.

Слова Шреллы прервал телефонный звонок; Шрелла последовал за Робертом, который прошел в угол к телефону и снял трубку,

— Леонора? Я очень рад, что отец пригласил вас на рождение... Извините меня, пожалуйста, сегодня утром я наговорил вам бог знает что. Ведь вы меня извините, правда? Отец просит вас прийти в двести двенадцатый номер. Письмо от господина Шрита? Все расчеты по проекту X5 неправильны? Хорошо, я созвонюсь со Шритом. Как бы то ни было, благодарю вас, Леонора. Итак, мы вас ждем...

Роберт положил трубку и снова повернулся к Шрелле.

— Я думаю... — начал было он, но тут раздался не очень громкий сухой звук.

— Боже мой, — сказал Шрелла, — это выстрел.

— Да, — подтвердил Роберт, — это выстрел. По-моему, нам пора подняться наверх.

Гуго прочел: «Заявление об отказе от прав. Сим изъявляю свое согласие на то, что мой сын Гуго...» Под заявлением стояли важные печати и подписи. Голос, который он стра-

шился услышать, на этот раз молчал; в былые времена этот голос приказывал ему прикрыть наготу матери, когда она возвращалась домой после своих странствий и, лежа на кровати, вполголоса причитала: «зачемзачемзачем»; он испытывал сострадание, прикрывая ее наготу или принося ей попить; прокрадываясь ради нее в лавочку, чтобы выклянчить там две сигареты, он каждый раз боялся, что по дороге на него нападут мальчишки, избьют его и будут дразнить «агнцем божьим»; потом этот голос приказывал ему играть в канасту с женщиной по кличке «таким, как она, не следовало родиться» и предостерегал от того, чтобы входить в комнату к овечьей жрице, и вот сейчас этот голос повелел ему прошептать слово «отец».

Чтобы умерить страх, который Гуго внезапно почувствовал, он начал произносить и другие слова: «сестра», «брат», «дедушка», «бабушка», «дядя», но страх не проходил; мальчик вспоминал все новые и новые слова: «динамика» и «динамит», «бильярд» и «корректно», «шрамы на спине», «коньяк» и «сигареты», «красный по зеленому полю», «белый по зеленому»... Но страх все еще не уменьшался. Быть может, надо что-то предпринять, чтобы прогнать его. Гуго открыл окно и посмотрел на шумящую толпу; что это за шум — грозный или мирный? На улице пу-

скали фейерверк; вслед за громовым раскатом в темно-синем небе распускались гигантские цветы; оранжевые спруты, казалось, протягивали вперед свои щупальца. Гуго закрыл окно, провел рукой по лиловой ливрее, висевшей на вешалке у входа, и открыл дверь в коридор. Даже здесь, наверху, была ощутима тревога, охватившая все здание; в двести одиннадцатом номере тяжелораненый! Слышался гомон голосов, шаги раздавались то тут, то там, кто-то бежал вверх по лестнице, кто-то спускался вниз, и весь этот шум покрывал пронзительный голос полицейского: «Прочь с дороги! Прочь с дороги!»

Прочь! Прочь! Гуго испугался и в страхе снова шепнул: «Отец». Директор сказал ему: «Нам будет недоставать тебя, Гуго, неужели ты хочешь нас покинуть, да еще так внезапно?» Вслух Гуго ничего не ответил, но про себя подумал: да, все должно было случиться внезапно, потому что зрело уже давно. Когда Йохен принес весть о покушении, директор забыл все на свете, он даже перестал удивляться тому, что Гуго уходит. Директор встретил сообщение Йохена отнюдь не с ужасом, а как раз напротив, с восторгом; вместо того чтобы сокрушенно качать головой, он радостно потирал руки.

— Вы ничего не понимаете. Такого рода скандал в один миг подымет престиж нашего

отеля на недостижимую высоту. Все газеты будут пестреть гигантскими заголовками. Убийство — отнюдь не то же самое, что самоубийство, Йохен... а политическое убийство — это не просто какое-нибудь там убийство. Если он даже не умер, мы сделаем вид, что он при смерти. Нет, вы ничего не понимаете, в газетах обязательно должно быть сказано: «Положение больного безнадежно». Всех, кто звонит по телефону, немедленно соединяйте со мной, а то вы обязательно что-нибудь напутаете. Боже мой, почему у вас такой дурацкий вид? Будьте сдержанны, изобразите на лице легкое сожаление, ведите себя как люди, которые, хотя и оплакивают покойника, дорогого их сердцу, радуются в предвидении большого наследства. Идите, дети мои, принимайтесь за дело! На нас посыплется целый дождь телеграмм с просьбой оставить номер. Надо же, чтобы это случилось как раз с М. Вы даже не представляете себе, что сейчас начнется. Только бы никто не покончил с собой. Позвони сейчас же господину из одиннадцатого номера, я не возражаю, если он придет в ярость и уберется из гостиницы... Черт возьми, он ведь должен был проснуться от фейерверка. Пора, дети мои! К оружию!

Отец, думал Гуго, ты должен сам забрать меня отсюда, ведь они не пускают никого в двести двенадцатый номер.

Серый полумрак лестничной клетки прорезали вспышки магния; потом появился освещенный прямоугольник лифта; лифт доставил постояльцев из номеров от двести тринадцатого до двести двадцать шестого; из-за оцепления им пришлось подняться на третий этаж, чтобы потом спуститься по служебной лестнице к себе на второй; когда дверь лифта отворилась, послышался многоголосый гомон, в коридор высыпали мужчины в темных костюмах и женщины в светлых платьях с растерянными лицами и искривленными губами, с которых срывались слова: «Какой ужас!» и «Какой скандал!». Гуго слишком поздно хлопнул за собой дверь — она его увидела, она уже бежала по коридору к его комнате; Гуго только успел повернуть ключ в замочной скважине, как дверная ручка начала вращаться во все стороны.

— Открой, Гуго, открой же, — сказала она.

— Не открою.

— Я тебе приказываю.

— Вот уже четверть часа, как я не являюсь служащим отеля, сударыня.

— Ты уходишь?

— Да.

— Куда?

— Я ухожу к своему отцу.

— Открой, Гуго, открой, я тебе ничего не сделаю, я не буду тебя больше пугать; ты не должен

уходить; я знаю, что у тебя нет отца, я это точно знаю; ты нужен мне, Гуго... ты тот человек, которого они ждут, Гуго, и ты это знаешь; ты увидишь мир, и все они падут пред тобой ниц в самых шикарных отелях; тебе не надо будет ничего говорить, только быть со мной, твое лицо, Гуго... иди сюда, открой, ты не можешь уйти!

Скрип дверной ручки на мгновение заглушил голос женщины; каждый раз, как ручка дергалась, в потоке ее молящих слов возникали короткие паузы:

— Я прошу не ради себя, Гуго, забудь все, что я говорила и делала, я была в отчаянии... иди сюда, ради них... они тебя ждут, ты наш агнец...

Дверная ручка дернулась еще раз.

— Что вам здесь нужно? — спросила она.

— Мне нужен мой сын.

— Гуго ваш сын?

— Да. Открой, Гуго.

Впервые он не сказал мне «пожалуйста», подумал Гуго, поворачивая ключ в замочной скважине и открывая дверь.

— Пошли, сынок, нам пора.

— Да, отец, я иду.

— У тебя больше нет вещей?

— Нет.

— Пошли.

Гуго взял свой чемодан; он был рад, что спина отца заслонила лицо женщины. Спу-

скаясь по служебной лестнице, мальчик все еще слышал плач овечьей жрицы.

— Да не плачьте же, дети, — сказал старик, — она вернется снова и будет жить с нами, она была бы очень огорчена, если бы узнала, что мы так и не выпили вино; его рана не смертельна, надеюсь, на его лице так и останется выражение громадного изумления; все люди этого сорта считают себя бессмертными... один не очень громкий сухой звук может сотворить чудо. А теперь, девушки, займитесь, пожалуйста, подарками и цветами; Леоноре я поручаю цветы, Рут — поздравительные адреса, а Марианне — подарки. Порядок — это полжизни... не известно только, из чего состоит ее вторая половина. Ничего не поделаешь, дети, я не в силах грустить. Сегодня большой день, он вернул мне жену и подарил сына... можно мне так вас назвать, Шрелла? Ведь вы брат Эдит... И нового внука я тоже получил, не правда ли, Гуго?.. Я все еще не могу решиться назвать тебя внуком. Ты сын моего сына, и все же мне ты не внук, какой-то внутренний голос, не знаю какой, запрещает мне называть тебя внуком.

Садитесь, пусть девушки сделают нам бутерброды, все корзины с едой можно опустошить, дети; только смотрите не разбросайте снова пачки, которые так аккуратно

сложила Леонора; лучше всего будет, если каждый из вас выберет себе одну какую-нибудь пачку и сядет на нее; вы, Шрелла, возьмите себе пачку с литерой «А», она самая высокая. А тебе, Роберт, разреши предложить пачку за тысяча девятьсот десятый год, она вторая по высоте. Йозеф пусть сам найдет себе что-нибудь подходящее. Как ты смотришь на тысяча девятьсот двадцать первый год? Ну вот, хорошо, а теперь садитесь; прежде всего давайте выпьем за господина М., за то, чтобы выражение изумления никогда не сходило с его лица... второй глоток мы пьем за мою жену, пусть Бог ее благословит. Посмотрите, пожалуйста, Шрелла, кто там стучится в дверь.

Вы говорите, что некто господин Грец хочет засвидетельствовать мне свое почтение? Надеюсь, он не взвалил себе на спину кабана? Нет? Слава богу. Тогда скажите ему, пожалуйста, дорогой Шрелла, что я его не приму. А ты как считаешь, Роберт? Разве сейчас подходящее время разговаривать с неким господином Грецем? Нет? Правда? Спасибо вам, Шрелла. Сейчас как раз подходящее время порвать ненужные отношения с людьми; два слова могут стоить человеку жизни. «Стыд и позор», — говорила старая госпожа Грец. Одно движение руки может стоить человеку жизни так же, как и одно неправильно

понятое движение глаз; да, Гуго, пожалуйста, налей всем вина; надеюсь, ты не обидишься, если мы в своем семейном кругу воспользуемся навыками, которые тебе пришлось приобрести в жизни?

Самые большие букеты можешь спокойно ставить перед проектом Святого Антония, а букеты поменьше разместить справа и слева от него на полке для чертежей; сними футляры, в них ничего нет, эти футляры стоят здесь просто как украшение, выбрось их, хотя, быть может, среди вас есть человек, который захочет использовать драгоценную чертежную бумагу? Как ты к этому относишься, Йозеф? Почему ты сидишь в такой неудобной позе? Ты выбрал себе пачку за тысяча девятьсот сорок первый год, то был неурожайный год, дорогой мой. Тысяча девятьсот сорок пятый оказался куда удачнее, тогда заказы просто-таки сыпались на меня почти как в тысяча девятьсот девятом году, но я их все роздал, дорогой мой. Словечко «sorry» отбило у меня охоту строить. Рут, сложи все поздравительные адреса в одну стопку на моем чертежном столе, я дам отпечатать типографским способом ответные послания, ты поможешь мне надписать конверты; за это я куплю тебе какой-нибудь хороший подарок у Гермины Горушки. Как я должен благодарить поздравивших меня? «Приношу Вам самую искрен-

ную благодарность за внимание, оказанное мне по случаю моего восьмидесятилетия». Возможно, я приложу к каждому благодарственному письму рисунок от руки. Как ты находишь мою мысль, Йозеф? Например, изображение пеликана или змеи... не нарисовать ли мне буйвола?.. А теперь подойди-ка к двери, Йозеф, будь добр, посмотри, кто там пришел так поздно. Четверо служащих из кафе «Кронер»? Принесли подарок, от которого я, по-твоему, не должен отказываться? Хорошо, пусть войдут.

Два кельнера и две девушки-буфетчицы осторожно внесли в комнату покрытый белоснежным полотнищем четырехугольный предмет, длина которого намного превышала его ширину; старик испугался: неужели они принесли покойника? Что-то острое, как палка, приподымало полотно снизу — неужели нос? Четверо служащих несли непонятный предмет так осторожно, словно это было тело усопшего; царила абсолютная тишина; руки Леоноры, обхватившие букет, казалось, вдруг окаменели; Рут застыла, держа в руке поздравительный адрес с золотым обрезом, Марианна так и не успела поставить пустую корзину, в которой принесли фрукты.

— Нет, нет, — тихо сказал старик, — не опускайте это, пожалуйста, на пол; дети, дайте им доски.

Гуго и Йозеф принесли из угла мастерской доски, положили их на кипы чертежей, на чертежи от тысяча девятьсот тридцать шестого года до тридцать девятого; потом снова наступила тишина; оба кельнера и девушки поставили непонятный предмет на доски и встали по углам, каждый из них взялся за уголок полотнища, и после отрывистого возгласа «поднимаем», брошенного старшим из кельнеров, все четверо подняли покрывало.

Старик побагровел; подскочив к макету аббатства, он поднял кулаки, как барабанщик, который собирается с силами, чтобы в гневе ударить по барабану; секунду казалось, что он сокрушит замысловатое сооружение из сладкого теста, но потом он снова опустил кулаки, руки старого Фемеля бессильно повисли вдоль туловища; он тихо засмеялся и отвесил поклон сперва девушкам, а потом кельнерам; затем он снова выпрямился, вынул из пиджака бумажник и протянул каждому из четырех слуг какие-то деньги на чай.

— Будьте добры, — спокойно начал он, — передайте госпоже Кронер мою искреннюю благодарность за внимание и скажите ей, что важные события принуждают меня, к сожалению, отказаться от завтраков в ее кафе... важные события. С завтрашнего дня я больше не прихожу.

Старик подождал, пока кельнеры и девушки вышли, и крикнул:

— А теперь приступим, дети, дайте мне большой нож и тарелку.

Он начал с того, что отрезал церковный купол и положил его на тарелку, а тарелку передал Роберту.

Исключительные права на публикацию книги
на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Бёлль Генрих
Бильярд в половине десятого

Роман

Ответственный редактор *И. Горяева*
Художественный редактор *Е. Фрей*
Технический редактор *Г. Этманова*
Компьютерная верстка *Г. Сенина*

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 21, строение 1, комната № 39.
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

«Баспа Аста» деген ООӨ
129085, г. Мәскеу, жұлдызды гулзар, д. 21, 1 құрылым, 39 бөлме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92
Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 02.11.2017. Формат 76x100¹/32.
Гарнитура Newton. Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,11.
Доп.тираж 3 000 экз. Заказ №10419

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

ISBN 978-5-17-086778-3



Генрих Бёлль (1917– 1985) – лауреат Нобелевской премии за 1972 год. Его книги, переведенные более чем на 50 языков, стали своеобразным символом интеллектуальной прозы второй половины XX века. Его литературный талант многогранен. Повести, пьесы, рассказы, критические эссе, путевые дневники и сценарии – Бёллю удавалось все. Однако особое место в его творчестве занимают романы...

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Архитектору Генриху Фемелю исполняется восемьдесят лет. Юбилей – хороший повод для того, чтобы подвести итоги прожитой жизни. Его победа – победа безызвестного чужака в конкурсе на возведение аббатства Святого Антония, сулила полную и счастливую жизнь... А в итоге – обманутые ожидания... Жена Генриха содержится в привилегированной лечебнице для душевнобольных, младший сын Отто, еще в юности перешедший на сторону палачей, готовых утопить мир в крови, стал чужим в своей семье... В этом дне, ставшем поворотным в судьбе героев романа, сфокусировалась вся трагическая история Германии второй половины XX века...

ISBN 978-5-17-086778-3



9 785170 867783



**БИЛЬЯРД
В ПОЛОВИНЕ
ДЕСЯТОГО**

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А